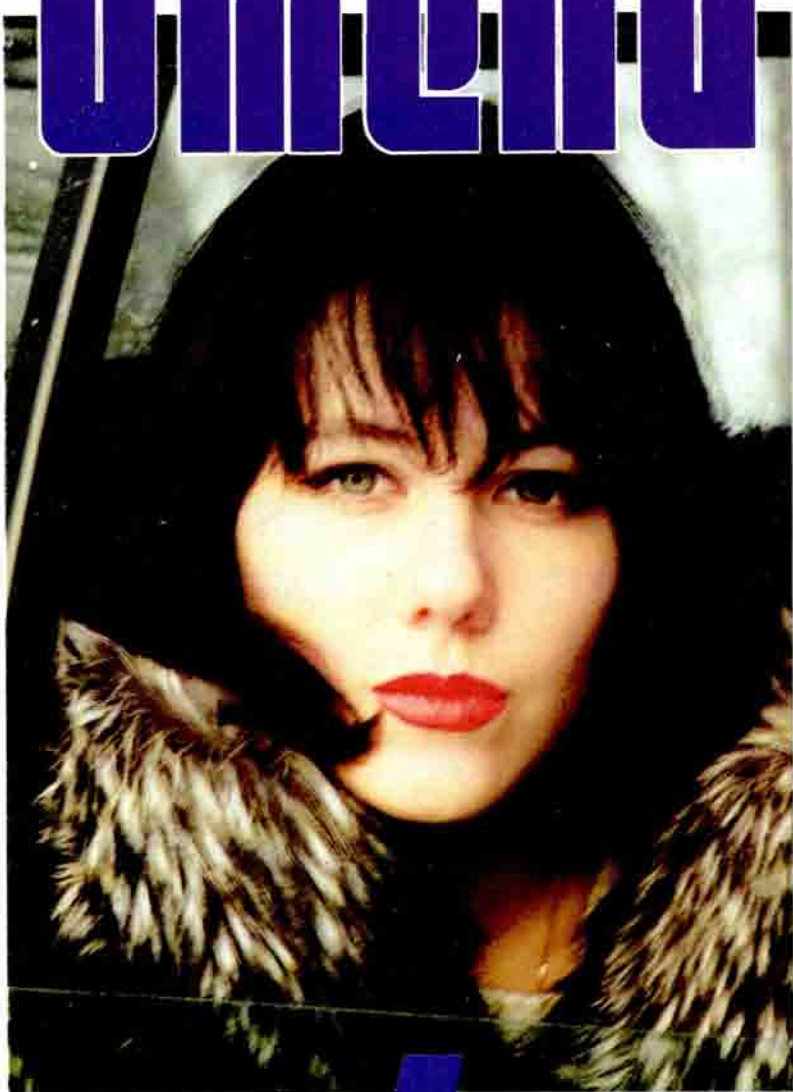


СМОНА

ISSN 0131 — 6656

ВЯЧЕСЛАВ КОШЕЛЕВ ■ ПЛОЩАДЬ ХОМЯКОВА



ГРЕГОРИ МАКЛОНАЦЬЛ ■ ФЛЕТЧ И ВДОВА БРЕДЛИ

12 / 95



/Читайте стр. 284/

12'95

СМЕНА

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛУСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ**
Основан в январе 1924 года.

Главный редактор
МИХАИЛ КИЗИЛОВ

Редколлегия:

ВАЛЕНТИНА БОЧАРОВА
ВАЛЕРИЙ ГУРИНОВИЧ

зам. главного редактора
БОРИС ДАНИШЕВСКИЙ
НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ

зам. главного редактора

СЕРГЕЙ ПОПОВ
МИХАИЛ ТЕЛИЧКИН

главный художник
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ
ТАМАРА ЧИЧИНА

Оформление

ВАЛЕНТИНА ДАВЫДОВА

Художественно-

технический редактор

АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

Сдано в набор 22.09.95.

Подписано к печати 19.10.95.

Формат 84 × 108¹/₃₂.

Бумага «Офсетная».

Печать офсетная.

Усл. п. л. 15,54.

Усл. кр.-отт. 17,64.

Уч.-изд. л. 23,10.

Тираж 80 500 экз.

Заказ № 657.

Цена свободная.

101457, ГСП, Москва,

Бумажный проезд, 14.

212-15-07 — для справок.

250-29-39 — отдел реализации.

250-49-98 — отдел рекламы.

Факс (095) 250-59-28.

Журнал зарегистрирован

в Министерстве печати

и массовой информации

Российской Федерации.

Per. № 166.

Учредитель — коллектив

редакции журнала «Смена».

Рукописи, фото и рисунки

не возвращаются.

Типография издательства

«Пресса», 125865, ГСП, Москва,

А-137, ул. «Правды», 24.

В случае полиграфического брака

обращаться в издательство «Пресса»:

257-28-30, 257-41-03.

12 (1574) ДЕКАБРЬ

© «Смена», 1995.

18 ПРОЗА

*Юрий Поляков***КОЗЛЁНОК В МОЛОКЕ** *Роман-эпиграмма*

122

*Руфь Рэнделл***ДВОЙНИК** *Рассказ*

162

*Грегори Макдональд***ФЛЕТЧ И ВДОВА БРЕДЛИ** *Детектив*

14 ПОЭЗИЯ

КОНКУРС ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

134

Евгений Рейн

6 ВРЕМЯ И МЫ

ЕДА И ЕДОКИ *Беседа с директором
Института питания Михаилом Волгаревым*

106

*Сергей Литвинов***ПОРОХ**

114 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

*Ирина Алтатова***МЕТАМОРФОЗЫ СЦЕНЫ**

138

*Валентина Терская***ЭДИТА, ДОЧЬ ШАХТЕРА**

146

*Вячеслав Кошелёв***ПЛОЩАДЬ ХОМЯКОВА**

Александр Пьянков

«ФОКУС-ПОКУС»

Наталья Олейникова, Ирина Пуртова
РАЗМЫКАЯ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

На 1-й обложке: фотоэтиюд ВИКТОРА ГОРЯЧЕВА.

Сьюзен Хилл

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ*Семейная трагедия и
неутолимая жажда
мести превращают**Дженнет Хамфри в привидение, в злоеущую женщину в
черном. Она несет страдание и смерть всем, кто
встречается на ее пути в маленьком городке Крайтен-
Джиффорде, где она умерла несколько десятилетий
назад. Встреча с призраком оборачивается трагедией и
для молодого нотариуса Артура Киппса, главного героя
повести.*

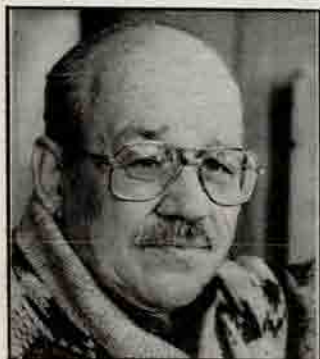
Николай Леонов

МЩЕНИЕ СПРАВЕДЛИВО*И вновь сыщик Лев
Иванович Гуров
расследует новое дело.**На этот раз загадочное убийство чиновника
госаппарата, произошедшее на даче вице-премьера.
«...История круто заворачивается. Вся пятерка, что
стояла на веранде, — прекрасный объект для шантажа.
Деловые люди об убийстве узнали из газет, имена
известны. Умный человек рассудит здраво: имею пять
жирных гусей, если по перышку у каждого выдерну, то
всем будет хорошо. Вот тогда ваши «неприкасаемые»
сок дадут. И прибегут они ко мне.**— Яшин, заместитель начальника управления охраны
президента, никогда не пойдет к менту. Попытается
разобраться сам, благо люди и техника у него имеются.**— Вот Яшина и убьют первым...»*

1996



ПРЕМИИ «СМЕНЫ» ЗА



ЕВГЕНИЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ



ВАЛЕНТИН ОСИПОВ



ВЯЧЕСЛАВ КАПРЕЛЬЯНЦ



ЮРИЙ ПОЛЯКОВ

ЕВГЕНИЮ ДОБРОВОЛЬСКОМУ —

за очерки «Хирургия повседневных катастроф» (№ 9) и «Гусь козе не товарищ» (№ 10);

ВЯЧЕСЛАВУ КАПРЕЛЬЯНЦУ —

за юмористические рисунки (№№ 7, 10);

ВАЛЕНТИНУ ОСИПОВУ —

за документальную повесть «Тайная жизнь Михаила Шолохова» (№№ 1—2);

1995 ГОД ПРИСУЖДЕНЫ:



ПЕТР ПОЛЯКОВ



ТАТЬЯНА СМЕРТИНА



АЛЕКСЕЙ СЛУЧЕВСКИЙ



ОЛЬГА ЧАЙКОВСКАЯ

ЮРИЮ ПОЛЯКОВУ —

за роман-эпиграмму «Козлёнок в молоке» (№№ 11—12);

ПЕТРУ ПОЛЯКОВУ и АЛЕКСЕЮ СЛУЧЕВСКОМУ —

за перевод романа Юбера Монтеля «Смертельный брак» (№ 10);

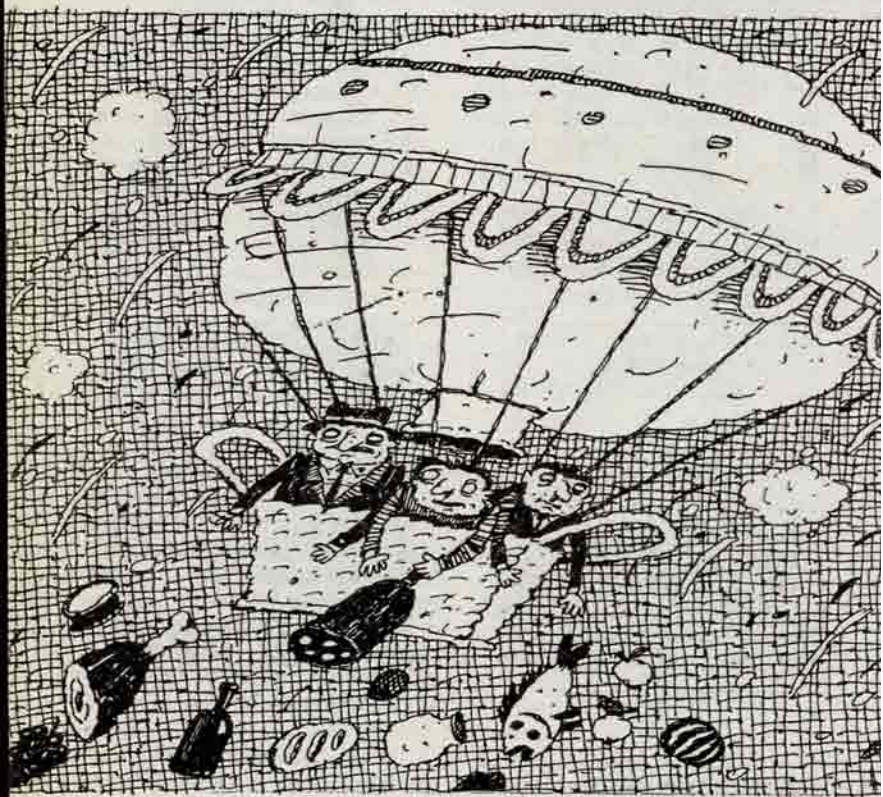
ТАТЬЯНЕ СМЕРТИНОЙ —

за цикл стихов «Печальная Русь за Сергея молилась...» (№ 9);

ОЛЬГЕ ЧАЙКОВСКОЙ —

за очерк «Сапогом по ребрам» (№ 5).

EGOR



EGORU

Чем питаться, чтобы было вкусно и недорого?

Что такое «продовольственная корзина» и что в ней лежит?

Почему в России так много толстых?

Какая диета помогает похудеть: «сырная», «творожная», «уксусная»?

Есть ли продукты, продлевающие жизнь?

Говорят, что алкоголь в малых дозах полезен. Какими должны быть эти дозы?

Какое блюдо вернет мужскую силу?

На эти и другие вопросы «Смены» отвечает директор Института

питания Российской Академии медицинских наук,

академик РАМН МИХАИЛ ВОЛГАРЕВ.

— Мы часто слышим: «минимальная потребительская корзина», «продуктовая корзина»... А какие продукты в этой корзине лежат?

— Рациональный набор выглядит так: в месяц человеку «по минимуму» надо пять килограммов мяса и мясопродуктов, почти двенадцать литров молока, 780 граммов творога, 400 граммов сыра, 550 граммов животного масла и 640 граммов масла растительного, 3,2 килограмма сахара, 7,5 кило картофеля, два с небольшим килограмма капусты свежей и квашеной, 19 яиц... А также 2,5 килограмма огурцов и помидоров, 1,19 килограмма корнеплодов, 3,5 килограмма свежих фруктов и ягод, 670 граммов винограда, 1,28 кило бахчевых и 970 граммов цитрусовых... Кроме того, в минимальном наборе — мука, рис, макароны, сметана... Подчеркну: этих продуктов хватит и для молотобойца, и для клерка, и для подростка, и для кормящей матери. Стоимость такого набора составила в марте нынешнего года в Москве 312 160 рублей...

Еще в начале 1992 года министерство труда определило «минимальную потребительскую корзину». В ней 67,9 процента расходов приходится на «продовольственную корзину». Оставшееся предполагалось тратить на непродовольственные товары (20,7 процента), услуги (9,2) и налоги (2,2 процента).

Сделали тогда «корзину» полупустой — потому что у людей, дескать, есть запас и одежды, и продуктов. А затем, пережив «острый период реформ», предполагалось «утяжелить корзину». Но нет ничего более постоянного, чем временное. К нашим дням «потребительская корзина» лишь слегка «перекосилась» (долю расходов на питание увеличили на один процент!), но в сущности не переменилась.

Что же сегодня лежит в «минимальной продовольственной корзине»? Колбасных изделий и копченостей 70 граммов... в месяц на человека. Молока меньше почти вдвое, чем диктуют «физиологические нормы», 5,69 литра, количество сыра и брынзы уменьшилось более чем в два раза — до 190 граммов, яиц стало — двенадцать... Огурцов и помидоров полагается съесть — ежемесячно! — 230 граммов, говядины — 390 граммов, 80 граммов баранины и 130 граммов свинины. Бахчевые, виноград и цитрусовые из минимального «меню» исчезли совсем. Свежих фруктов малообеспеченным положили 1,26 килограмма, а также 70 граммов конфет и 70 граммов сельди. Зато увеличили по сравнению с расчетом Института питания количество потребного человеку картофеля — до 10,35 килограмма и капусты — до 2,53 килограмма.

— Извините, Михаил Николаевич, но по два грамма конфет, кол-

басы и селедки ежедневно — такое меню выглядит издевательски... Равно как и восемь граммов помидоров в день...

— Когда министерство труда составляло, а правительство утверждало «минимальную корзину», исходили не из интересов здоровья человека, а из интересов политических. От стоимости «корзины» зависит размер минимальной зарплаты, пенсии, устанавливаемая величина прожиточного минимума. Поэтому правительство было прямо заинтересовано, чтобы эта «корзина» «весила» как можно меньше. Вот и получилось, что «официальная корзина» стоит почти в два раза меньше, чем рациональный набор продуктов, о котором я уже говорил.

Она «содержит» 2357 килокалорий ежедневно. Может быть, это насытит «среднестатистического» жителя. Но многим не хватит. Подоросткам, например, надо около 2700 килокалорий, беременным — 2900 килокалорий, кормящим матерям — 3200... «Минимальную продовольственную корзину», по моему, кто-то справедливо назвал «картофельно-хлебной диетой для лежачих».

В одном из поселков Ярославской области стали употреблять в пищу... комбикорм. Едоки выступали по областному телевидению: рассказали, что новая пища им «даже нравится», и показали, как готовить блюдо.

Настоящим бедствием стали в Центральной России кражи с приусадебных участков картофеля и овощей. Один из способов борьбы с похитителями, применяемый дачниками, таков: вора раздевают донага и отпускают. С мужчин-грабителей обычно снимают все до нитки, на женщинах все-таки оставляют белье.

В прошлом году Институт питания РАМН провел исследование, как питается население России. В зависимости от доходов люди были разбиты на десять групп, от «очень бедных» до «сверхбогатых». Выяснилось, что самые малообеспеченные (в расчете на одного человека в месяц) съедают: яиц — 9, растительного масла — 300 граммов, рыбы — 300 граммов, молочных продуктов — 14,7 кг, мяса — 4,6 кг, сахара — 1,9 кг, овощей — 4,7 кг. Все эти показатели (кроме картофеля и мяса) — ниже, чем в минимальной потребительской корзине. Суммарная энергетическая ценность такого меню — 2063 килокалорий в день. Вывод ученых: около трети населения России недоедают.

— Ясно, сводить концы с концами нашим гражданам приходится самим — никто не придет, не спасет, не накормит. Не могли бы вы, Михаил Николаевич, дать совет: как питаться сытно, по возможности вкусно — и тратить на это поменьше денег?

— Никаких Америк, думаю, я не открою, может быть, лишь подтверждаю, так сказать, научным авторитетом то, что люди чувствуют интуитивно. Советую избегать пищи готовой, тем более «быстрой»: сосисок, колбасы, сарделек... Стоит это переработанное мясо дороже, чем мясо натуральное, но полезных веществ в нем меньше и жира значительно больше. А главное: если вы потушите мясо с картошкой и овощами — хватит на три дня, а сосиски на ту же сумму съедите за день. Советую по возможности готовить самим и питаться дома. Это куда экономней, чем в столовых. Что готовить? Народ за тысячи лет вывел формулу: щи да каша — пища наша... И в щах, и в каше есть все

необходимые вещества, витамины... Или взять растительное масло — оно куда полезней, чем животное. И дешевле чуть не в три раза. Однако статистика свидетельствует, что все группы населения, и самые бедные, и «средняки», и очень богатые, съедают его примерно одинаковое количество: 300—400 граммов ежемесячно. Это в два раза меньше, чем физиологический минимум, и куда меньше, чем в «минимальной корзине»... Рыба тоже пока дешевле мяса и опять-таки полезней его. Но на семейном столе и бедных, и богатых россиян она бывает весьма редко. И овощей мы, увы, потребляем меньше, чем «корзиночный минимум». Зато все группы населения добирают «жизненную энергию» за счет сахара, картошки и животного жира.

Так что и для богатых, и тем более для бедных рецепт «вкусной и здоровой» (а главное — дешевой) пищи напрашивается сам собой: побольше растительного масла (вместо животного), рыбы (заменяя ею мясо, а тем более сосиски), овощей (свекла и морковь не дороже картошки).

— Не могли бы вы дать примерное меню для людей со средним и «очень средним» достатком?

— Вы мое меню воспринимайте не как догму, а как основу для творчества... Утром хорошо бы, кроме чая или кофе, съесть тарелку молочной каши: манной, рисовой, геркулесовой, перловой... — любой. Замечательно, если вы живете недалеко от работы: пришли в обеденный перерыв, разогрели себе щи или борщ — лучше не на костном бульоне, а на овощном (и дешевле, и полезней!). Или берите еду с собой, разогревайте... Часа в четыре попейте чай, съешьте бутерброд с сыром. Вечером, часов в шесть-семь, ужинайте: тушеной ка-

пустой с мясом, или рыбой с картошкой, или курицей с рисом. На ночь — стаканчик кефира или яблоко... И, пожалуйста, не питайтесь на ходу, на бегу, стоя, впопыхах...

— Несмотря на то, что многим не хватает на еду, Россию продолжают называть «страной толстых»...

— Толстых везде много. Избыточный вес — проблема во всех индустриальных странах. В начале 80-х годов на Западе проводили обследование и выяснили: от лишнего веса страдают около четверти мужчин и тридцать процентов женщин. У нас цифры были выше: около тридцати процентов мужчин и треть женщин. Причины ожирения хорошо известны: люди получают больше калорий, чем необходимо для поддержания жизни. Слишком любят жирное, мучное и сладкое. Ведут неподвижный образ жизни... Развитые страны спохватились, забили тревогу. Начались национальные кампании за здоровый образ жизни.

— Сегодня в западных странах число людей, страдающих избыточным весом, уменьшилось примерно на десять процентов. А у нас?

— За эти пятнадцать лет практически не изменилось. Была такая программа «всероссийского похудения». Но сейчас она, согласитесь, не ко времени. Как мы можем ныне призывать, чтобы люди меньше ели — это же издевательство! И как пропагандировать здоровый образ жизни, если стадионы закрываются, а спортивные абонементы дико дороги?! Раньше, лет десять назад, мы гордились, что по потреблению мяса на душу населения вот-вот догоним Америку. Нынче этот показатель упал с 72 до 57 килограммов на человека в год. Люди едят больше хлеба. (Чтобы

«выудить» из батона такое же количество белка, как из мяса, его надо съесть много.) Но в хлебе, кроме белка, — крахмал, углеводы, — вещества, способствующие ожирению... У нас каждый пятый ребенок к тринадцати годам страдает избыточным весом!

— А как определить, есть ли у меня избыточный вес? Вроде бы было принято, что вес должен быть равен росту минус сто. Но я недавно прочитал, что надо, оказывается, не сто отнимать, а сто десять...

— Сто десять — это для фото-моделей... А для обычного человека действует первая формула. Но есть еще один росто-весовой коэффициент, более точный. Надо ваш вес (в килограммах) разделить на рост (выраженный в метрах), возведенный в квадрат. Если результат будет от 18,7 до 25 — ваш вес в норме. Меньше — «недобор»; больше — избыток. Например, если ваш рост 1,75 метра, а вес — 80 килограммов, вы получите росто-весовой коэффициент 26,1. Надо худеть... Легко также посчитать, до какого предела. Умножьте 25 на 1,75 в квадрате — получится 76,5 килограмма. По крайней мере 3—5 кило надо сбросить.

— Легко сказать — сбросить 3—5 кило. Но как это сделать? Миллионы хотели бы похудеть...

Майя Плисецкая однажды ответила на вопрос о диете так: «Сажу не жрамши!»

Елена Образцова садится на диету дважды в год, сбрасывая каждый раз около двадцати килограммов. Ест, причем в неограниченном количестве, цитрусовые, мясо, рыбу, яйца. Но — никаких «гарниров» вроде картошки.

Людмила Гурченко, по ее признанию, когда голодна, может переест любого. Любимые блюда — винегрет и вареники с картошкой.

Утверждает, что никаких диет никогда не знала.

Анни Жирардо обожает супы, объедается макаронами. Очень любит креветки, рис. Когда бывает в Москве, съедает, по ее словам, тонны селедки. Между прочим, Россия помогла ей похудеть: Анни пополнила, потому что пила много пива. В то время она подолгу жила в нашей стране — хорошего пива тогда здесь не было. Пришлось худеть...

Любимое блюдо Николая Караченцова — макароны по-флотски.

Диета Клаудии Шиффер — ключевая вода, рыба, листья салата.

А вот «диета» от Михаила Жванецкого: гречневая каша с котлетами, кусок мяса из борща: «Меня научил один спортсмен переворачивать гречневую кашу в борщ, все это перемешивать и даже не есть, а жрать... Жареную рыбу люблю, маленькую. Люблю ее всю видеть на блюде, чтобы она вся помещалась, маленькая с хвостиком. Не люблю, чтобы она где-то начиналась и кончалась, а у меня была середина».

— Общие принципы похудения можно взять из практики нашей клиники лечебного питания (хотя порой похудеть на пять—семь килограммов бывает труднее, чем на тридцать — сорок). Во-первых, следите за тем, чего и сколько вы съели. Во многих книгах есть таблицы калорийности, содержания в продуктах белков, жиров, углеводов. Ориентируйтесь на то, что, если вы заняты сидячей работой, вам надо потреблять 2000—2300 килокалорий, около 30—35 граммов белка, 30 граммов жиров, 100 — крахмала и 80 — моно- и дисахаридов ежедневно. Исходя из этого, вы сами можете составить себе меню. Хорошо бы исключить белый хлеб, сливочное масло, сапо, уменьшить картофель, сахар,

И «забивать» голод капустными, морковными, свекольными салатами. Постарайтесь есть почаще, но понемногу. (В нашей клинике лечебного питания едят вообще по шесть раз в день.) Если вы питаетесь редко, невольно включается механизм самосохранения и вы «автоматически» съедаете больше, чем надо организму, — этот запас откладывается в жировых депо.

Всякие модные диеты типа «уксусной», «яблочной», «рисовой» не рекомендую. «Нажимая» на один продукт и исключая из меню другие, можно лишиться ценных веществ и довести себя до болезни.

— А как попасть в вашу клинику лечебного питания? Говорят, туда очередь на годы...

— У нас в институте есть консультативно-диагностический отдел. Любой может приехать, посоветоваться — врачи подберут диету. Но за избыточным весом часто может следовать болезнь: гипертония, ишемия, остеохондроз, диабет... В зависимости от диагноза мы можем дать направление в клинику. Очередь туда есть — но, конечно, не на год. Консультация до последнего времени там вообще была бесплатной, сейчас стоит недорого... В каждом областном городе раньше были врачи-диетологи. Теперь эти врачебные ставки начинают сокращать, считая менее важными, чем терапевта или ухорго-носа.

В студенческом общежитии в Дрездене жили и французы, и чехи, и болгары, и русские, и англичане, и немцы... Каждое утро все нации, пившие свой кофе, апельсиновый сок и съедавшие (максимум!) круассан с медом, с нескрываемым изумлением смотрели, как «эти русские» разогревали себе кар-

тошку с мясом, варили сардельки, открывали мясные консервы...

Недавно фирмы по приготовлению сухих завтраков (они и в России продаются, например, «звездочки» из рисовой муки) объявили о рекордном росте своих прибылей. Объясняют это тем, что европейцы в погоне за здоровьем стали отказываться даже от традиционных утренних булочек и набросились на низкокалорийный «сухой корм».

— Не так важно, ешь ли ты плотно утром или вечером, главное — соблюдать режим питания. Тогда не возбуждается центр голода, расположенный в мозге, организм настраивается на еду автоматически, его легче «включать» и «выключать». Когда же вы едите «по вдохновению», во всех органах, что регулируют пищеварение, — желудке, пищеварительном тракте, поджелудочной железе — включая центральную нервную систему! — возникают разлады и дисфункции. От дисфункций рукой подать до болезней. Вряд ли кто-то, включая врачей, связывает камни в желчном пузыре с тем, что больной беспорядочно питался — но связь есть. Прямая! Даже если вы не успеваете позавтракать или пообедать в свое привычное время — съешьте в этот момент хоть что-нибудь, чтобы обмануть свои рефлексы... Мы рекомендуем, чтобы за завтраком человек получал около 25 процентов своего дневного рациона, за обедом — 40—45 процентов, остальное — за ужином. А еще лучше четырехразовое питание, с полдником или вторым завтраком. За полдником можно съесть 10—20 процентов дневного рациона. Если хотите, можете ограничиться утром чашкой кофе, но лучше все-таки что-нибудь съесть, чтобы обеспечить себе двигательную и умственную актив-

ность в первой половине дня. И, если завтрак легкий, обязательно плотно поешьте часов в одиннадцать-двенадцать... Ведь часто бывает так: утром чашка кофе, днем — бутерброд на бегу, зато вечером — наедаются до отвала. Подобное одноразовое питание приводит, во-первых, к тому, что вечером, изголодавшись, вы съедаете «с запасом» — и излишек немедленно откладывается; во-вторых, к ночи снижается активность организма — ему трудно переваривать пищу и расходовать калории, которыми вы его напичкали; в-третьих, все силы тела будут уходить на то, чтобы справиться с обильным ужином, — ему уже не до здорового сна, не до приятного секса...

— Недавно французский ученый объявил о сенсационном открытии: мужскую потенцию резко повышает... кислая капуста! Около полутора килограммов ежедневно — и мужчина будет силен до глубокой старости. Кислая капуста стала очередной «мужской панацеей». А до этого — кальмары, орехи, сметана с пивом, папоротники, улитки...

— Еще Гиппократ делил пищу на «горячую» и «холодную» — не по температуре, а по «темпераменту». Согласно Гиппократу пища животная и жареная — «горячая», а растительная и вареная — «холодная». «Горячая» пища якобы стимулирует мужскую силу... Конечно, есть продукты, что повышают общий тонус организма — шоколад, например, или пара рюмок коньяка — и в том числе «специфически мужской» тонус. Но, может, на кого-то хорошо действуют жареные мозги, а кто-то испытывает «вдохновение» от цветной капусты. Впрочем, мне не довелось видеть ни одного исследования, доказавшего: этот пищевой продукт в самом деле повышает потенцию.

Скорее всего история с кислой капустой, которую надо есть килограммами, — «утка».

— Нынче многие книги учат нас, как правильно питаться. Одни утверждают, что продукты нельзя смешивать, все надо есть отдельно. Другие — что-то сочетать можно, что-то нет...

— Раздельное питание нефизиологично. Понимаете, в пищеварении участвуют разные отделы — желудок, поджелудочная железа, тонкий кишечник — выделяемые ими разные ферменты, различные нервные окончания. Каждый вид пищи содержит информацию, «запускающую» ту или иную зону пищеварения, эндокринную зону или фермент. И если вы питаетесь раздельно, «включается» только часть вашей пищеварительной системы. Зачем же ей работать вполсилы?.. Так что я выступаю за то, чтобы питаться, как мы привыкли.

— Правда ли, что у долгожителей — особое меню? Связана ли продолжительность жизни с рационом?

— Связана. Особое питание — необходимое условие долгой жизни. Необходимое, но не достаточное. У каждого из нас есть своя «программа жизни», заложенная в нас родителями. Надо, чтобы программа эта была «долговременной», чтобы характер работы и состояние окружающей среды не вредили здоровью и чтобы было подходящее питание. Вот «три источника, три составные части» продолжительной жизни. Долгожители есть во всех странах. Есть целые ареалы: Абхазия, Дагестан, Тибет и, мало кто знает, Якутия... Единственный продукт питания, который объединяет их всех, — молоко и кисломолочные продукты.

— Бытует мнение, что «алкоголь в малых дозах полезен, но эти

дозы не должны быть очень малы-ми»... Действительно ли спиртное может быть не вредно и какими в самом деле должны быть дозы?

— Мне довелось читать много сообщений «в защиту алкоголя», но вот странность: только в широкой печати, а не в научной литературе. Возможно, заметки в газетах инспирируются фирмами — производителями спиртного, а потом охотно перепечатываются всюду... Тем не менее я склонен считать, что чуть-чуть алкоголя помогает снять стрессы, тем самым предотвращая сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз... Каким должно быть это «чуть-чуть»? Около 30 миллилитров абсолютного алкоголя (то есть водки) ежедневно. Стало быть, маленькая рюмочка коньяка или пара рюмок вина, или баночка пива... Только покажите мне русского человека, который мог бы остановиться после баночки пива...

— Скажите, Михаил Николаевич, а директор Института питания сам питается правильно? И какое ваше любимое блюдо?

— Очень люблю голубцы. И с мясной начинкой, и особенно с растительной. Жена готовит их с рисом, морковкой, луком... Мясом я вообще не увлекаюсь. Я не вегетарианец, когда дают мясное — ем, но прекрасно без него обхожусь. Ем рыбу, и отварную, и жареную — не севрюгу, конечно, а обычного карпа или треску. В отпуск езжу на рыбалку, сам варю ушицу... На завтрак — кашу геркулесовую, рисовую или гречневую, или творог, сметану... Буфет у нас в институте закрыли, поэтому на обед ем то, что беру с собой, что дает жена. Разогреваю в печке бутерброды. А хорошо бы, конечно, поесть овощного супа или борща...

Беседу с «авторскими отступлениями» вел ВИТАЛИЙ СВЕТОВ.



14 ИРИНА АЛТАРЦЕВА,

26 лет, журналист,
Енакиево

—

*Обитель неприкаянной души —
Мое недрессированное тело
Ползет вдоль непрочерченной межи
По плоскости, от слезной соли белой.
И, просытаясь, дух негордый мой
Рвет оболочку, выхода не зная.
Я целюсь в рай, но вместо рая — зной,
Где мне ползти, и корчась, и стеная.
Там, за чертой, наверно, благодать,
Там правый суд, души успокоенье.
Но мне до срока там не побывать
И не постигнуть духа отторженья.
Мой путь — где солнце скисло от жары,
Где горячо странства колебанье,
Где отдан дух теплу на растерзанье,
И где под солнцем плавятся миры.
И я — ползу, и мой негордый дух
Рвет оболочку, выхода не зная.
Пустыня. Зной. Сух ветер, воздух сух.
Но я ползу — пусть корчась, пусть стеная!*

≡
Из земли поднимается к небу
невидимая бабочка.
И только солнечный луч помогает заметить,
насколько огромны ее крылья.
Ближе к Небу она становится облаком,
и, секунду помедлив, разлетается тысячами
крохотных мотыльков.
Они плавно спускаются на Землю,
из которой только что выпорхнули.

≡
Встречать другие поезда
И провожать — чужие лица,
К чужим ладоням прикасаться,
Кому-то улыбаться вслед...
А где-то мчится, мчится, мчится
Наш поезд через толщу лет.
И золотистой вереницей
Иные следуют за ним.
И люди в них подобны птицам,
А мы стоим... стоим... стоим...

МЫ В КОМНАТЕ

Ночь. Снегопад. А мы без лишних слов
Сбежим в уют убогой комнатенки.
За стенкой шум негромких голосов
Перебивает вечный плач ребенка.

Здесь лампочка устала освещать
Пространство, обреченное на угол.
И невозможно сонно не молчать
Средь темноты, слоистой, будто уголь.

По-древнему скрипучая кровать
Скрипит почти по сердцу. Ночь беззвездна.
Не хочется ни верить, ни мечтать,
Ни легкомыслить, ни думать о серьезном.

Ведь в нас огонь, чтоб осветить углы,
Где мы умрем, раздавленные тенью.
Мы ходим неприкаянны и злы.
Мы ходим — опекаемые ленью.

И столько раз в убогой темноте
Мы отдаем все то, что не имеем.
И только там, в Заснеженной Мечте
Мы что-то значим и чего-то смеем.

*Но и тогда, от снежных этих снов
Сбежим в уют убогой комнатенки,
Где жизнь проста, и очень мало слов,
И сон без сна. И вечный плач ребенка.*

АЛЕКСАНДР ГОНЧАРЕНКО,

39 лет,
Кировоград

==

*Какой сегодня день пригожий,
и сыплет, сыплет чистотой
на улицы и на прохожих,
над пустотой, над суетой,
окрашивая белым-белым,
ложится и не тает снег,
и, еле сдерживая бег,
вступаешь на него несмело,
боясь порушить. Как во сне:
сомнамбулою, привиденьем,
среди легких хлопьев,
легкой тенью,
улыбкой детской в окне.
Пошатываясь, будто пьяный,
желаешь наглядеться впрок;
нездешним чувством обуянный.
Земля уходит из-под ног
от вида этой круговерти;
хмельно кружится голова
и забываются слова,
и нет — ни жизни и ни смерти.
Есть только этот снегопад.
Куда ни посмотри, повсюду
бело и чисто — снежный сад.
И снова, снова веришь чуду.*

==

*Кажется, что так уже и будет:
все дожди, дожди. Вода, вода.
Кажется, что не напрасно люди
покидают эти города.*

*А порою, кажется, я знаю,
что окончится сезон дождей;
что не люди города бросают —
города уходят от людей.*

*Дни проходят, жизни не итожа
и неразличимые почти,
и который год одно и то же,
и который год дожди, дожди.*

А сколько их осталось, этих лет,
Не пройденных, не прожитых, не знанных?
Так много приглашенных на банкет!
Так много званых?
На этот праздник, где билетов нет
И давка в гардеробах и уборных...
А сколько их осталось, этих лет?
Беспечных, бесшабашных, иллюзорных...

Вокруг меня
ни ясно, ни темно,
но где-то есть дыра? или пятно?
манящая,
зияет чернотой,
и тянутся туда
чужой и свой
увидеть и пощупать
эту чернь —
неистребим в них
любопытства червь.
И гложет и влечет
туда, туда
К дыре или пятну?
и навсегда
уходят люди,
нечет или чет,
и исчезают там.
За годом год и год.

Вид едва распустившихся почек
не дурманит уже, не пьянит;
недопи... ненаписанных строчек
ни перо, износившись от точек,
никакой не притянет магнит.
Дни длиннее, а ночи короче —
все проходит своим чередом:
многоточье за многоточьем,
постоянные гости, а в прочем
ничего, на отшибе мой дом.
Скоро сад мой украсится белым,
скоро будут деревья в цвету,
и тогда, заполняя пробелы,
напишу я по белому смело
про деревья, про ночь, про звезду;
про еще много разных и прочих
и увижу — звезда в вышине,
вдруг покатится, сделает прочерк...

КОЗА

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ



15. НОЧЬ ПОЭЗИИ

Одуев прямо на пороге обнял меня и расцеловал. То же самое он проделал с Витьком, но при этом несколько раз чихнул из-за простынной свежести, исходившей от моего воспитанника.

— Молодцы, что приехали! Пошли с людьми познакомлю!

В комнате было двое мужчин. Один из них был мой давний знакомец Любин-Любченко, одетый, как всегда, в старенький кургузый костюмчик и несвежую рубашку с галстуком необязательного цвета — такие обычно повязывают безымянным покойникам, когда хоронят их за казенный счет. Обтрепанные манжеты рубашки так сильно высовывались из коротких рукавов, что, казалось, у Любина-Любченко вместо рук — копыта. Дополнялось все это длинными немытыми волосами, ассирийской бородкой и замечательно алыми, улыбочиво-лоснящимися губами. Словно он только что съел намащенный блин и теперь удовлетворенно облизывается.

Второй гость был мне незнаком. Лет тридцати пяти, он был удручающе лохмат и многозначительно хмур.

Окончание. Начало в № 11.

Молодые

— Любин-Любченко, теоретик поэзии! — представился Любин-Любченко и выпростал из манжеты маленькую сухую ручку.

— Виктор Акашин, прозаик, — ответил Витек с достоинством, именно так, как я и учил.

Теоретик нежно сжал Витькину лапу и, не отпуская, оглядел его, особенно почему-то задержавшись на пятнистых десантных штанах.

— Откуда вы такой? — масляно облизнувшись, спросил он.

— Из фаллопиевых труб, — был ответ.

— Забавный юноша... А мы с вами нигде не могли встретиться? — спросил он, переводя глаза со штанов на доху.

— Вряд ли, — вступился я. — Виктор в Москве всего несколько дней.

— Возможно... Знаете, если человек мне нравится, всегда возникает ощущение, что я его уже где-то встречал. — Говоря это, Любин-Любченко оценивающе разглядывал надпись на майке «LOVE IS GOD».

— Трансцендентально, — буркнул Витек, покосившись на мой правый большой палец.

— Тер-Иванов, — хмуро отрекомендовался второй и угрюмо добавил: — Практик поэзии.

— Акашин, автор романа «В чашу», — сообщил Витек так, как я учил.

В это время с кухни, неся блюдо с бутербродами, появились две женщины. Одну из них я тоже знал. Это была Стелла Шлапоберская с телевидения, давняя подружка Одуева, от которой, как от осеннего гриппа, он никак не мог отвязаться. С ног до головы одетая во все кожаное, Стелла была коротко острижена, а в ушах висели огромные серьги, похожие на елочные украшения. Вторая

была совсем еще девочка, в школьной форме с толстой русой косой. Это с ней несколько дней назад Одуев был в ЦДЛ.

— Настя, поэт, — представил ее он, и девочка смущенно протянула розовенькую ручку с чернильным пятнышком на среднем пальчике.

— А я — просто Стелла, — сказала Шлапоберская и поцеловала обалдевшего Витька прямо в губы. — От вас пахнет мужской чистотой!

— Вестимо, — самостоятельно отозвался Витек и покраснел, видимо, вспомнив о своем купании в стиральном порошке.

— Не смущайте молодого человека! — ревниво облизнулся Любин-Любченко и, взяв Витька под руку, повлек к дивану, усадил и пристроился рядом.

Стелла мгновение постояла в растерянности, потом решительно подошла к дивану и села, прижавшись к Витьку с другой стороны.

— Содержание алкоголя в крови упало до смертельного уровня! — крикнул Одуев и вытащил из-под стола две бутылки крепленого вина, которое тут же и разлил в разнокалиберные чайные чашки.

— За поэзию! — провозгласил он.

— Хотите на брудершафт? — спросила Стелла Витька и, не дожидаясь ответа, просунула свою чашку под его руку.

Акашин, неуклюже изогнувшись, выпил. И тут же был жадно поцелован Стеллой в губы. Чуть пригубивший вино Любин-Любченко заботливо поднес Витьку бутерброд. Настя опрокинула свою чашку резко и зажмурил глаза, точно запивала аналгин.

— Как вы относитесь к ящику? — заглядывая Акашину в глаза, спросила Стелла.

— Чего?

— К телевидению, — пояснила она. — Я его ненавижу!

— Телевидение — Молох, питающийся человеческими мозгами! А вы, Стелла, его неумолимая жрица! Цирцея! — сказал Любин-Любченко и погладил руку оторопевшего Витька.

Одуев еще раз налил всем вино, заставил выпить уже без всякого тоста, потом подошел к Насте, поцеловал ее в тонкую беззащитную шею и приказал:

— Читай!

— Что? — жалобно спросила она.

— «Колонну».

Настя обхватила себя нервно подрагивающими руками, откинула голову и низким, завывающим голосом начала:

— *Томит одинокое лоно,*

И зябко раздетым плечам:

Дорическая колонна

Мерещится мне по ночам...

Когда она закончила, Одуев глянул на нас с той гордостью, какая бывает у хозяина, когда его любимая собака на глазах у гостей подает лапу по первой же команде.

— Высказывайтесь!

Все почему-то посмотрели на Витька, а тот скосил глаза на мои пальцы и произнес:

— Ментально.

— Какая вы еще наивная, Настенька! — вздохнула Стелла и положила свою стриженую голову на плечо моего воспитанника.

— Пластмассовые кружева! — рявкнул Тер-Иванов и закурил вонючую «Приму».

— Ну почему сразу — пластмассовые! — заступился я. — Совсем даже не пластмассовые...

Теперь все посмотрели на Любина-Любченко, он некоторое время в задумчивости теребил акашинский мизинец, потом заговорил:

— Да... Наверное... Вы, деточка, просто ламочка! Это, конечно же, возрастное. Дело в том, что одиночная колонна означает «мировую ось». Это космический символ. Но она может иметь и чисто эндопатическое значение, определяемое направленным вверх символом самоутверждения. Вам восемнадцать?

— Шестнадцать, — поправила она.

— Ах, даже так! — облизнулся Любин-Любченко и посмотрел на Одуева с беспокойным удивлением. — Тем не менее тут присутствует, без всякого сомнения, и фаллический символ. Древние приписывали Церере колонну как символ любви. Кроме того, древние считали колонну проекцией позвоночного столба, ибо позвоночный столб тоже знак мировой оси... Вы на уроках, Настенька, не сутулитесь за партой?

— Нет... Раньше сутулилась, а теперь уже нет.

— Ну и славненько.

— Почему же дорическая, а не ионическая или, скажем, коринфская? — полюбопытствовал я.

— Да, в самом деле? — кокетливо подхватила Стелла, поправляя Витьку уимблдонскую повязку.

— Стеллочка, — масляно улыбнувшись, произнес Любин-Любченко с тонкой издевкой. — Если вы в вашем возрасте этого не поняли, то вам лучше не беспокоить мужчин.

Сказав это, он попытался полностью завладеть акашинскими пальцами, но мой гений испуганно отдернул руку.

— А я не у вас, я у Насти спрашиваю! — отгрызнулась Стелла.

— Не знаю. Я так чувствую... — растерянно объяснила девочка.

— Правильно, ламочка, правильно вы чувствуете! — успокоил Любин-Любченко и многозначительно посмотрел на Одуева.

Тот снова налил вина и предложил выпить за Настю.

— Вы любите Ахматову? — чокаясь с ней, спросил я.

— Не очень. Она так и не сумела превратить оргазм в поэзию!

Теперь уже я посмотрел на Одуева — с уважением. Тот удовлетворенно засмеялся и снова поцеловал девочку в шею. В это время хмурый Тер-Иванов молча встал, вышел на середину комнаты, заложил руки за спину и, раскачиваясь, как конькобежец, начал без всякого предупреждения:

— Шур-шур, тук-тук

Крысы бегут с корабля

Скучно матросам без крыс

Шур-шур-шур-шур

Тук-тук-тук-тук.





Закончив, он так же решительно вернулся на свое место, прыгающими руками достал из кармана пачку «Примы» и снова закурил. Все посмотрели на Акашина, а он на мой дрогнувший левый указательный:

— Скорее нет, чем да!

Услышав это, Тер-Иванов нахмурился и затянулся с такой силой, что сигарета затрещала и брызнула искрами, как бенгальский огонь.

— А мне кажется, что-то есть! — вступилась Настя.

И это понятно: любой поэт после похвал становится добрее к чужим стихам, даже очень плохим.

— Б-р-р! — сообщила Стелла и подергала обомлевшего Акашина за ухо.

— Ну почему сразу — «б-р-р»? — Я решил подбодрить автора.

Теперь была очередь Любина-Любченко, который как бы невзначай перенес сферу своих интересов с руки моего несчастного воспитанника на его колено.

— Что ж вы изменяете верлибру с белым стихом? — попенял теоретик, облизываясь.

— Я не изменяю! — отгрызнулся поэт-практик.

Он побурел, достал новую сигарету и прикурил прямо от предыдущей, в глазах его засветилась та тоскливая ненависть, какая бывает только у поэтов, когда ругают их стихи.

— Поэта надо судить по его собственным законам! — выдал Тер-Иванов из себя вместе со струей сизого дыма.

— Не кипятитесь, — примирительно улыбнулся Любин-Любченко. — Я вам не судья. Но давайте порассуждаем: крыса — злое божество чумы в Древнем Египте. Побег может означать освобождение... Согласны? Фаллический символ крысы означает отвратительное в сексе...

— Я же говорила! — обрадовалась Стелла и нежно взлохматила Витькины волосы.

— Вы мне очень мешаете, Стеллочка! — раздраженно сказал Любин-Любченко (и это была чистая правда!). — Теперь корабль. Я бы на вашем месте остерегся делать такие смелые политические заявления, ведь плавание корабля с точки зрения любой философии абсолюта отрицает возможность возвращения. К примеру, корабль дураков выражает идею самого плавания без всякой цели... А если мы продолжим вашу мысль и уподобим матросов народу, к тому же скучающему без крыс — а именно, без грязного, скотского в сексе, — то... Вы это хотели сказать?

— Нет! — скрипнув зубами, отозвался Тер-Иванов.

— Может быть! Очень даже может быть. Но каков текст — таков контекст!

Все посмотрели на автора злополучного стихотворения с состраданием, и лишь Одуев — с предвкушением.

— Нет, я имел в виду другое... — пояснил Тер-Иванов. — Я, как поэт-практик... — он заволновался и достал новую сигарету.

— Да вы не волнуйтесь! — успокоительно облизнулся Любин-Любченко. — Вполне возможно, корабль у вас входит в традиционную систему символов, обозначающих мировую ось, а мачта в центре выражает идею Космического древа...

— А если трактовать мачту как фаллический символ? — спросила Настя.

— Какая умненькая ламочка! — улыбнулся теоретик. — Конечно, не исключено... Но в таком случае корабль с мачтой, символизирующей фаллос, можно трактовать как полную безнадежность на сексуальную взаимность...

— Какой вы догадливый! — обидно захохотала Стелла и, полонечно обняв бедного Витьку, потянула его на себя.

— Вы тоже так считаете, Виктор? — огорченно облизнувшись, спросил Любин-Любченко.

Я по рассеянности выставил левый безымянный, означавший «отнюдь». Акашин некоторое время смотрел на него с недоумением, а потом самочинно сказал:

— Вестимо.

— Для гения вы слишком большое значение придаете условностям! — покачал головой Любин-Любченко.

— Гении — волы, — снова самостоятельно буркнул потерявший управление Витек.

Сделав ему страшные глаза, я, чтобы сменить тему, попросил почитать хозяина, славившегося в литературных кругах самой крутой «чернухой», за которую другого бы давно уже привлекли.

— Не боитесь? — игриво спросил Одуев.

— Пуганые! — зло ответил раздраженный Тер-Иванов.

— Ну, тогда слушайте! — Одуев подмигнул Насте и задекларировал:

Наш хлеб духмяней, наш кумач алее!

Шагаю вдоль Кремля, е...а мать,

И хочется на угол Мавзолея

Мне лапку по-собачьему задрать...

Настя ответила ему горящим взором, исполненным беззаветного восхищения и жертвенной любви.

— Не задрать, а взорвать! — угрюмо поправил поэт-практик, нашедший наконец выход переполнявшей его обиде.

— Взорвать! — захохотал Одуев. — Взорвать, ты сказал?

— Он неудачно выразился! — заступился я.

— А что скажет теория? — спросил Одуев.

— Теория. Конечно... М-да... — Любин-Любченко осторожно облизнулся. — Собака — эмблема преданности. На средневековых надгробиях изображалась у ног женщины. Учтите, Настенька! В алхимии собака, терзаемая волком, олицетворяет очищение золота при помощи сурьмы. Это вы тоже учтите!

По слухам, Любин-Любченко три года провел в лагере за что-то противоестественное и был крайне осторожен в политической тематике.

— И это все? — разочарованно спросил Одуев.

— А что вы еще от меня хотите услышать? — в свою очередь удивился теоретик, предупредительно улыбаясь.

— Ну и ладно, — кивнул Одуев. — А теперь пусть Виктор прочтет нам что-нибудь из своего романа.

— Я? — оторопел Витек.

— Читай! Давно не слушал гения! — злобно потребовал Тер-Иванов, предвкушая скорую расправу над Акашиным.

— Пожа-алуйста! — попросила Стелла, обвиваясь вокруг Витька, как кожаная лиана.

Я сделал пальцами «рожки».

— Не варите козленка в молоке матери его! — ответил Витек.

— А вы не простой юноша! — горестно облизнулся Любин-Любченко и глянул на Акашина с ласковой безнадежностью.

— Нет, пусть читает! — настаивал Тер-Иванов.

— А что он такого сказал? — спросила Настя.

— Что он сказал, ламочка? Он произнес только что десятую, самую таинственную заповедь иудейского кодекса, полученного Моисеем на горе Синай.

Витек ошалело, разинув рот, переводил взгляд то на Любина-Любченко, то на меня. Он и не подозревал, какой глубокий смысл содержался в этой смешной фразе про козленка! Вдруг я услышал шепот над моим ухом: Одуев предлагал мне выйти на пару слов.

— Как тебе Настя? — блудливо почесывая подбородок, спросил Одуев.

— Где познакомились?

— Как где? На вечере контекстуальной поэзии... Где ж еще?

— Не боишься? Родители узнают...

— Знают. Сначала просили, чтобы она домой ночевать возвращалась, а теперь и вообще оставаться у меня разрешили. Передовые родители! Мамаша даже как-то сообразилась, что сама замуж рано вышла и ничего не видела, пусть хоть дочь... Главное, говорят, чтобы на учебе не отражалось.

— Ну и как, на учебе не отражается?

— Что ты! Я же дневник у нее проверяю. Если вижу «тройку» — наказываю — сплю отдельно. Родители счастливы. Одна беда: Стелка. Как узнала, что у меня с Настькой серьезно, сразу скандалить начала. Орет, на телевидение больше меня не пустит! Говорит: «Раз ты такой мерзавец, ищи мне мужика на замену. Самой мне некогда и негде...» Понять-то ее можно: у них же там на телевидении одни теоретики, вроде Любина-Любченко. И потом, женщина она требовательная, привередливая, с кем попало не заведется! Но твой бармалей ей понравился. Чудные они, бабы, ей-Богу!

— Не знаю, не знаю... — покачал я головой. — Надо, чтоб она ему понравилась. У гениев с этим сложно...

— Да брось ты своим ребятам вкручивать! Все мы после третьего стакана — гении. Другого такого случая не будет. Кто его еще на телевидение протащит! Так что отдаю ему Стелку с легкой душой, но при одном условии.

— При каком условии?

— Когда она его в эфире будет спрашивать, кого он больше всего ценит из современных поэтов, он должен меня назвать...

Мы вернулись в комнату. Стелла ласково гладила бедного Витьку по голове. Тер-Иванов мрачно курил свою вонючую «Приму», а слабенькая Настя задремала, уронив головку на руки. Любин-Любченко все еще говорил:

— ... запрет на смешанную пищу распространен почти среди всех народов. Особенно это касается смешения мясной и молочной пищи. Конечно, такую устойчивую традицию можно объяс-

нить и симпатической магией: вскипятишь молоко — повредишь корове или, скажем, козе: не будет удоя... А если сварить козленка в молоке матери его...

— Не будет козлят! — радостно встала Стелла.

— Совершенно правильно! — удовлетворенно облизнулся теоретик. — Однако последние исследования наводят на мысль, что запрет на смешанную пищу — это скорее всего зашифрованный символ взаимного отчуждения носителей разного типа хозяйствования — землевладельцев и скотоводов, и шире — разных типов культуры... Вы это имели в виду, Виктор?

— Амбивалентно, — без подсказки ответил тот, не сразу сообразив, о чем идет речь.

— Амбивалентно? — удивился Любин-Любченко и посмотрел на моего друга с безнадежным восхищением. — Попробуем тогда взглянуть на эту проблему с другой стороны. Козел в символической философии ассоциируется с дьяволом. Но помимо этого он является также мистическим знаком отца...

Расходились утром, когда за окном посерело, точно кто-то развесил выстиранные солдатские подштанники. Настя так и не проснулась — ее перенесли на диванчик и укрыли пледом. Не знаю, снилась ли ей в этот момент дорическая колонна, но на пухлых детских губах играла безмятежно-счастливая улыбка. Тер-Иванов, нещадно куря, писал на листочке бумаги какие-то сложные математические расчеты: в разговоре выяснилось, что по профессии он инженер-сопроматчик — и Одуев попросил его рассчитать, сколько понадобится тротила, чтобы взорвать Мавзолей. Я понял, что несчастного поэта-практика он из своих рук уже не выпустит. Любин-Любченко, окончательно убедившись, что бороться со Стеллой бесполезно, зачем-то оставил Витьку свой телефон и уехал — часа в четыре. Акашин тоже уже начал клевать носом, и я, чтобы взбодрить, вызвал его на кухню и дал ему приложиться к бутылке с «амораловкой».

На улицу мы вышли втроем. Такси поймали довольно быстро. Усадив Витьку со Стеллой, я помахал им рукой.

— А ты? — испуганно вскричал Витек, сделав попытку выбраться из машины.

Совместными усилиями мы его удержали.

— Порошка купи, гад! — успел крикнуть Акашин перед тем, как автомобиль рванул с места.

16. БОСТОН — ГОРОД ХЛЕБНЫЙ

Добравшись домой, я завалился спать. И мне снова приснилась Анка, но одетая почему-то наподобие Стеллы во все кожаное — даже на руках у нее были черные кожаные длинные перчатки. Анка сидела в моей комнате, за моим письменным столом и печатала на моей «Эрике» под мою диктовку. А я ходил из угла в угол, курил, как Тер-Иванов, одну сигарету за другой и диктовал мой «главненький». И вот, когда в очередной раз я снова оказался к ней лицом, то от неожиданности замолчал на полуслове: она сидела на табурете совершенно голая — только «командирские» часы блестели на тонком запястье. Тело у нее — долгое, нежное,

загорелое, с узенькой светлой поперечной полосочкой от купальника. Она оглянулась на меня, призывно изогнулась, точно от затылка к ямке между ягодицами протянулась невидимая тугая тетива, и облизнула губы. «Ты любишь меня?» — дрожащим голосом спросил я и начал торопливо и бестолково раздеваться. «Скорее нет, чем да...» — покачала головой Анка. — «А я люблю тебя, люблю тебя!» — задыхаясь, повторял я, стаскивая с ноги застопорившийся ботинок. — «Обоюдно!» — ответила она, по-кошачьи потягиваясь. Наконец, сняв последнее, я бросился к ней и вдруг увидел, что она снова одета, на руках снова — длинные перчатки, и она продолжает быстро печатать, хотя я давно уже не диктую. Потом внезапно Анка остановилась, повернула голову и с мучительным вниманием посмотрела на мою постыдно и неуместно напрягшуюся плоть — и начала хохотать, сначала хрипло, пытаясь подавить смех, потом, откинув голову, — все громче и беспощаднее... Я покраснел и попытался закрыть руками свое осмеянное возжелание, а она все продолжала хохотать...

Разбудил меня, как обычно, Жгутувич:

— Привет! Прошу отметить, что специально звоню тебе днем, дабы не потревожить твой почтенный сон!

— Спасибо, ты настоящий друг... А сколько времени?

— Без десяти два. Работаешь?

— На износ... Чего надо?

— Ты звонил Арнольду?

— Нет еще... А что ты так волнуешься?

— Я не волнуюсь. Я переживаю. Ко мне в магазин утром заходили несколько писателей, сказали, что Кипяткова нашла какого-то гения. По приметам похож на нашего... на твоего Витька!

— А я тебя честно предупреждал.

— Еще был Медноструев. Ругал масонов и евреев, но предупреждал, что из Сибири приехал какой-то молодой парень, который всем им скоро утрет нос.

— Интересно!

— Еще был Ирискин. Намекнул, что познакомился с одним очень талантливым юношей, который очень скоро утрет нос Медноструеву... Неужели они все имели в виду Витька?

— А кого же еще? Ты читаешь энциклопедию-то?

— Дочитываю... А как ты думаешь, в Советском Союзе есть масоны?

— Точно не знаю, но по полезным ископаемым мы на первом месте. Должны быть.

— Мне тоже так кажется. Ну, пока... Позвони Арнольду!

Он повесил трубку. Я чертыхнулся, вспоминая сон, и пошел в ванную. Умылся. Потом налил в ванну воды с пенящимся шампунем и нырнул в этот теплый сугроб. Я лежал и думал, думал о том, почему все-таки Анка приснилась мне сидящей за пишущей машинкой? Почему она приснилась мне голой и хохочущей — понятно. Объяснимо даже то, почему сначала одетой, потом обнаженной — и снова одетой: она любила позлить меня. Но почему за машинкой? Она никогда мне не печатала! В ванной я так ничего и не надумал, а вот завтракая пельменями с чаем, я все-таки понял, в чем дело! Мне всегда хотелось иметь настоящую писа-

тельскую жену. Кстати, со своей первой супругой я — подсознательно, конечно, — разошелся именно по этой причине. Она была ненастоящей писательской женой и относилась к моей профессии с терпеливой брезгливостью, как к неопасной, но неприятной болезни, вроде псориаза, когда раза два-три в год все тело обсыпается огромными шелушащимися болячками. И не потому, что я был непечатающимся литературным ничтожеством! Если б она была замужем за Достоевским, точнее, будь я Достоевским, она все равно, входя в комнату, некоторое время иронически смотрела бы, как я скриплю пером, сочиняя, допустим, «Бесов», потом вздыхала и говорила насмешливо: «Федор Михайлович, а картошка-то ты-тю — кончилась!»

Настоящую писательскую жену — в самом подлинном смысле этого слова — я встречал только один раз в жизни. Речь, конечно, о знаменитой супруге прозаика Бодалкина! Это уникальная женщина: ее можно было часто видеть в издательстве, сидящей вместе с редактором над рукописью своего мужа, или в бухгалтерии, возмущающейся издевательски низким гонораром, или в приемной Николая Николаевича — пришедшей требовать дачу в Перепискино... Очень редко она появлялась вместе с мужем и напоминала при этом заботливую сестру, выведшую на прогулку своего беспомощного братца-дауна, который вопреки сложившейся психиатрической традиции не пускал радостные слюни, но задумчиво курил дорогую английскую трубку.

Она даже на писательские собрания ходила вместо него, объясняя, что муж обдумывает новый роман и никак не может прийти сам. Кстати, это обстоятельство очень выручило Бодалкина во время знаменитой травли Пастернака, когда всех мало-мальски приличных писателей заставляли ругать бедного автора «Доктора Живаго». Жена, вместо него выскочив на трибуну и сославшись, как обычно, на занятость мужа, так отчихвостила Бориса Леонидовича, что вскоре им выделили давно уже обещанную квартиру в писательском доме возле Третьяковки. Рассказывают, что когда уже плохо соображающий Брежнев вручал в Кремле прозаику Бодалкину орден, он по ошибке чуть было не приколот его к груди этой самоотверженной писательской жены, конечно же, пришедшей на вручение вместе с мужем.

Забегая вперед, скажу: когда началась гласность, когда писателям, громившим Пастернака, стало мучительно стыдно и они начали виниться, она заявила, что к тому ее выступлению сам Бодалкин, обдумывавший роман, не имеет никакого отношения, что это было ее глубоко личное мнение, в котором она, разумеется, раскаивается. И тогда вдруг выяснилось: Бодалкин — единственный из писателей старшего поколения не имеет прямого отношения к мрачным временам идеологического насилия над свободным художественным словом. На попытки завистников через прессу доказать, будто в данном случае чрезвычайно уместна поговорка «муж и жена — одна сатана», Бодалкина остроумно ответила тоже через прессу, что хоть муж и жена — единая плоть, но не один мозг!

И вдруг, понервничав из-за того, что вместо обещанного восьмитомного собрания сочинений мужу выделили всего-навсего

шеститомное, она скоропостижно скончалась. Хоронила ее вся литературная Москва, трогательно прощаясь с единственной и последней настоящей писательской женой. Вскоре после этого я встретил Бодалкина в Доме творчества «Перепискино» — румяного, бодрого, с неизменной английской трубкой в зубах. Выяснилось, что он разговорчивый, даже болтливый старичок, энергично покрикивающий на официанток, все время запаздывающих со вторым блюдом, и на весь Дом творчества ругающийся по телефону со своим издателем, готовившим к выпуску его воспоминания о том, как он не травил Пастернака. Это, кстати, была последняя работа, в которой ему помогала покойная супруга. Больше он так ничего и не написал. «Видите ли, — объяснял Бодалкин мне в баре за рюмкой водки, — работали мы так: я диктовал, а она печатала на машинке. Потом правила. Потом несла в издательство. Потом держала корректуру. Потом приносила домой сигнальный экземпляр, который я, конечно, не читал, чтобы не отвлекаться от следующего романа. Вы не представляете, какая это была женщина! Она даже с девушками меня знакомила, когда видела, что я закисаю. Такой жены у меня больше уже не будет!..»

Вот какие бывают писательские жены!

Вздохнув, я выпил «амораловки» и сел за статью о пользе закаливания холодной водой. А в перерыве все-таки дозвонился по межгороду Арнольду, который сразу стал жаловаться, что из-за суеты с организацией производства «амораловки» писать совершенно некогда, а тем временем Москву заполоняет разная агрессивная и бездарная литературная поросль. Вчера из столицы вот вернулся председатель местной писательской организации и рассказал про какого-то парня из глубинки, написавшего якобы гениальный роман, о чем только теперь и говорят в первопрестольной.

— Так это ж Витек! — засмеялся я.

— Какой Витек? — не сообразил Арнольд.

— Акашин. Племянник вашего редакционного шофера.

— Иди ты! — после пространной паузы оторопел Арнольд.

В итоге он пообещал через несколько дней подослать с оказией пару бутылок...

Витек в течение всего дня так и не позвонил — должно быть, обиделся. Честно говоря, без него было пусто и тоскливо. Перед сном я, как обычно, слушал радио «Свобода». Специальная передача была как раз посвящена Бейкеровской премии. Оказывается, ее в конце прошлого века учредил американский булочный король Джон Спенсер Бейкер из Бостона. В наследство от родителей он получил маленькую захудалую пекарню с магазинчиком и еле сводил концы с концами: клиентов было мало. Обычно, засунув в духовку противень с очередной порцией булок, Джон, одиноко поджидая за прилавком покупателей, увлеченно читал романы, в основном приключенческие. Однажды ему попалась в руки особенно интересная книга про то, как два закадычных друга, перестреляв из засады индейцев, забрали какой-то золотой тотем с алмазными глазами, потом, понятное дело, один закадычный друг подпоил и прирезал второго закадычного... И как раз в этот захватывающий момент мистер Бейкер почувствовал, как из

духовки потянуло горелым. Обжигая руки, Джон вытащил противень: так и есть — булки подгорели и вышли не белые, как обычно, а коричневатые, и противно хрустели на зубах, будто свиные хрящи. Мистер Бейкер страшно расстроился, подсчитывая убытки, но потом на всякий случай выложил бракованный товар на прилавок, предполагая продать его по сниженной цене. А тут как раз в магазинчик заглянули шедшие со смены проголодавшиеся фабричные рабочие, которые и купили подпорченные булки, прельстившись большой скидкой. Но самое удивительное началось на следующий день, когда Джон испек и выставил на продажу булки обычного качества. Захотевшие покупатели требовали от него именно передержанных, хрустящих булок. Желание покупателя — закон для хлебопека. Мистер Бейкер срочно изготовил несколько противней булок по нечаянно открытой им технологии — пока дымком не потянет. Слава о необыкновенном хрустящем хлебе быстро разлетелась по городу, и с утра у магазинчика выстраивалась длинная очередь. Он был вынужден нанять дополнительных рабочих и расширить производство...

XX век мистер Бейкер встретил одним из самых богатых людей Америки. А перед смертью, уже удалившись на покой и передав детям процветающую фирму, он решил разыскать и отблагодарить автора той чудесной книги, которая сделала его богачом и теперь, как семейная реликвия, хранилась на самом почетном месте в его огромном доме в центре Бостона. Но автор, оказалось, давным-давно умер, причем в страшной нищете и безвестности. Потрясенный мистер Бейкер выделил значительную сумму из своего гигантского состояния и учредил ежегодную премию за лучший роман, присуждающуюся специальным жюри из самых авторитетных американских хлебных магнатов.

К своему удивлению, я узнал из передачи, что этой престижной премии за много лет был удостоен весь цвет мировой литературы. Из русских на нее выдвигался Лев Толстой, и дело было почти решенное, но тут до Бостона дошла информация, что на старости лет выдающийся граф принялся собственноручно пахать землю, и в этом трогательном факте высокое булочное жюри усмотрело косвенное покушение на их кровный бизнес, поэтому в последний момент кандидатура автора «Войны и мира» была отклонена. С тех пор ни один русский писатель не фигурировал в качестве претендента на замечательную премию. Правда, недавно, прослышав, будто Костожогов написал какой-то роман, Бейкеровский комитет заслал к нему депутацию. Приехали в село кавалькадой «линкольнов», но писатель, рассказывают, спустил на них своего пса. И только после этого соискателем вдруг стал знаменитый прозаик Чурменев с его на шумевшим романом «Женщина в кресле». Об этом как раз и сообщалось в передаче. Я не вынес и плюнул в радиоприемник. В качестве ответного плевка радио «Свобода» наградило меня интервью с Чурменевым. Этот мерзавец, захлебываясь, рассказывал о том, что самое яркое впечатление от его недавнего пребывания в США — это американский хлеб, нежный, воздушный, ароматный, питательный и никогда не черствеющий. Потом он стал мрачно повествовать о полном упадке хлебобулочной промышленности в СССР и о невыразимо

низком, унижающем человеческое достоинство качестве советского хлеба, о длинных угрюмых очередях к булочным, о постоянных драках у прилавков, когда покупатели буквально убивают друг друга из-за черствой корки...

В этом месте я не вытерпел и выключил приемник. Пошел на кухню, достал из деревянной хлебницы свежий батон, который купил как раз в булочной, расположенной в одном доме с районным управлением КГБ, разрезал его вдоль, намазал маслом, медом, посыпал сахаром и съел, запив чаем. Это меня как-то успокоило.

На следующий день Витек снова не объявился. Зато позвонил Сергей Леонидович:

— Если будешь у меня через двадцать минут — отдам долг. Премия отвалили!

— Ты где?

— В «конторе».

Когда я вошел, он схватил какую-то бумажку, которую перед этим изучал, и перевернул ее чистой стороной вверх. Но я успел все-таки узнать: это были расчеты Тер-Иванова на предмет взрыва Мавзолея.

— Получи — теми же купюрами, между прочим! — сказал он, протягивая деньги. — Спасибо!

— Рад помочь. Ты занят?

— Очень. Тут такое серьезное дело! Все управление на ушах стоит! Что там у тебя, быстрее!

— Знаешь, я подумал... А если Витек даст интервью радио «Свобода»? Для наживки. А?

— Исключено.

— Чурменяеву можно, а Акашину нельзя?

— Чудило! Чурменяев — это большая политика. Тут не мы решаем. А Витьку — нельзя. Думай дальше. Иди, я очень занят! Мне через полчаса начальству докладывать...

— Что-нибудь интересное? — невзначай спросил я.

— Ты даже себе не представляешь! Хоть раз в жизни дело по специальности обломилось! Ладно, шагай!

И, взяв карандаш, он склонился над своими собственными цифрами, видимо, проверяя, правильно ли поэт-практик рассчитал количество тротила. Я хотел было сострить, что если заложить взрывчатку как следует, то саркофаг с Ильичом может выйти на орбиту и стать первым в истории человечества космическим кораблем с мумией космонавта на борту. Но вовремя спохватился, ибо тогда пришлось бы объяснять слишком многое, а дураку Тер-Иванову уже не поможешь. Снова забегая вперед, скажу, что этого несчастного бомбиста действительно посадили. Он отмотал полгода и вышел по личному распоряжению Горбачева, который после нашей с Витьком выходки начал срочно пересматривать политику партии и государства в отношении инакомыслящих. Начал он, как все помнят, с телефонного звонка ссыльному академику Сахарову. Со временем, как очевидную жертву тоталитаризма, Тер-Иванова избрали в парламент и определили в комитет по правам человека. Теперь он знаменитый правозащитник, не вылезает из телевизора, а все свои выступле-

ния гнет в одну сторону — мол, пока мы страдали в мордовских лагерях, вы тут перед режимом пресмыкались.... Вывод обычно он делает такой: всех, кто пресмыкался перед тем режимом, и всех, кто не желает пресмыкаться перед нынешним, нужно срочно отправить в мордовские лагеря!

...Вечером Витек снова не позвонил. Я допил последний глоток «амораловки» — минут десять держал бутылку перевернутой, чтобы вытекло все до капли. Потом сел и лихо докончил статью о закаливании холодной водой. Для достоверности изложения я даже впервые в жизни, дрожа от отвращения, принял ледяной душ. Поставив точку, я заодно, чтоб не пропадало добро, заполнил на два года вперед расчетные книжки платы за газ, электроэнергию, телефон и прочие коммунальные услуги.

Поскольку «амораловка» закончилась, а новая партия еще не прибыла, полноценно трудиться я не мог — и занялся развозом выполненной работы по заказчикам. Когда в половине девятого, купив на ужин пельменей и бутылку сухого вина, я вставил ключ в замок, то услышал трель телефонного звонка. Мое сердце многообещающе екнуло. И действительно, это был Витек.

— Приезжай скорее! — плачущим басом орал он.

— Ты где? Что случилось?

— Она меня по телевизору показывать везет! Через час этот... как его... э-э-фир... Прямой!

17. КАТАСТРОФА В НОЧНОМ ЭФИРЕ

33

Нет, я не опоздал, я даже приехал раньше, чем они, минут на десять и, как Кот Ученый, бродил возле стеклянного подъезда с вращающимися дверями. В отдалении, светясь огоньками на фоне ночного неба, торчала Останкинская башня. Кстати, Медноструев пишет в своем исследовании «Тьма», что Останкино — это ядовитый сатанинский рог, пропарывающий православные небеса. Второй рог, поменьше размерами и послабже силой, торчит в районе Шаболовки. Далее Медноструев поясняет, где в Москве можно обнаружить также копыта и хвост, но я забыл, где именно... Ирискин же в своем труде «Темнота» сравнивал Останкино с надменно поднятой пикой безграмотного казака, нагло въезжающего на потной кобыле в поверженный Париж — столицу европейской культуры!

...Они прибыли на такси. Сегодня Стелла сбросила свою кожаную шкурку и была одета, как классная дама, в строгую темную юбку и кружевную кофточку: времена, когда у телевизионных ведущих от резкого движения бровей груди вываливаются из декольте, еще не наступили. На голове у нее было свежее, не остывшее после укладки феном парикмахерское сооружение, а на лице — нежный, словно пастель Дега, макияж. Акашина я бы просто не узнал, если б не мой Кубик Рубика с буквами. Парня подменили! Дорогая модная стрижка, темно-синий блэйзер с золотыми пуговицами, светло-серые брюки и шелково-изысканный галстук. Ботинки — лакированные и с серебряными пряжечками.

— А я на тебя пропуск не заказывала! — увидев меня, пролетала Стелла.

— Закажешь! — голосом, не допускающим возражений, приказал я.

— Но...

— Никаких «но»! Иначе эфира не будет! Мы уезжаем! Да, Витек?

— Вестимо, — ответил он вполне самостоятельно.

— Хорошо, — покорилась она, ибо за срыв прямого эфира можно было запросто вылететь с работы.

— Подожди. Еще одно условие: я буду стоять в студии так, чтобы он видел меня во время всей передачи.

— Но это же запрещено! — захныкала Стелла.

— Витек, поехали! — распорядился я.

— Хорошо. Не уезжайте! Я постараюсь договориться.

— Тогда пошли, — смилостивился я.

Она оставила нас в большом ярко освещенном холле рядом с бюро пропусков и убежала хлопотать, чтобы меня допустили в эфирную зону. Я принял: от Витьки вдобавок ко всему пахло мужским французским одеколоном. Среди парфюмерных веений, наполнявших тогдашнюю Москву, это было примерно такой же редкостью, как запах цветущего рододендрона на антарктической зимовке.

— Что ж ты, паршивец, даже не позвонил? Обиделся?

— Сначала — да, а потом некогда было.

— Так не бывает!

— Бывает. Я больше всего боялся, что она разговоры со мной начнет разговаривать: то да се. Ну, я и... А что я еще умею?

— Неужели так и не поговорили?

— Говорю, некогда было!

— Молодец! — Я хлопнул его по плечу. — Теперь слушай меня внимательно: я встану рядом с камерой. Следи за моими пальцами. Никакой самодеятельности! Это — прямой эфир, а он шуток не любит! От сегодняшнего выступления зависит наше будущее. Если она спросит, кто твой любимый писатель, назовешь меня... Понял? Меня.

— А Стелла... Это... — замялся Витек. — Она за Одуева просила... Она сказала, что они с тобой договорились.

— Никаких Одуевых! Назовешь меня! Понял?

— О'кей — сказал Патрикей.

Вернулась запыхавшаяся Стелла с пропуском, и, миновав полусонного от многочасовой бдительности милиционера, мы помчались в гримерную. Там оцепеневшего Витьку усадили в кресло, обвязали простышкой и стали пудрить, подмазывать, подрисовывать, подкрашивать, обрызгивать лаком для волос. На его лице во время этого процесса играло то же смятение чувств, как давеча, когда к нему приклеивался Любин-Любченко со своей масляной улыбочкой. Уже выходя из гримерной, он шепнул мне в ухо:

— Мужикам на стройке расскажу — не поверят: как шару, накрусукали!

Пока мы по бесконечным коридорам и переходам, то и дело

предъявляя пропуски все новым милиционерам, шли к студии. Стелла нервно инструктировала:

— Витюша, я тебя умоляю! Весь эфир — десять минут. Это очень, очень мало. Не заметишь... Ответы должны быть короткими, четкими, никаких особенных рассуждений и примеров. Раз — и ответил! Понял, Витюнчик?

— На этот счет, Стеллунчик, можешь не волноваться! — успокоил ее я. — Виктор будет краток, как приговор судьи-заика!

— Все шутите... Ох, попадет мне за вас!

Войдя в студию, Витек замер на пороге. И было от чего, особенно для непривычного человека. Представьте себе огромную затемненную залищу, где вполне можно разместить пару теннисных кортов. С потолка, словно в каком-то угрюмом магазине электротоваров, свисают вниз сотни черных единообразных светильников: некоторые горят, но большинство из них мертвы. Еще павильон напоминает гигантский чулан: здесь можно вдруг увидеть настоящую кухню со всей необходимой кастрюльной утварью. Это осталось от передачи «Варим-парим», которую ведет знаменитый рок-певец Комаревич, похожий на счастливого кролика. А чуть правее можно заметить натуральный колодезный сруб с «журавлем». Это не успели вывезти после закончившегося на прошлой неделе фольклорного фестиваля «Пойду ль выйду ль я!». Я не говорю уже о завалах разной мелочи — стульях, креслах, ломберных столиках, полочках, подставках... И вот посреди этого огромного полумрака ярко освещена совсем крошечная площадка, а на ней — журнальный столик с затейливой икебаной и два кресла. Именно на эту площадку нацелены большие черные телевизионные камеры, возле которых стоят хмурые люди в огромных наушниках. Именно на этой площадке толкуются несколько суетливых женщин, без конца что-то замеряя, поправляя, подвигая, просовывая и бранясь при этом промеж собой... То там, то здесь раздается полный ужаса вопль: «Скорее!.. Через семь минут эфир... Где эта чертова ведущая со своим идиотом?!» Рядом с операторами в кресле сидит обессиленная и бледная как мел женщина. Когда-то она с помощью химии стала соломенной блондинкой, но потом в телевизионной суматохе совершенно позабыла про это, отчего ее прическа стала напоминать двухслойное черно-белое суфле. Ей, обессиленной, капают в стакан валерьянку. Ей плохо: внезапно и, очевидно, навсегда она утратила смысл жизни заодно с верой в людей. Такое случается с ней перед каждым прямым эфиром. Она — режиссер. Жуткая профессия!

Увидев появившихся на пороге Стеллу и Витьку, она отпихивает протянутый ей стакан с успокаивающими каплями, вскакивает как ужаленная и кидается навстречу вошедшим с тем жутким выражением лица и с теми ужасными выражениями, с какими доведенный до бешенства рецидивист бросается, чтобы порезать бритвой оборзевшего фраера. Однако на бегу лицо ее вдруг меняется, возникает светлая улыбка, а брань как-то сама собой привычно преобразуется в счастливое воркование:

— Стеллочка, у вас изумительная прическа! Дайте телефончик мастера. А вы и есть знаменитый Акашин? Очень приятно...

Прошу на площадку! Стеллочка, где вы нашли такого импозантного мужчину? Писатели обычно лысые и скрюченные... Ах, озорница, поделитесь!

Шлапоберская даже не успела ответить, а режиссерша, подхватив Витька, вывела его на освещенное место и усадила в кресло. Рядом устроилась Стелла и, вглядываясь в свое изображение на экране монитора, как в зеркало, начала поправляться и припудриваться. Подскочила длинноногая девушка и пристегнула обоим крошечные черные микрофончики-петлики. Витек испуганно покосился на микрофон, точно на ползущую по лацкану осу. Подбежала еще одна девушка, одетая в коротенький нейлоновый халатик, и специальной мягкой кисточкой попудрила бисерно вспотевшее от волнения и жара «юпитеров» Витькино чело.

— Эфир через минуту! — сверху, точно из поднебесья, раздался оглушительно усиленный динамиками мужской голос. — Всем приготовиться!

— Стеллочка, работаешь на четвертую камеру! — напутствовала крашенная режиссерша.

Стелла расправила плечи, выкатила вперед свою небогатую грудь и намертво улыбнулась. Витек, глядя на нее, попытался сделать то же самое, но без особого успеха. Я тем временем построился рядом со смотревшей прямо на Ашина камерой и ободоряще кивнул: мол, не волнуйся — я здесь!

— Приготовиться! — снова раздалось сверху.

В студии стало тихо, как в ночном морге.

— Газета! — вдруг, страшно побледнев, выдохнула Стелла.

— Газета, газета, газета... — разнеслось по павильону.

Черно-белая режиссерша схватилась за сердце. Но тут, словно молния, к столику метнулось нечто джинсово-длинноволосое, и перед Стеллой появилась сложенная вчетверо газета.

— Работаем! — донеслось свыше.

Стоящий со мной рядом оператор плавно махнул рукой.

Режиссерша судорожно дернула щекой.

Стелла глубоко вздохнула, как перед нырянием:

— Добрый вечер, дорогие телезрители! Я — Стелла Шлапоберская. Точнее — доброй ночи! И сегодня наш полночный гость — а передача наша так и называется «Полночный гость» — молодой, но очень талантливый писатель Виктор Акашин, автор еще не опубликованного, но уже нашумевшего романа «В чашу». Вот передо мной свежий номер «Литературного еженедельника», где известный своим требовательным вкусом критик Закусонский пишет о нем очень лестные вещи. Я, Виктор, тоже много о вас слышала, теперь вот рада возможности познакомиться лично и представить вас нашим телезрителям!

— Обоюдно! — напряженно ответил Витек, глянув на мой правый безымянный.

— Итак, первый вопрос. Виктор, почему вы не расстаетесь с этим Кубиком Рубика?

— Это... э-э-э... это я ищу культурный код эпохи...

Я облегченно вздохнул, точно тренер боксера, удачно ушедшего от первого удара своего соперника-мордovorота. Здорово я его

все-таки вымуштровал: даже подсказывать ничего не пришлось.

— Ну и как, удается? — чуть насмешливо спросила Стелла.

Это, кстати, меня всегда раздражает в телевизионщиках. Конечно, одна мысль о том, что в этот момент на твою глупую физиономию вынуждены любоваться миллионы ни в чем не повинных людей, невольно настраивает на иронический лад. Но всему есть предел. Я показал Витьку правый указательный палец, точно пригрозил.

— Амбивалентно! — четкоотреагировал он, и Стелла, уже начавшая беспокоиться из-за паузы, облегченно вздохнула.

— Это помогает вам в творчестве? — уже серьезно спросила она.

То-то же! И я показал большой палец левой руки.

— Скорее да, чем нет.

— Скажите, Виктор, а писать трудно?

— Гении — воли! — глянув на мой левый мизинец, ответил Витек.

— Меня всегда страшно интересовало, как писатели находят сюжеты. Как вам вообще пришла в голову мысль сесть за роман?

— Трансцендентально! — сообщил Витек согласно моему правому большому.

Я перехватил укоризненный взгляд режиссерши, которая решила, что я, выставляя большой палец, подбадриваю и тем самым отвлекаю молодого гения от работы в эфире.

— Я так и думала, — кивнула Стелла. — А когда вы пишете, вы думаете о ваших будущих читателях?

— Вестимо, — подтвердил Акашин, сверившись с моим левым мизинцем.

— Можно ли сказать, что вы идете на поводу у читательских вкусов?

— Отнюдь! — покорный моему левому безымянному, возразил Витек.

— Ну и как скоро мы увидим ваш роман напечатанным?

Я выставил вперед средний палец левой руки, что, конечно, для непосвященного человека выглядело крайне непристойно, и поймал на себе теперь уже гневный взгляд режиссерши.

— Вы меня об этом спрашиваете? — послушно поинтересовался мой воспитанник.

— Да, действительно, — согласилась Стелла. — Об этом надо бы спросить наших издателей, которые не торопятся замечать молодые таланты. Или я ошибаюсь?

— Скорее нет, чем да! — подтвердил бдительный Витек.

— Ну, раз уж мы заговорили о современной литературе, скажите, кого из современных писателей или поэтов вы цените больше всего? — спросила Стелла и выжидательно посмотрела на Витьку.

— Я? Э-э-э... — затосковал он и беспомощно глянул в мою сторону.

Я подсказывающе ткнул пальцем себя в грудь, но по его испуганному взгляду вдруг понял: он попросту забыл от волнения мою фамилию. Стелла краешком телевизионно улыбающегося рта что-то шепнула Витьку. Я же, показательно артикулируя, ста-

рался ему напомнить, как меня зовут. Пауза затягивалась. Крашенная режиссерша показала мне вострый кулачок.

— А я догадываюсь, кого вы цените больше всего, — нервно кокетничая, пошла на выручку Стелла. — Его зовут...

— Пушкин... — вдруг выпалил Витек: других поэтов он, видимо, просто не знал.

— Да-а, — разочарованно вздохнула Стелла. — Пушкин — наш современник. Все мы вышли из «Шинели» Пушкина...

— Ментально, — в полном соответствии с инструкцией отреагировал Витек.

Но для этого мне снова пришлось выставить средний палец, но теперь уже правой руки. Во второй раз увидав этот неприличный жест, режиссерша не выдержала и решительно двинулась ко мне, чему я, к величайшему моему сожалению, в тот момент не придал особого значения.

Стелла кивнула и покосилась на часы, светившиеся на экране одного из мониторов: до конца прямого эфира оставалось меньше трех минут. И тут ей, как каждой ведущей, под занавес захотелось задать какой-нибудь оригинальный, нетрадиционный вопрос, разумеется, заранее согласованный с руководством. Хотя, если учесть, что два дня они не подходили к телефону, тут имела место и импровизация личного свойства.

— Скажите, Виктор, — игриво спросила она, — какое место в вашей жизни занимают женщины?

— Не вари козленка в молоке матери его! — буркнул Витек, даже не дожидаясь моей подсказки.

Лицо Стеллы вытянулось от неожиданности. Здорово! Так ее, выпендренницу! Молодец, Витек! И я чисто механически, повинаясь эмоциональному порыву, без всякой гнусной семиотики, показал ему сразу два больших пальца. Молодец! Свою оплошность, конечно, я бы тут же заметил и исправил, но как раз в этот миг, обходя «юпитеры» и камеры, ловко перешагивая провода, до меня добралась разъяренная режиссерша и зашипела, чтобы я не отвлекал писателя своей глупой жестикуляцией и сейчас же выкатывался из студии. Отвлеченный этим, я вовремя не убрал свои злополучные большие пальцы. А тут, как на грех, прозвучал новый вопрос Стеллы, которая, вероятно, решив, что переборщила с личной тематикой (не будем забывать, когда все это происходило!), предпочла на всякий случай подстраховаться в конце идейно выверенным вопросом:

— Что ж, Виктор, будем надеяться, что скоро ваш роман увидит свет и продемонстрирует неисчерпаемые возможности метода социалистического реализма! Кстати, как вы относитесь к этому методу?

Вопрос, надо заметить, по тем временам был традиционным, я бы даже сказал, рутинно-ритуальным, и, конечно же, не требовал никакого иного ответа, кроме восторга, бурного или сдержанного — все зависело от гражданской принципиальности и личной отваги спрашиваемого. Но, как правило, восторг был бурным... Даже простодушный Витек с некоторым удивлением посмотрел на мой совершенно неуместный знак — два больших пальца — и пожал плечами. Потом он рассказывал, что очень

удивился в эту минуту, но, посомневавшись, решил: его дело — повторять, а думать — мое дело. Тем более что лексикон за исключением одного-единственного слова был исчерпан. Это слово в результате моей невольной подсказки он и произнес. В прямом эфире!

— Говно! — внятно сказал он.

— Спасибо! — еще не осознав смысл сказанного и выдавая заранее подготовленный текст, радостно поблагодарила Стелла. — Напоминаю: нашим полночным гостем был писатель Виктор Акашин. До новых встреч!

Услышав это, я с ужасом посмотрел на свои большие пальцы. Режиссерша стала бледнее, чем мел. Стелла, наконец усвоив услышанное, так и осталась сидеть с открытым ртом. А из поднебесья раздался сдавленный стон. На мониторе сначала крупным планом появилась икебана, и было видно, как по синтетическим листьям ползает муха. А потом возникла картинка с ночным Кремлем. Нас вывели из эфира.

Это была катастрофа!

Это была слава, ибо принародно, с телеэкрана обозвать соцреализм словом, стоящим в моем «Золотом минимуме» под цифрой «6», до сих пор не отваживался никто!

18. ВИКТОР АКАШИН КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В ту ночь Витек уснул катастрофически знаменитым. Ему даже не понадобилось, как некогда Байрону, дожидаться утра. Дома, на нервной почве, он вобрал в себя глазунью из семи яиц, пакет молока, батон хлеба и рухнул в своем чуланчике, не ведая, что угрюмая его слава уже бьет в дверь здоровенной колотушкой. Эти удары мне пришлось принять на себя. Но все по порядку...

Как только погасли «юпитеры» и осветители унесли лишившуюся чувств крашеную режиссершу, Стелла зарыдала и, размазывая по лицу поплывшую тушь, убежала куда-то за колодезный сруб. Опытная телевизионщица, она, конечно, понимала, чем ей грозит это сквернословие на всю страну! Витек пожал плечами, встал и тут же запутался в длинном проводе от «петлички», но потрясение обслуживающего телеперсонала было настолько велико, что никто даже не решился подойти и отстегнуть микрофон. Это пришлось сделать мне.

— Вроде я чего-то не так сказал? — настороженно спросил Витек у меня.

— Все было отлично! — фальшивым голосом успокоил я.

— Ты извини, у меня твоя фамилия из башки совсем выскочила!

— Нормально. Зато Пушкин был на месте...

— Еще бы! У нас учительница по литературе такая стерва была! Я ей на огороде картошку окучивал, а она мне «Евгения Онегина» наизусть шпарила.

— Повезло.

— Поехали домой — жрать хочется, сил нет! — взмолился Витек.

— Через двадцать минут будем дома! — самоуверенно пообещал я.

На самом деле я, конечно, так не думал и даже побаивался, что нас возьмут прямо в «Останкино». Не взяли, хотя милиционер, проверявший на обратном пути наши пропуска, зачем-то связывался со своим начальством, но команды, видимо, не получил и отпустил нас с явным огорчением...

О том, как повел себя Витек, придя домой, вы уже знаете. Я же, несмотря на поздний час, оказался прикованным к телефону. Кстати, когда мы вошли, он беспрерывно звонил и, казалось, уже охрип, как младенец, вывезенный подышать воздухом на балкон и там позабытый.

Первым был Сергей Леонидович:

— Достукался, бляхопрядильный комбинат?

— В каком смысле? — прикинулся я.

— Ладно ваньку валять! Почему не согласовал акцию?

— Какую акцию?

— Ладно, сказал, придуриваться: твой телефон только завтра на прослушивание поставят. Почему, спрашиваю, не согласовал?

— А ты бы разрешил?

— Нет, конечно!

— Поэтому и не согласовал. Надо было на месте решать. А другого такого случая не представилось бы! Ну, в общем, я решил взять ответственность на себя...

— Лучше б я тебе какой-нибудь подпольный журнал разрешил издавать... — вздохнул он. — Но это хорошо, что ты свою ответственность понимаешь! Неужели поинтеллигентнее нельзя было? Ты ж писатель, едрена вошь! Пихнул бы в подтекст — и ажур.

— Не тот эффект. Ты ведь тоже профессионал, должен шоколадить: западники только на жареное реагируют. А что я еще эдакого придумать мог — не Мавзолей же мне взрывать, ей-богу!

На том конце провода образовалась напряженно-соображающая тишина.

— А вот это не твое дело, — наконец промолвил Сергей Леонидович. — У тебя есть свой участок — на нем и работай! Но учти, если ситуация выйдет из-под контроля и пойдет выше, мы с тобой незнакомы. На следствии будешь проходить как свидетель. А парню твоему самое большое года три дадут, я его потом вытащу. Ты ему про меня случайно не ляпнул?

— Обижает!

— Смотри!

— Неужели так плохо?

— А черт его знает! Все зависит от того, как начальству доложат! Может, и обойдется...

— А кто докладывать будет?

— Я.

— Так и доложи получше!

— Это не от меня зависит. Доложу так, как начальство прикажет.

Вторым был Николай Николаевич. Я даже сначала его не узнал и вообще решил, что слышу магнитофонную запись, и только

потом сообразил: Горынин записывает свое телефонное заявление на пленку — для начальства:

— Считаю своим долгом выразить вам от имени Союза писателей СССР, — говорил он голосом диктора, повествующего об авиационной катастрофе, — возмущение безответственной и дерзкой выходкой всячески разрекламированного вами молодого литератора Акашина В. С., замахнувшегося в своем телевизионном выступлении на одно из самых высших духовных завоеваний нашего общества, нашей советской культуры — метод социалистического реализма, давший человечеству такие замечательные произведения, как «Мать» Горького, «Разгром» Фадеева, «Цемент» Гладкова, «Прощай, Гюльсары!» Айтматова, «Прогрессивка» Горынина, и др. Для дачи объяснений предлагается вам явиться в правление завтра в 12.00. При себе иметь писательский билет.

— Понял, приду, — ответил я. — Скорблю вместе с вами.

Послышался щелчок выключаемого магнитофона, а затем — жаркая скороговорка Николая Николаевича:

— И никакой матпомощи я твоему поганцу не выписывал. Запомни!

Третьим был Медноструев, который старательно измененным голосом спросил:

— Ну что, сионистские морды, доигрались?

Не успел я среагировать, как он повесил трубку, не дожидаясь ответа, потому что вопрос был, собственно, риторическим.

Четвертым был Ирискин.

— Алло? Здравствуйте, — сказал он. — Какие-то странные помехи в трубке... Алло!

— Не волнуйтесь, Иван Давидович, — успокоил я. — Это самые обыкновенные помехи. А вот завтра будут уже те, которых вы боитесь.

— Понимаю... — Голос Ирискина посвежел. — Передайте Виктору, что мы все гордимся (говдимся) его мужеством! Пусть он не волнуется: о судилище над ним и несправедливом приговоре узнает все прогрессивное человечество. Вы понимаете? Но я умоляю: на допросах он ни слова не должен говорить о своем папе! Мы не имеем права давать такие козыри в руки медноструевым. Они только этого и ждут, чтобы устроить погромы (погвомы)! Вы меня понимаете?! Обещайте!

— Торжественно обещаю!

— Мы не забудем... Я пока вам больше звонить не буду.

Потом был Одуев.

— Спасибо, старый! — проговорил он с чувством.

— За что? — удивился я.

— Как за что? За то, что в эфире меня не заложили! Представляешь, в каком бы я был сейчас говне? Стелка звонила, вся в истерике... Говорит, это я во всем виноват — познакомил ее с Витьком. Я ей ответил, что с таким темпераментом, как у нее, на телевидении работать нельзя! Правильно?

— Вестимо.

— Слушай, между нами, он по дури ляпнул или специально?

— Амбивалентно.

— Я почему-то так и думал... Жалко парня! Талантливый, черт. Подожди-ка... — Он на мгновение отключился и потом закричал возбужденно: — Настыка «Свободу» поймала — про вас чешут! Включай!

Я бросился к приемнику. В те времена он у меня всегда был настроен на эту станцию. В трещаще-пищащем эфире знакомый женский голос с неувлимым антисоветским акцентом говорил, что, судя по той неожиданной оценке, какую в своем телевизионном интервью дал известный писатель Виктор Акашин насаждаемому коммунистическим режимом методу социалистического реализма, можно заключить, что в кремлевских коридорах власти резко усилилась борьба между политическими кланами. И, похоже, верх одерживает реформаторское крыло. Теперь все зависит от того, чью сторону примет генсек Горбачев. Однако, по последним данным, Виктор Акашин арестован и находится на Лубянке. Жена академика Сахарова Елена Боннэр сообщила, что ее муж готовится выступить в защиту отважного писателя, смелое слово которого он, исходя из своего опыта физика-атомщика, назвал «началом сокрушительной цепной реакции»...

Шестой была Анка.

— А он смешной! — сказала она.

— Кто?

— Твой гений. Смешной и смелый.

— М-да...

— Ты бы никогда на такое не решился!

— Почему же?

— Не знаю... Ты все всегда просчитываешь. А он взял и сказал. Это поступок! А ради мужчины, способного совершить поступок, женщина готова на все. Ты думаешь, почему декабристки молодых любовников побросали и за своими постылыми мужьями в Сибирь поехали? Именно поэтому!

— Но ты-то пока с Чурменевым в Нью-Йорк за «Бейкером» собираешься! Интересно, какой поступок он совершил?

— Никакого. Он для меня просто средство передвижения. Ты разве не понял? Вроде метлы...

— Он, случайно, это не слышит?

— Конечно, слышит — он рядом лежит. А Витьку своему передай, что я его почти уже люблю!

— Он спит.

— Передай, когда проснется!

Седьмым и последним был Жгутувич:

— Я так и знал, что ты еще не спишь!

— Ложусь.

— Вообще интервью было неплохое, насыщенное, я даже от Витьки не ожидал: на вид ведь дурак дураком. Зря ты его не предупредил, что в прямом эфире ругаться нельзя!

— Так получилось.

— Плохо получилось. Могут антисоветскую пропаганду пришить. С использованием средств информации. А тебя за подстрекательство пристегнут! Но ты не волнуйся, если что, я, пока ты сидеть будешь, за квартирой присмотрю, как и договаривались. У нас тут, кстати, на работе индийское постельное белье давали, я

комплект взял... Надо будет к тебе завезти. Сам понимаешь, жена увидит — на шнурки меня порежет!

— Ты зря губы раскатал, — пришлось мне огорчить радостного Жгутовича. — Я на следствии расскажу о нашем с тобой споре. Так что за подстрекательство отбывать будем вместе. Деревья валить. Ты будешь пилу за одну ручку тянуть, а я за другую...

— Шутишь? — затосковал он.

— Ничего подобного!

— Да-а, — после длительного раздумья сказал Жгутович. — Воистину сказано в энциклопедии: «Подобно тому, как волны океана омывают, лаская, берега, нежная забота Провидения не покидает масона, пока он проявляет добродетель, умеренность, стойкость ума и справедливость...»

И он повесил трубку.

Дело прошлое, но в ту ночь я долго не мог уснуть, терзаясь жгучим чувством совершенной непоправимой ошибки и гнетущим предчувствием, что расплата за нее будет чудовищна. Я проклинал все: и дурацкий спор со Жгутовичем, и Витька, и Арнольда с его «амораловкой», и дуру Шлапоберскую, но прежде всего — собственную самонадеянность и неосмотрительность. Среди ночи я дико вскопчил от каких-то странных звуков, вообразив, будто нас пришли уже брать. Но оказалось, это проголодавшийся во сне Витек встал и вскрывает столовым ножом банку тушенки. Всю оставшуюся ночь мне снился лесоповал. Мы с Анкой, оба совершенно голые, по колено в снегу, двуручной пилой валили деревья. Почему-то пальмы...

19. СТРАХ И ТРЕПЕТ

43

На следующий день, перед тем, как выйти из дому, я растолкал спящего Витьку и строго-настрого приказал:

— К телефону не подходи!

— О' кей — сказал Патрикей, — не открывая глаз, кивнул он.

В метро до меня дошуршал обрывок тихого разговора. Два субъекта с ярко выраженной инженерной внешностью, загоревшиеся большими черными портфелями, поставленными на колени, обсуждали вчерашнее происшествие в эфире.

— Думаешь, не случайно? — тихо вопрошал один.

— А у нас случайно кирпичи на голову не падают! — отвечал другой.

— Провокация?

— Конечно, мы — прыг, а они — хоп!

А по тому, с каким состраданием глянула на меня старушка-администраторша в дверях ЦДЛ, я понял, что информация о моей причастности к вчерашнему эфирному скандалу уже овладела массами. Очередь возле буфета, завидев меня, дернулась и затаилась. Я встал в самый конец. Кто-то пристроившийся сзади шепнул, по-прибалтийски растягивая гласные:

— Мужа-айтесь!

Я оглянулся: это был известный литовский поэт Сидорас Подкаблуквичюс, автор знаменитой поэмы «Битва в дюнах», посвященной подвигу Красной Армии, освобождавшей край от фа-

шистского ига. Поэма была даже удостоена Госпремии. Через несколько лет, когда Литва стала суверенной республикой, Подкаблуквичюс вдруг объявил, что на самом-то деле «Битва в дюнах» посвящена мужественным «лесным братьям», до последней капли крови боровавшимся с советскими оккупантами. Поскольку поэма была написана сложным экспериментально-метафорическим языком, выяснить из текста, кому конкретно посвящено произведение, оказалось делом невозможным. На мой вопросительный взгляд Подкаблуквичюс не отреагировал никак, словно это и не он воодушевлял меня своим свистящим шепотом секунду назад. Буфетчица, когда подошла моя очередь, вопреки традиции сама положила мне сахар в кофе и старательно выбрала на блюде бутерброд с ветчинкой попостнее.

Отойдя от стойки, я внимательно осмотрел зал и решил подсесть к Закусонскому, сокрушенно пившему пиво.

— Я погиб, — сказал он мне. — Мне уже позвонили из разных газет и сказали, что больше сотрудничать со мной не будут! Это кошмар! Теперь жду, когда из КГБ позвонят...

— Чем я могу помочь?

— Ничем.

— Ну хоть что-нибудь может скрасить твою гибель?

— Двадцать пять рублей.

Я отдал.

В приемной Горынина секретарша Мария Павловна только грустно взглянула на меня и сказала:

— Жди.

44
Сегодня в приемной были не просители, как обычно, а письменосцы. Это наша такая писательская традиция: как случается что-то серьезное, сразу же бегут к начальству делегации с письмами протеста. Их, кстати, никто не организывает, это какая-то непроизвольная реакция литературного организма вроде икоты. Такое я наблюдаю неоднократно, и состав всегда примерно один и тот же независимо от повода. А повод может быть любой: диссидентская выходка вчерашнего собрата по перу, утеснение арабов в секторе Газа, неудачная шутка американского президента в обращении к своему народу и т. д. На этот раз поводом послужило вчерашнее сквернословие Акашина в прямом эфире. Делегации, а их было четыре и представляли они все основные направления общественной мысли, встретили мое появление взглядами, выразившими различные оттенки и разновидности негодования. Я увидел и Бодалкина, и Перелыгина, и Медноструева, и Ирискина, и семью Свиридоновых, последние, кстати, рассредоточились на всякий случай по всем четырем делегациям.

Судя по обрывкам разговоров, в приемной письменосцы томилась из-за того, что начальство никак не могло получить конкретные указания сверху и выбрать одно из принесенных писем протеста для публикации в центральной печати. Шептались, поглядывая на меня, будто о вчерашней телевизионной выходке уже шла речь на заседании Политбюро, но к какому выводу пришли отцы государства, было пока неизвестно.

Между прочим, в кабинете Горынина имелся специальный несгораемый шкаф, набитый сотнями подобных писем, скопив-

шихся за полвека существования Союза писателей и аккуратно подшитых. Их публикация уже в наши годы могла бы полностью перевернуть представление об отдельных популярных писателях, считающихся чуть ли не отцами нынешнего вольномыслия. Но в августе 91-го, когда крах режима стал очевиден и толпы писателей ринулись штурмовать правление, — первое, что они сделали (тут старались все независимо от направления мысли) — это уничтожили содержимое несгораемого шкафа. И только потом, тоже сообщая, отобрали гербовую печать у несчастного Николая Николаевича, выбросив его самого в окно на клумбу с гладиолусами. Горынин до сих пор не может простить себе, что не успел вывезти содержимое шкафа куда-нибудь в укромное местечко и не зарыл гербовую печать где-нибудь в клумбе.

Мне, кстати, известен прелюбопытный и совершенно достоверный случай. Один мой знакомый в августе 91-го, когда все, даже некоторые неглупые люди, ликовали, празднуя победу демократии, отправился в ближайший всеми покинутый райком партии и купил у одиноко дежурившего там пенсионера за две бутылки водки шесть мешков партийных билетов, которые нестойкие коммунисты второпях подавали, трепетно предчувствуя наступление новой эры. Мы только посмеивались над ним. Но, будучи убежденным диалектиком и зная, что история, как моль, движется по спирали, он на наши насмешки не отвечал и терпеливо ждал. И можете себе представить, дождался. В сентябре 93-го, когда казалось, что все может вернуться назад, народ потянулся к моему приятелю. За возвращенный бывшему владельцу партбилет брал он недорого, но, однако, и не дешевил. На вырученные деньги он купил себе двухэтажную дачу в Кратово и автомобиль «ситроен», подержанный, но вполне приличный. Теперь он терпеливо ждет нового витка истории, когда на выборах, по его прикидкам, победят коммунисты, и уверяет, что на заработанные деньги отстроит себе виллу на Кипре. Я ему, между прочим, верю...

— Заходи! — кивнула мне Мария Павловна.

В кабинете было три человека. Николай Николаевич сидел за своим столом-саркофагом, грустно обхватив голову. Журавленко разговаривал по телефону. Сергей Леонидович жадно пил воду из горлышка запотевшей бутылки, а из раскрытого холодильничка сумрачно таращилась ледяная голова Маяковского.

— Явился? — вздохнул Горынин.

Я молча кивнул.

Журавленко оторвался от телефона и посмотрел на меня долгим грустным взглядом. Сергей Леонидович только болезненно сморщился, борясь с мощной газовой отдачей, неизбежной при одноразовом поглощении большого количества «боржоми».

— Что ж нам с тобой делать? — с суровой задумчивостью произнес Горынин.

Я покорно развел руками. По всему, никаких указаний о том, что со мной и с Витьком делать, они еще не получали. Иначе разговаривали бы совсем по-другому.

— Где Акашин? — спросил Сергей Леонидович.

— Спит.

— Уйдет в бега — будешь отвечать!

Я кивнул.

— Что ж ты нам такого проходимца подсуропил? — снова заговорил Николай Николаевич. — Мы тут запросили его прежнее место работы. Оказывается, он и там хулиганил! Вот ведь: сначала на бригадира руку поднял, а теперь звона на что замахнулся! Да и роман у него, когда вчитаешься, с душком! Ясно теперь, на чью мельницу он воду из своей «чаши» льет! Стыдно!

Я послушно покраснел.

Трудно сказать, чем бы закончился разговор, но в этот момент в кабинет ворвалась Ольга Эммануэлевна. Она была страшно взволнована — парик съехал на затылок, как пилотка у солдата после марш-броска. Не замечая меня или делая вид, что не замечает, она закричала:

— Я буду звонить Горбачеву! Я ему все объясню! Меня обманули! Я должна все лично объяснить Михаилу Сергеевичу! Я ему расскажу все про этого мерзавца Акашина, все, что знаю...

И она ринулась к «вертушке». Конечно, это было явное преувеличение: всего она, конечно, не рассказала бы. Но испуганные мужчины повскакали и, образовав стенку, как в футболе во время опасного штрафного удара, заслонили священный телефон своими телами. Воспользовавшись суматохой, я покинул кабинет.

— Звонят Горбачеву! — многозначительно сказал я, заметив, как зашевелились письмоноscopy, перегруппировываясь для броска в кабинет.

Я спустился в туалет и заперся в кабинке, чтобы, помимо прочего, перевести дух и обмозговать ситуацию. Неожиданно сверху появилась рука и протянула мне бумажку. На запястье я успел заметить знакомые «командирские часы» — это был Чурменев. Развернув листочек, я прочитал написанные печатными буквами по клеточкам слова:

Сегодня. В 18.00. Перепискино. Улица Фадеева, дача 14. Прошу быть вместе с В. А. и романом. Непременно. Жду. Ч.

«Надо будет съездить к этому гаду, — решил я. — Если что, может, хоть Запад за нас с Витьком заступится!»

Когда я вернулся домой, Витек уже проснулся и ел.

— Какие новости? — спросил я.

— Никаких. Какой-то Сахаров звонил из Горького. Спрашивал меня или тебя.

— Я же тебе сказал, не подходить к телефону!

— Ну, я ему и ответил, что никого нет дома. Он обещал перезвонить через два часа...

И тут раздался звонок — я сорвал трубку.

Это была моя знакомая телефонистка с голосом, похожим на голос актрисы, обычно дублирующей Софи Лорен. Она объявила, что за неуплату отключает телефон. Я завел свою обычную песню про необыкновенную мистическую сексуальность ее голоса и, чувствуя внезапную неуступчивость, пошел на крайность: пригласил к себе в гости — на чай. В гости она зайти как-нибудь пообещала, но сказала, что телефон все равно отключает, так как это распоряжение самого высокого начальства. В трубке щелкнуло — и воцарилась мертвая тишина. Академик Сахаров напрасно старался теперь дозвониться до меня из своей горьковской ссылки.

20. ПОСЕЛОК ПЕРЕПИСКИНО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Вечером, в половине шестого, мы с Витьком стояли на платформе «Перепискино». Электричка, только что привезшая нас из Москвы, с шипением сомкнула двери, прищемив какого-то гражданина, слишком увлекшегося прощанием с друзьями. Потом состав дернулся и пополз, постепенно набирая скорость, дальше — в Загорск. Хвостовой вагон, расцвеченный с торца ярко-красными полосами, был еще отчетливо виден. На обратном пути в Москву машинист просто перейдет в этот вагон — и зад превратится в голову. Такова переменчивость нашей жизни!

На автобус мы, разумеется, опоздали и решили не ждать следующего, а пойти пешком. Это примерно два километра, если идти не по шоссе, а напрямик, через старинный сосновый бор. Тропинка, усыпанная хвоей, во многих местах бугрилась толстыми, похожими на варикозные вены корнями высоченных сосен. Витька споткнулся, выругался и стал внимательнее смотреть под ноги. Я же хорошо знал эту тропинку. Сколько раз я мчался по ней, трепеща нетерпеливыми крыльшками вождения, к горынской даче! Однажды я тоже зацепился ногой за корень, набил себе здоровенную шишку, и неутомимо-нежная Анка всю ночь звала меня «мой носорожик». Кто знает, если б шишка не сошла, а осталась в моем лбу навсегда, мы бы никогда не расстались, и я бы навсегда остался «ее носорожиком»? Кто знает...

Был теплый июньский день, а точнее, тот переломный миг дня, когда солнце еще ярко бьет сквозь прорехи сосновых крон, но в воздухе уже реют острые вечерние запахи, а в тених, отбрасываемых деревьями, начинает накапливаться мрак будущей ночи.

Поселок Перепискино называется так потому, что построили его недалеко от деревеньки Переписки. А сама деревня называлась так, потому что в начале прошлого века ею владел один страшно занудливый старикашка, который постоянно переписывал свое завещание. А писательский поселок возник здесь гораздо позже, в начале тридцатых, когда Алексей Максимович Горький вернулся с Капри — посмотреть, чего тут в России понадрызгали друзья его молодости, взявшие власть в 17-м году. Приехал, изумился, да так в изумленном состоянии и остался. Как уедешь снова на Капри, если здесь твои книжки в школах проходят, а члены правительства хлопают по плечу и упрекают: «Что это ты, в самом деле, Максимыч, разъездился!»? Осмотрелся Горький, изучил обстановку и как-то на обеде принялся упрекать Сталина, мол, столько писатели для революции сделали, а ты, Сосо, их в черном тельце держишь! «А золотой телец писателям вреден!» — усмехнулся Сталин. Но Горький не отступал и однажды во время ужина напомнил вождю, что при старом режиме писатели летом жили и творили исключительно на дачах, а не в городской духоте и шуме. И какая литература была — Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов! Сталин, говорят, пыхнул трубочкой и молвил: «Так они, на дачах сидючи, царизм и свергли! Ты хочешь, Максимыч, чтоб они и нас так же?!» Горький испуганно замахал руками и начал объяснять, что имел в виду совсем другое! Тогда Сталин

покивал и сказал: «Ладно. Ты — основоположник пролетарской литературы, поступай со своей сволочью как знаешь!» Возможно, это была самая большая ошибка отца народов за все годы его правления...

Переписки для строительства писательского дачного поселка Горький выбрал не случайно — места чудесные: сосны, река и всхолмленная голубоватая даль. Горький приехал сюда, огляделся, всплакнул по своему обыкновению, а вечером написал в Париж Ромену Роллану: «Будем, Рома, возделывать свой садик. Приезжай!» Роллан приезжал, погостил, но не остался, а воротился в свою Францию.

Дачи строились, конечно, за казенный счет — большие, двухэтажные, рубленые, с затейливыми верандами и беседками, окруженные глухими заборами. Распределяли их между заслуженными писателями Горький и Сталин сообща, спорили, составляя списки. Вождь старался, чтобы дачи достались хорошо поработавшим на революцию литераторам, и упрекал классика: «Что-то ты, Максимыч, одних попутчиков мне подсовываешь?» А Горький махал руками, оправдывался, но все-таки добился нескольких дачек и для хороших писателей. Сложный был человек и трагическая фигура отечественной культуры. Потому и псевдоним такой — Горький. Да и время было непростое: только литератор заселится, семью разместит, рукописи разложит, как приедет ночью крытый автомобиль и увезет всех обитателей в неизвестном направлении. И снова начальство ломает голову — кому освободившуюся дачу выделить. Подумают, поспорят, выделят, а там, глядь — снова ночные шины по дорожке зашуршали...

48

Горьнин получил свою дачу вскоре после выхода «Прогрессивки», когда ему поручили выступить с речью на съезде партии, а он пожаловался, что трудно ему писать такое ответственное выступление в шумной городской квартирке. Но задолго до Николая Николаевича, еще при жизни Горького, получил дачу в Перепискино поэт Яков Чурменев, дед нынешнего Чурменева. До революции служил он приказчиком в мануфактурной лавке купца Галкина и фамилию носил обыкновенную — Еропкин. Когда пришли красные, он первым делом выдал им своего хозяина, схоронившегося между штуками ситца. Галкина шлепнули, а Яшу Еропкина, признав тружеником аршина и пролетарием прилавка, взяли в отряд писарем. Но скучно ему было перебивать приказы да списки, завел себе он кожанку, папаху и маузер. А когда очередную партию «контриков» в расход пускали, попросил у командира разрешения — пристрелять новое оружие. Командир подивился таким склонностям бывшего приказчика и откомандировал его в ЧК — там хоть каждую ночь маузер пристреливай. Через некоторое время Еропкина назначили командиром продотряда, наводившего ужас на уездных крестьян, которые по своей прирожденной тупости никак не хотели отдавать хлеб голодающим рабочим Москвы и Питера, а прятали его даже в навозных кучах. Темные мужики вообще додумались считать Еропкина чертом: когда он, одетый в кожаную тужурку, внезапно влетал в деревню на своем черном коне и, глядя в цейсовский бинокль, размахивал шашкой, — насмерть перепуганные селяне

крестились, приговаривая: «Чур меня! Чур меня!» Было из-за чего пугаться: по своему обыкновению, Еропкин сначала рубил мироедов шашкой и, лишь утомясь, спрашивал, где хлеб. Этим «чур меня» Еропкин страшно гордился, видя в нем невольное признание врагами своих революционных заслуг. Но все кончилось плохо. Однажды — дело было в селе Желдобино, — намахавшись шашкой и погубив народу бесчисленно, он, поостыв, спросил: «Где хлеб?» — и выяснил, что селяне зерно сдали вполне добровольно, и оно, погруженное на подводы, полдня как дожидается возле комбеда. За такое бессмысленное самоуправство Еропкина вызвали в губком, отчихвостили и выгнали из командиров к чертовой матери.

Оказавшись, как тогда выражались, в «первобытном состоянии», он призадумался о том, где заработать на хлеб насущный. Конечно, можно вернуться в приказчики, но торговать нечем, так как все распределялось начальством, и, чтобы добыть справные башмаки, нужно было получить мандат в каком-нибудь подотделе или ячейке. Да и стыдно после шашки снова в руках аршин держать. За что ж тогда боролся? Размышляя о том, кем бы стать, Еропкин вспомнил, что самые дорогие отрезы в лавке купца Галкина всегда покупал один литератор, писавший святочные стихи и рассказы в губернскую газету. Прикинув все «за» и «против», Еропкин стал поэтом, благо грамотой владел и почерк имел писарский, разборчивый. Оставалось только подобрать псевдоним, ибо без него и соваться в молодую пролетарскую литературу было как-то неловко. На дворе стояла эпоха псевдонимов, вся страна, начиная с Ленина и Троцкого и заканчивая каким-нибудь последним Мишей Красным, сочинявшим стихи к революционным плакатам, носила псевдонимы. И, вспомнив свою героическую борьбу с испуганно крестившимися при его появлении мироедами, Еропкин подписал свои первые стихи «Чурменяев». Да так и остался в литературе.

Писал Чурменяев в основном для детей. Нет, конечно, сначала он сочинил большую поэму о борьбе за Советскую власть для взрослых и послал ее на отзыв к Горькому. Тот и подсказал начинающему автору обратиться к юным читателям, написав на полях рукописи резолюцию: «Детский лепет!» Этот автограф великого пролетарского писателя потом очень помог Чурменяеву в жизни — открыл ему редакции журналов и газет.

Вообще критика сразу отметила мягкость и задушевность его стихов, что было большой редкостью в те суровые литературные годы. У Чурменяева появилась определенная известность, пошли благодарные письма от читателей, которые только-только и учились читать да писать благодаря всенародной борьбе с неграмотностью. Теплое письмо пришло даже от девушки из села Желдобино. Юная ликбезовка, сочинившая его, не могла себе вообразить, что страшный командир продотряда Яков Еропкин и добрый поэт Чурменяев — одно и то же лицо! К тому времени он женился и бедствовал с молодой женой и сыном в маленькой комнатухе. Тогда он снова обратился к Горькому, и тот переслал его прошение по начальству с припиской: «Жалкий человек. Помогите. Ваш Горький». Кстати, любознательный читатель

может найти это письмо с автографом Горького в полном собрании сочинений Якова Чурменьева. Но там почему-то значится несколько иначе: «Жалко человека. Помогите. Ваш Горький». После этого детскому поэту дали в Перепискино крошечный флигелек, поначалу задуманный как банька, но из-за нехватки мест переоборудованный под жилье.

Творческий процесс продолжался. По-доброму, увещательно поэт доводил до детишек линию партии, направленную на изучение языков вражеских стран:

*Чтобы, прошмыгнув границу,
У врагов секрет узнать —
Надо хорошо учиться,
Вражьи буквы изучать!*

Правда, сын Чурменьева не очень хорошо учился, а все больше катался по дачным окрестностям на велосипеде, лазал за яблоками в соседние сады и заодно слушал разговоры, которые вели знаменитые писатели, выпивая со своими гостями за столами, накрытыми прямо в саду. Разговоры он обычно пересказывал папе, тот задумчиво кивал и записывал, а вскоре по усыпанным хвоей дорожкам зашуршал черный автомобиль. И хотя, конечно, это было простое совпадение, ибо такие же автомобили шуршали тогда по всей стране от Камчатки до Карпат, но со временем семья Чурменьевых перебралась в освободившуюся большую дачу, где и осталась навсегда.

После войны Чурменьев умер. Произошло это так: к старости его стали мучить ночные кошмары, он вскакивал, хватал свою старую боевую шашку и с воплями «чур меня!» начинал отмахиваться от напавших на него призраков, которые, по его словам, каждую ночь приносили ему в своих разрубленных черепах зерно для голодающего Питера. Его лечили. На время он утихал, а потом все начиналось сначала. Однажды ночью он по неосторожности зарубил себя собственной шашкой. Похоронили его торжественно, как он и просил, на Перепискинском кладбище. Все центральные газеты поместили некрологи, а через неделю пришли отбирать дачу, ведь Чурменьев-сын, как я уже сказал, учился не очень хорошо и в писатели не вышел, став всего лишь руководителем среднего звена. А поселиться в огромной даче желающих было очень много, началась даже тайная война за право внести свой диван в этот исторический дом. И тут Чурменьевым пришла в голову замечательная идея — они объявили дачу домом-музеем выдающегося писателя, а себя хранителями. А против хранителей не погрешь, и беспардонные соискатели, рыча и облизываясь, отступили. Надолго ли? И поэту своего сына Чурменьев-средний воспитывал с твердой установкой на то, чтобы тот стал писателем. «Пиши! — повторял он ему. — Пиши, сынок, а то не ровен час вышибут нас всех с дачи!» А как заметил древний педагог, детская душа — восковая табличка, на которой родители пишут свои мечты. И Чурменьев-внук, как вы уже знаете, писателем стал. И дача осталась за родом Чурменьевых...

Забегая вперед, скажу: когда вслед за Советским Союзом обрушился и Союз писателей, перепискинские дачи достались тем, кто в них тогда обитал. Правда, прежней роскоши уже не было:

немногие семьи, как Чурменяевы, сохранили за собой целые дома, большинство коттеджей были уже поделены на несколько писательских семей. Но пока все они были советскими писателями, проблем не возникало, жили дружно. И вдруг все изменилось. Оказалось, что под одной крышей подчас собирались демократ, консерватор, монархист, коммунист или анархист. Мирная жизнь кончилась: люди месяцами не разговаривали друг с другом, даже не здоровались, выдергивали из грядок чужой укроп или, еще хуже, морковь, рвали на клочки телеграмму, принесенную почтальоном в отсутствие адресата, и так далее... Только однажды они снова все объединились — когда толпа безданных писателей приехала на электричке из Москвы и попыталась восстановить справедливость. Оборону возглавил уже выгнанный с работы за сыновьи штучки Чурменяев-средний — сказался многолетний опыт умеренно руководящей работы. Он вооружил обитателей дач охотничьими ружьями, сам взял отцовскую шашку, и в течение дня они отбивали атаки размахивавших дрекольем обесдаченных литераторов. Милиция не вмешивалась, считая это внутренним творческим спором тружеников пера. К ночи, проголодавшись, нападающие уехали в Москву с последней электрички, напоследок спалив пару беседок...

21. ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ...

Возле Чурменяевской дачи стоял роскошный новенький «мерседес» — такие в те времена можно было встретить разве что у подъезда посольства, да еще в Перепискино. Калитка оказалась предусмотрительно не заперта. Мы вошли в дом, и нашим взорам открылась зала с горящим камином и кабаньими шкурами, устилавшими пол. В центре залы со стаканами в руках стояли Любин-Любченко, Одуев и Настя.

— А вот и мы! — сообщил я.

— Заждались! — облизнулся теоретик, нежно глядя на Витьку. — Чурменяев с американцем в кабинете беседуют. Сейчас придут.

— С каким американцем? — изумился я.

Одуев подошел ко мне, взял под руку и отвел в сторону:

— А ты ничего не знаешь?

— Нет...

И тогда он объяснил мне, в чем дело. Оказывается, Чурменяев пригласил на дачу мистера Кеннди — секретаря жюри Бейкеровской премии, человека, от которого все и зависит. У жюри возникли некоторые сомнения насчет «Женщины в кресле». Во-первых, потому что всплыла история его дедушки, крайне неосторожно обращавшегося с шашкой. А во-вторых, и это главное, в Венгрии появился писатель-диссидент, сочинивший роман «Плесь», где описываются страдания венгерского народа под коммунистическим игом. Тираж романа конфискован, а автору пришлось попросить политическое убежище в Австрии. Впрочем, с венгром Чурменяев был на равных, так как дедушка мадьяра-разоблачителя тоже был коммунистом, устанавливал Советскую

власть в России и чуть ли не участвовал в расстреле царской семьи. Между прочим, сам мистер Бейкер, учредивший премию, некогда горячо этот расстрел приветствовал и даже устроил по сему радостному поводу бесплатную раздачу хрустящих булок. Но времена, как говорится, меняются, а вместе с ними меняются и поводы для бесплатной раздачи булок. Жюри колебалось, кому вручить премию, и вот мистер Кеннди прилетел в Москву, чтобы лично убедиться в искреннем антитоталитаризме Чурменьева-младшего перед тем, как принять окончательное решение.

— Для этого Чурменьев тебя с Витьком и высвистал, — объяснял Одуев, — чтобы показать: вот, мол, с какими я людьми вожусь! Ведь об акашинском выступлении у них сейчас все газеты орут! Въехал?

— А ты как сюда попал?

— Я... Я представляю здесь движение поэтов-контекстуалистов, — скромно потупил глаза Одуев. — И еще Леонидыч просил передать, чтоб глупостей ты больше не делал. Понял?

В это время открылась дверь, в каминную вошел Чурменьев в потертых джинсах и показательно ветхом свитере. Он бережно вел под локоток высокого сухощавого иностранца в приталенном темном пиджаке. Лицо иностранца было покрыто дорогим загаром, а приветливая улыбка свидетельствовала об очевидном превосходстве западной школы зубопротезирования над отечественной.

— А вот и наш герой! — воскликнул Чурменьев.

Он бросился к Акашину и обнял с такой радостью, точно это был его младший брат, найденный после многих лет разлуки. На запястье Чурменьева блеснули знакомые «командирские» часы. Скотина!

— Мистер Кеннди, это наш отважный Виктор! Витя, это мистер Кеннди... Я тебе о нем много рассказывал!

— Вестимо, — не дожидаясь подсказки, ответил Витек.

— Отчэнь рад! — тщательно артикулируя, произнес американец. — Я много наговорен про вас, — он с восхищением оглядел Витькины пятнистые штаны, майку с надписью «LOVE IS GOD», закарпатскую доху и уимблдонскую повязку на голове. Но особенно, как и следовало ожидать, ему понравился Кубик Рубика с загадочными буквами.

— Обоюдно, — снова самостоятельно ответил Витек.

Мистер Кеннди недоуменно посмотрел на Чурменьева, и тот начал жарко и долго переводить ему что-то на ухо. Американец слушал, кивая и поглядывая на Витька со все возрастающим интересом. Я почувствовал внезапную обиду из-за того, что Витек отвечает без всякого со мной согласования, а меня самого даже не представили американцу. Я тихонько пнул обнаглевшего Акашина в бок, но он сделал вид, что не заметил.

— Вы есть... — Мистер Кеннди запнулся, видимо, исчерпав запасы русских слов. — You are a brave man!

— Ты смелый мужик! — вымученно улыбаясь, перевел Чурменьев.

— Отнюдь! — тут же отреагировал Акашин, которому, судя по всему, моя помощь уже и не требовалась.

— И скромный... — ядовито добавил я.
— Sorry? — уточнил американец.
— A modest guy, — перевел Чурменяев.
— Yes... I was told they were going to arrest you, weren't they?
— Мне сказали, что вас хотят арестовать, не так ли? — завистливо вздохнув, перевел Чурменяев.

— Вы меня об этом спрашиваете? — улыбнулся Витек, продолжавший, и, надо отметить, вполне удачно, пороть самодеятельность.

Чурменяев перевел. Американец засмеялся — и все дружно засмеялись следом. Потом он оглянулся на сервировочный столик с бутылкой, и Любин-Любченко услужливо подал ему бокал с виски. Чтоб налить себе, я положил сверток с романом на диван.

— Но! Водка! — перешел снова на русский заморский гость.

— Мистер Кеннди, — переводил Чурменяев, кислея просто на глазах, — предлагает выпить замечательной русской водки за то, что в России еще есть люди, для которых права личности на свободу слова святы и нерушимы! Он надеется, что для отважного Виктора годы заключения в ГУЛАГе станут тем же, чем стали они для великого Солженицына!

— И Пастернака! — краснея, добавила Настя.

— Пастернак не сидел, дура, — мягко поправил Одуев.

— Жизнь всякого честного писателя — тюрьма! — громко сказал я, решив наконец обратить на себя хоть какое-то внимание.

Американец бросил на меня взгляд, потом вопросительно посмотрел на Чурменяева, и тот что-то пренебрежительно прошептал ему на ухо. Выслушав, мистер Кеннди снова перевел глаза на меня и облагодетельствовал улыбкой, какой обычно награждают удачно пошутившего официанта.

— Коллеги, — подняв стакан и озарившись своей масляной улыбкой, заговорил Любин-Любченко, — разрешите алаверды?

— Add to the toast, — неуверенно перевел Чурменяев.

— O'key! — кивнул мистер Кеннди.

— O'кей — сказал Патрикей! — заржал Витек и победительно глянул на меня.

— ...Коллеги, — продолжил Любин-Любченко, облизываясь, — я хочу обратить ваше просвещенное внимание на одну важную деталь. Все, конечно, помнят то слово, которое отважно бросил в эфир наш Виктор! Не буду повторять это слово при даме...

— O, shit!* — радостно воскликнул внимательно слушавший перевод мистер Кеннди.

— Так вот... — выжидательно поулыбавшись, продолжал Любин-Любченко. — Это слово было услышано миллионами! Согласно исследованиям Губернатиса и Фрейда, экскременты ассоциируются у людей с самым ценным. Например, с золотом! Недаром великий Ницше восклицал: «Из самого низкого самое высшее достигает вершины!» И я предлагаю выпить за нашего юного друга, чей путь из нечистот нашего бытия лежит к высотам сияющего искусства!

* O, дерьмо!

— Great!* — воскликнул американец и чокнулся с Витьком.

— Обоюднo! — ответил тот, даже не посмотрев в мою сторону.

Все бросились к Витьку, чокаясь, поздравляя и напутствуя. А Чурменяев так просто чуть не задушил его в объятиях. И только я, стукнув своим стаканом о его, сказал сквозь улыбку:

— Ты что, совсем оборзел, сволочь?

Но меня отгеснил Любин-Любченко, норотивший поцеловать Акашина в губы.

— Я тоже хочу с ним выпить! — раздался вдруг громкий женский голос.

Все обернулись: на пороге стояла Анка, одетая в какой-то воздушный комбинезон, сквозь который отчетливо просвечивались трусики. Она была уже прилично пьяна. Американец вопросительно посмотрел на Чурменяева.

— It is my girl-friend**, — смущенно объяснил тот.

— О, отчэнь рад! — улыбнулся мистер Кеннди.

— А я нет! — крикнула Анка. — Мне противно! Чему вы радуетесь? Золота хотите? Из любого дерьма вам бы лишь золото сделать! А на то, что человека завтра посадят, вам наплевать!

— Анна! — Чурменяев, мучительно озираясь на опешившего американца, двинулся к ней.

— Не подходи! Бой-френд... Думаешь, не знаю, зачем я тебе понадобилась? Знаю. Хочешь и меня в своем гинекологическом кресле раскорячить, чтоб все узнали, как дочка классика советской литературы тебе минет делает! За это могут еще и Нобелевку дать...

— What is minet? — спросил американец.

— Ogal sex, — обреченно объяснил Чурменяев.

— O-o!

Тут решительно выступил вперед Одуев:

— Анна Николаевна, вам лучше уйти! Я вас провожу. Все-таки иностранец...

— А что мне твой драный иностранец?! Я ничего не боюсь! Это ты бойся! Думаешь, если ты стукач, то можно школьник портить?

Настя всхлипнула и закрыла лицо руками.

— What is «stjuckatch»? — спросил мистер Кеннди.

— Плотник... A carpenter... — объяснил взмокший Чурменяев, для убедительности демонстрируя, как молотком заколачивают гвозди.

Любин-Любченко облизнулся, собираясь что-то сказать, но не успел.

— А ты вообще молчи! — истерично крикнула Анка. — А то я сейчас всем расскажу, за какие художества тебе три года дали! Я у папашки интересную бумажку про тебя прочитала!

— А я молчу, — сник Любин-Любченко.

— Вот и молчи!

Возникла тягостная пауза. Надо было что-то делать.

— Анка! — взмолился я.

— А-а... Ты тоже хочешь узнать, что я о тебе думаю?

* Здорово!

** Это моя подруга.

— Нет, не хочу.

— Почему?

— Потому что я знаю. Потому что я тоже о тебе думаю...

— Не стоит думать о такой дряни, как я. Но я всего лишь маленькая дрянь, даже дрянцо... А вы все — извращенцы!

— What is she saying? — спросил американец, чувствуя, что Чурменьяев доносит до него происходящее в крайне адаптированном переводе.

— Perverts.**

— O-o-o, my God!***

Анка вдруг тихо засмеялась, подошла к Витьку и положила ему на плечи руки:

— А ты, глупенький гений, ты-то здесь зачем? Беги от них, пока таким же не стал! Беги... Где твой роман?

— Вон. — Витек растерянно кивнул на газетный сверток, лежащий на диване.

— Ах, вот он где! — Она подбежала, схватила сверток и, дразня, издали показала его американцу. — Это тебе, спиннинг трехчленный, нужно? (В этом месте Чурменьяев запнулся от полного переводческого бессилия). На-ка — отними! Сейчас мы посмотрим, горят рукописи или нет!

И на глазах ошеломленной общественности она швырнула папку в камин. Сверток упал прямо на горящее полено и сбил пламя. По комнате прокатился вздох потрясения.

— Ну, мистер не-знаю-как-вас-зовут-и-знать-не-желаю, достаньте! Или вы привыкли, чтобы вам рукописи из огня другие таскали?

Американец смотрел на все это с трепетным туристическим восторгом, с каким, наверное, смотрел бы на паузаса, глотающего живую кобру. Чурменьяев вытирал пот платком и ничего ему не переводил. Анка тем временем снова подошла к Витьку, снова положила ему на плечи руки и заглянула в глаза так, точно старалась прочитать на его роговице крошечные буковки правды. Каминный огонь, видимо, оправился после удара, и газета по краям начала стремительно коричневеть.

— Скажи, глупый гений, — спросила Анка, — тебе очень жалко? Это ведь твой роман! Он сейчас сгорит... Если жалко, я сама сейчас достану. Достать?

— Скорее нет, чем да... Да хрен с ним, с романом! — великодушно ответил Акашин. — Пусть сгорит к едрене фене!

— Молодец! Ты единственный человек среди этих извращенцев! — И она страстно поцеловала его в губы.

— Ментально... — только и вымолвил мой опарашенный воспитанник, на глазах превращающийся в моего соперника.

Мне показалось, что я чувствую на губах ее пьяное нежное дыхание. Тогда я бросился к камину и схватил щипцы...

— Не смей! — завизжала она. — Если ты это сделаешь — между нами все кончено!

* Что она говорит?

** Извращенцы.

*** O-o-o, мой Бог!

— Между нами и так все кончено!

— Нет, ты еще не понимаешь, что значит — все... Только достань — тогда узнаешь!

Я остановился. Ее лицо горело сумасшедшим счастьем. Она сорвала с Витька уимблдонскую повязку, выхватила из его рук Кубик Рубика и отшвырнула в сторону:

— Глупый, несчастный гений, тебе нужно бежать от них! Тебе нужно спрятаться! Все очень плохо! Я слышала, как отец говорил о тебе по телефону! Хочешь, я помогу тебе спрятаться? Хочешь?

— Скорее да, чем нет...

— Пошли! Ты меня боишься, глупый гений?

— Не вари...

Не дав договорить, она потащила его к выходу.

— Витька! — крикнул я. — Вернись, не ходи с ней, дубина!

Он растерянно посмотрел на меня и замедлил шаг.

— Не слушай его! — заговорила Анка. — Он завидует. Он просто завистливая бездарность! Эй, завистливая бездарность, ты всегда хотел написать что-нибудь «главненькое»! Достань и возьми себе! Нам не жалко! Нам ведь, правда, не жалко?

— Говно, — буркнул Витек.

И они направились к двери. Папка в камине была уже полностью охвачена пламенем. Вдруг у самой двери Анка остановилась, захохотала и, бегом вернувшись к Чурменяеву, на глазах восхищенного американца сорвала с руки автора «Женщины в кресле» «командирские» часы. Потом снова подбежала к Витьку и застегнула часы на его запястье.

— Теперь все... Пошли, глупый гений!

— Why has she taken the watch? — изумленно спросил мистер Кеннди.

— It is her charm,** — чуть не плача, объяснил Чурменяев.

— О!

— Стойте! — заорал я. — Стой, Витька-подлец! Иначе я тоже расскажу про тебя правду!

Это было глупо, унизительно, а главное — бессмысленно. Как говорится, испугал ежа голыми руками! Витек остановился, посмотрел на меня с изумлением и сказал:

— Не вари козленка в молоке матери его!

Я ринулся к нему, сжав кулаки, но, сделав несколько шагов, почувствовал во рту сладко-металлический привкус, а в глазах вдруг стало стремительно темнеть, как в кинозале перед самым запуском фильма. И я потерял сознание.

Очнулся я, наверное, через несколько минут в кресле. Настя, расстегнув мою рубашку, массировала мне грудь, а Одуев старался влить в рот водку. Любин-Любченко, отдергивая, точно от печеной картошки, руки, отшелушивал с папки обгоревшие газетные страницы:

— Ничего... Только чуть-чуть папка обгорела, а рукопись цела! Шнейдер различает два типа огня в зависимости от их направленности. Огонь оси «огонь-земля», означающий эротизм, и

* Почему она взяла часы?

** Это ее талисман.

огонь оси «огонь-воздух», связанный с очищением и возвышением. Я думаю, тут налицо и то, и другое. В доме есть какая-нибудь папка? Я рукопись переложу...

— Есть, в кабинете,— махнул рукой раздавленный Чурменяев.

Любин подхватил обугленный сверток и понес в кабинет, я дернулся, чтобы его удержать, но Одуев с Настей не дали мне подняться из кресла. Тем временем Чурменяев жалостливым голосом начал что-то объяснять американцу.

— What a fantastic woman! — кивал мистер Кеннди.— It's Nastasiya Phillipovna... really!*

Вернулся Любин-Любченко и с недоумением протянул мне рукопись, уложенную в новенькую синюю папочку с белыми тесемками.

— No, give the manuscript to me, please!** — замахал руками американец.

Чурменяев выхватил папку из моих рук и услужливо передал мистру Кеннди. Тот с удовлетворением зажал ее под мышкой и дружески хлопнул хозяина по плечу:

— I have to leave! I'm being late for a plane! Good bye everybody! Stay in touch!***

Он пошел к выходу, а за ним, тараторя извинения, поспешил Чурменяев.

— Гнида заокеанская! — глядя ему вслед, сказал Одуев.

— Почему же? — возразила Настя.— Очень приятный мужчина...

— Заткнись, соплячка! — оборвал ее лидер контекстуалистов.

Я встал из кресла. Все тело гудело от слабости.

— Странный сегодня день! — облизываясь, произнес Любин-Любченко и загадочно глянул на меня.— Столько неожиданностей...

— А вы ожидали чего-то другого? — спросил я.

— Честно говоря, да...

— Ну, и что скажете?

— Ничего. Пока ничего. Я должен подумать.

Вернулся вдрызг расстроенный Чурменяев.

— Как вы считаете,— спросил он, обводя нас ошалевшими глазами,— мистер Кеннди очень обиделся?

— Наоборот,— приободрил его Любин-Любченко.— Считай, что Бейкер у тебя в кармане! Где бы еще он такого насмотрелся?

— Ты думаешь? — обрадовался будущий лауреат.

— Вестимо! — подтвердил я.— Купишь себе на премию новые часы — «Сейко», например! «Командирские» ходят слишком быстро! Не утонишься...

22. КОШМАР НА УЛИЦЕ КОМАНДАРМА ТЯТИНА

На Киевском вокзале я купил из-под полы у какого-то деда

* Фантастическая женщина. Настасья Филипповна, честное слово!

** Нет, дайте рукопись, пожалуйста, мне!

*** Я должен уходить. Я опаздываю на самолет. Всем до свидания! Увидимся!

водку и портвейн «Агдам»: мне было просто необходимо напиться. Дома я постелил чистую скатерть, аккуратно нарезал хлеб, колбаску, еще кое-какую закусочную мелочь и сразу зачистил, сознательно чередуя два этих несопоставимых напитка. Мне было так плохо, что единственным выходом было сделать себе еще хуже. Но поначалу мне, конечно, стало лучше — я подобрел, ведь это просто забавно: Буратино уводит у папы Карло бабу. Обхохочешься! Выпив еще, я даже решил поделиться этой уморительной новостью со Жгутовичем, а заодно сообщить, что, хотя пари я, по сути, выиграл, он тем не менее может пользоваться моей квартирой начиная прямо с сегодняшнего дня, точнее, ночи. Я даже придумал хорошую хохму, а это очень важно, когда проигрываешь. Хохма такая: мол, фривольных штукатурщиц можешь в квартиру водить — только вольных каменщиков не смей!

Но телефон не работал. Ну конечно, его же отключили еще утром! Портвейн оказался мне сладковатым, и я начал по вкусу добавлять в него водку, мысленно называя этот коктейль «Битва при Калке».

А все-таки я проиграл! Жгутович этого еще не понимает, а я понимаю. Облизывающийся теоретик, когда менял папку, наверняка увидел, что никакого романа нет, и теперь он разболтает об этом всем. Не ко времени! Ох, не ко времени! Еще не все успели восхититься глубиной и стилистической мощью знаменитого романа «В чашу». Железный расчет разбился о бумажную случайность. Что мы имеем в результате? Акашина могут загрести. Раз. Мне тоже достанется, особенно когда выяснится, что я раздавал всем папки с чистой бумагой. Два. Горынин теперь с одобрения Сергея Леонидовича перекроет мне кислород, по крайней мере на некоторое время. Это три. Изголодавшийся Жгутович превратит мою квартиру в остров внебрачной любви. Четыре. Мальвина спуталась со свежеструганным Буратино, и сейчас он терзает ее тряпичное тельце своими деревянными конечностями! Пять! Я попытался вообразить, чем в этот момент могут заниматься Анка с Витьком, представил себе «моего глупого гения» и эту нежнокожую гадину совокупающимися в самой непристойной позе, какую только можно придумать. А придумать можно было многое! Например, вообразить, как Анка сейчас постанывает на мотив Равеля, потому что так она делает всегда, это неповторимый, фирменный звук ее любви. Стерва-а-а! Я схватил стакан с «Битвой при Калке» и швырнул его об стену: осколки разлетелись по всей комнате, а на обоях расплылось коричневое пятно, формой напоминающее Апеннинский полуостров. Я понял, что должен найти ее, дозвониться и сказать, проорать: между нами теперь уже на самом деле все кончено. И первым говорю это я. Я — а не ты!

Телефон не работал. Его отключили еще утром.

Что же мне теперь делать? Что?! Я знаю, что делать. Поеду в деревню к Костожогову и расскажу ему все — про себя, про Анку, про Витьку, про этот дурацкий спор. Он посмотрит на меня своими яркими-преярыми глазами и простит, несмотря на то, что выбора я так и не сделал. Но тут я сообразил, что давно потерял

бумажку с его адресом... Ерунда! Я выйду на улицу и у каждого встречного буду спрашивать, где находится такое село, черт его знает, как оно называется, но там еще есть школа, где нет даже звонка, а есть завхоз, который, когда наступает перемена, звонит в большой колокольчик. И есть там еще одна примета: старинный вяз — к нему французы, когда шли на Москву, привязывали лошадей. Люди добрые — они подскажут. Ведь хоть кто-то обязательно знает, где находится это село... А если Костожигов меня не простит, если он будет сидеть не поднимая глаз?! Что тогда? Нет, я не поеду к Костожигову, я поступлю по-другому. Я поступлю, как и должен поступать подмастерье Дьявола! И я расхохотался голосом оперного Мефистофеля. Как именно я поступлю, мне было еще неясно, но почему-то сразу захотелось поведать о своем решении мерзавцу Одуеву.

Но телефон не работал.

А что я, собственно, хочу сделать? Погоди... Решение очень простое, даже элементарное, многократно описанное в литературе, и оно разом избавит меня от всех мучений. Но какое? Я старался нашарить его в себе и назвать, но оно глумливо ускользало от меня, точно с детства знакомое слово, вдруг закатившееся в какую-то темную щель памяти. Я продолжал пить и с каждым стаканом все ближе подбирался к этому уже принятому, но все еще не пойманному и не названному решению. И вдруг я совершенно отчетливо понял, что должен сделать. Я убью их — обоих! Убью. И черное теплое счастье разлилось по всему телу. И этим своим непереносимым счастьем я должен был поделиться с Сергеем Леонидовичем. Только с ним. Он тоже хотел убить свою жену и хотя потом передумал, меня, конечно, поймет и одобрит. Я потянулся к трубке и, потеряв равновесие, грохнулся со стула.

Но телефон все равно не работал. А вот подняться я уже так и не смог...

Я лежал, вглядываясь в коричневое пятно на обоях, и постепенно куски моего существа какими-то головокружительно бесплотными сгустками стали отрываться от распростертого на полу тела и устремляться к стене, втягиваясь в это гудевшее с пылесосной жадностью пятно. А там, по другую сторону пятна, сгустки собирались, состыковывались, слеплялись, снова образуя меня, при этом сорясь и попискивая, как крысы. Наконец я воссоединился: последними нашли свое прежнее место замешкавшиеся глаза. И я увидел, что стою в спальне горынинской дачи, перед знакомой широкой кроватью, и сжимаю в руке мельхиоровый столовый нож. А на сбитых простынях лежат они. Но Анки почти не видно из-за широкой, белой, лоснящейся от пота и потому похожей на блестящую консервную жест Витькиной спины. Чтобы пробить этот панцирь, надо ударить со всей силы, двумя руками и в то место, где бурый загар шеи резко граничит с металлической белизной загривка. Я замахваюсь... «Это бесполезно!» — тихо говорит Анка, выглядывая из-под Акашина, как царевна-лягушка из-под коряги. Она пристально смотрит на меня. Он тоже оглядывается, но молча, причем голова его поворачивается на 180 градусов, точно шея — это вставленный в туловище штифт. «Почему?» — удивляюсь я. «Раздаться — тогда

скажу!» — предлагает она. «Ты опять обманешь!» «Нет, разделись!»

Я снимаю одежду и втягиваю живот, чтоб выглядеть поатлетичнее. «Ты похудел...» — вздыхает она. «Почему?» — повторяю я свой вопрос. «Потому что ты просто убьешь себя...» «Почему?» «Да потому что вы сямские близнецы!» — смеется она. «Почему?» «Боже, какой ты тупой! Виктор, покажи ему». «О'кей — сказал Патрикей!» — ухмыляется Акашин и встает. И я вижу, что мы действительно сямские близнецы: из его мохнатого паха тянется глянцево-красная, напряженно-подрагивающая пуповина, и заканчивается она в моем собственном паху, там, где прежде существовало мое мужское начало. «Трансцендентально», — говорит Витек. «Что же делать?» — вопрошаю я. «Как что? — хохочет Анка, откидываясь на подушку. — Прыгать! Девочки очень любят прыгать через веревочку! Ты забыл?»

Нет, я не забыл... У нас во дворе были две подружки, они привязывали веревочку к бельевому столбу, потом одна из них вращала свободный конец, а другая прыгала. Затем они менялись местами. Это правда. Но я-то тут при чем? «Как при чем? Виктор, покажи ему!» Акашин хватает пуповину у самого основания и принимается раскручивать, а я стою, как столб. Анка вскакивает с кровати и начинает прыгать, словно через скакалочку: сначала на двух ногах, потом чередуя правую и левую, потом скрещивая ноги... Virtuозно, не задевая пуповину, описывающую свистящие, сливающиеся в красное свечение круги. Ее груди мечутся вверх-вниз, а короткие светлые волосы на лобке ерошатся от встречных потоков воздуха... «Ну, что же ты стоишь? — задыхаясь, кричит она. — Неужели ты ничего не хочешь?» «Тебя!» — отвечаю я. «Меня? Глупый, для этого нужно разрезать! Но никому в мире еще это не удавалось. Все операции заканчивались смертью. Кто-то один всегда умирал!» «Я не боюсь!» «Тогда режь! У тебя же нож... Режь!» — подпрыгивая все выше и даже зависая над полом, кричит она. «Режь, козел!» — орет Витек, все быстрее раскручивая пуповину. Я взмахиваю ножом: из рассеченной плоти, как из двух брандспойтов, начинает хлестать горячая кровь, заливая кровать, обдавая и обрызгивая нас всех с ног до головы. Анка подставляет пригоршни и жадно пьет дымящуюся кровь.

Я ощутил восхитительное облегчение и умер...

23. ГРОЗДЬЯ СЛАВЫ

Утром я умирал.

Напиваться так дико, бессмысленно и антигигиенично мне, кажется, не приходилось еще никогда. Очнулся я на полу и долго лежал, стараясь не шевелиться, даже не думать ни о чем. Я был страшно слаб. Любое усилие, даже мысленное, даже попытка просто сосредоточиться могли стоить мне жизни. Во рту была скрежещущая сухость, в голове клубилось причудливое облако боли, а в животе пружинистым, готовым к броску гадючьим крендельком свернулась тошнота... К вечеру мне стало чуть лучше, я дополз до

кухни и выпил литровый пакет кефира, потом доковылял до ванной и смыл с себя весь вчерашний позор. Походив по комнате, я осознал, что окончательно вернуть меня к жизни и сделать полноценным членом общества могут, как и советовал в таких случаях великий Булгаков, только сто граммов водки, закушанные рыбной солянкой с маслинчиками. Я представил себе, как буду наливать водку в рюмочку из казенного с золотыми ободками графинчика, и не ощутил никакой тошноты, а только сосущую сладость во рту. Организм победил!

...В ресторане я сел и, как завсегда, не раскрывая меню, стал озиаться в поисках официанта. Ко мне подошла Надюха — снова в форменном фартучке и с кружевной наколкой в волосах.

— Обедать или поправляться? — спросила она.

— Поправляться. А тебя что — простили?

— Простили... А где Витек?

— Нарушаешь последовательность! — упрекнул я, и она, даже не уточняя, что принести, убежала на кухню и вскоре принесла мне водку:

— Ну, что там с ним? Метрдотельша мне такого наговорила!

— Опережаешь события! — улыбнулся я, и она снова убежала на кухню.

— Ну, что там с Витьком? Не посадили хоть? — ставя судок, спросила она.

— А где маслинчики? — в свою очередь спросил я, огорченно поваландав ложкой.

— Не завезли... Ты чего не отвечаешь? Втянул его в разные пакости, а теперь отлыниваешь! Где Витька?

— А где маслинчики?

— Не завезли, говорю тебе!

— А его, наоборот, увезли...

— Кто?

— Дама. Дама с «командирскими» часами.

— Горыниха! — всплеснула руками Надюха. — А я думала — врут на кухне!

— На кухне никогда не врут. Дай мне поесть!

Но поесть мне не дали...

Приемная Горынина была набита томившимися в ожидании подписантами: они сидели третий день, поникли и осунулись. Мужчины заросли щетиной. Женщин явно не красил неловкий макияж, выполненный в полевых условиях. И поскольку в определенном смысле виновником их сидения был я, то мое появление было встречено взглядами, полными ненависти. Медноструев, увидев меня, отвернулся, а Ирискин потупил глаза. Да ну и хрен с вами со всеми!

В кабинете я застал странную картину.

Трое мужчин — Горынин, Сергей Леонидович и Журавленко боролись с Ольгой Эммануэлевной. Выглядело это так. Видный идеолог, прикрыв «вертушку» своим телом, одной рукой придерживал на носу очки, а другой, стараясь сохранить уважение к старости, насколько это возможно в подобной ситуации, отталкивал атакующую бабушку русской поэзии. Горынин и Сергей Леонидович, схватив ее соответственно за талию и за руку, пытались

оттащить Кипяткову от аппарата правительственной связи. Ольга Эммануэлевна отбивалась с редкой для ее возраста энергией, а свободной рукой старалась сорвать очки с носа Журавленко. При этом она кричала:

— Дайте мне позвонить! Я скажу ему все...

— Он занят. Он не подходит к телефону! — увещевал идеолог, уворачиваясь от цепкой старушечьей лапки.

— Вы лжете! Вы отрываете руководство партии от почвы! — кричала Кипяткова. — Я скажу ему: Михаил Сергеевич...

— Не надо! — умолял Николай Николаевич. — Не надо ему ничего говорить!

— Не-ет, я скажу-у! — настаивала старушка, делая совершенно борцовскую попытку вырваться.

— Он все уже знает! Ему доложили! — кряхтя, убеждал Сергей Леонидович.

— Нет, не все! Он не знает, какой Виктор Акашин замечательный писатель! Я должна прочесть Михаилу Сергеевичу одно место из романа «В чашу»...

— Горбачеву не до романов! Он за целую страну отвечает! — снова вступил Журавленко.

Мое появление несколько отрезвило Кипяткову. Она вдруг обмякла, как одинокая и давно не обнимаемая женщина ослабевает, убедившись, что у насильника намерения вполне серьезные.

— Хорошо, — согласилась она. — Я напишу ему письмо...

— Прекрасно. Я передам, — переводя дыхание, но на всякий случай продолжая прикрывать телом «вертушку», отозвался идеолог Журавленко.

— Да, я напишу, — теперь уже глядя прямо мне в глаза, повторила старушка. — Напишу, что Виктор Акашин — гордость нашей литературы! И я благодарна за то, что Михаил Сергеевич это понял и остановил травлю честного человека, сказавшего народу то, что давно уже надо было сказать! Я напишу...

— Лучше на машинке напечатать, — посоветовал Сергей Леонидович.

— Отпустите меня!

Ее отпустили. Она достала из сумки зеркальце с дореволюционной монограммой, припудрилась и вышла из кабинета с таким видом, с каким путешествующая по своей державе королева покидает замок вассала, не угодившего ей ночлегом. Николай Николаевич облегченно вздохнул и вытер мокрый лоб краем лохматой бурки, подаренной некогда Союзом чеченских писателей. После этого он посмотрел на меня с замешательством, что вселяло некоторые надежды.

— Вызывали? — спросил я с натренированной робостью.

— Приглашали... — поправил Горынин. — Пляши, умник! Пронесло! Удивлен?

— Скорее да, чем нет...

— Было заседание Политбюро, — пояснил Журавленко, на всякий случай так и не отходя от «вертушки». — Лигачев требовал крови. Остальные — примерного наказания. Михаил Сергеевич всех внимательно выслушал, задумался, а потом сказал... — Тут

идеолог замолчал и вопросительно глянул на Сергея Леонидовича.

— Говори, наш человек! — успокоил его Николай Николаевич.

— Проверенный, — добавил Сергей Леонидович.

— В общем, подумал Генеральный и сказал: пусть писатели сами в своем говне и копаются! Партия — не нянька, а наставник общества. Запомните раз и навсегда, товарищ Лигачев!

Произнес это, Журавленко посмотрел на всех со значением. Воцарилось молчание. И хотя Горынин и Сергей Леонидович явно слышали эту фразу не в первый раз, на их лицах засветилось печальное торжество людей, по долгу службы соприкоснувшихся с сакральными тайнами большой политики.

— Вы понимаете, что означают эти слова? — Журавленко отнесся персонально ко мне, — остальным присутствующим он, видимо, уже объяснял. — Это означает полный переворот в культурной политике партии. Это означает, что партия полностью доверяет своей народной интеллигенции и полностью отказывается от роли идейного надсмотрщика, которую ей приписывают наши недобросовестные идеологические оппоненты на Западе! Это, мужики, новая эпоха!

— Что ж мне теперь, с разными чурменьяевыми целоваться? — возмутился Сергей Леонидович. — Может, еще Костожогова из Цапдино пригласить и встречу ему на вокзале устроить? С букетами... Докатались!

— Поцелуетесь, если партия сочтет нужным! А насчет Костожогова — это мысль! На перспективу... И еще, между прочим, Михаил Сергеевич сказал: если люди нашу идеологию уже в прямом эфире ругают, надо идеологию менять!

— Людей надо менять, а не идеологию! — буркнул Горынин.

— Вы это серьезно? — спросил Журавленко, посмотрев на Николая Николаевича поверх очков и с нехорошим интересом.

— Он пошутил, — пояснил Сергей Леонидович.

— Пошутил я, — подтвердил Горынин. — А вот что с письмами делать? История нешуточная получается. Они скоро в приемной белье развешат...

— Может быть так, — задумчиво произнес Сергей Леонидович, — соберем актив, обсудим письма и выработаем обращение. Выдержанное. Обобщающее. Обращение опубликуем в «Правде» и «Литературном еженедельнике».

— Неплохо, — согласился ответработник. — Но где плюрализм? Михаил Сергеевич говорил о плюрализме...

— Плюрализм... — задумчиво повторил Горынин. — А поподробнее он ничего про плюрализм не говорил?

— Нет. Его дело — идею бросить. А мы должны ее до людей довести!

— Хорошо, — кивнул Сергей Леонидович. — Проводим четыре разных актива. На каждом обсуждаем по одному письму. Потом организовываем согласительную комиссию, вырабатываем обращение. Обращение печатаем в «Правде» и «Литературном еженедельнике»!

— Совсем другое дело! — улыбнулся Журавленко и нацепил очки.

— Какой же это плюрализм? — вмешался я, даже не предполагая, к каким тектоническим сдвигам в отечественной истории приведут эти мои слова.

— Не лезь! — буркнул Горынин. — Радуйся, что выпутался...

— Ну почему же — не лезь! — поощрительно глянул на меня идеолог. — Надо учитывать все точки зрения, даже самые неожиданные. Что вы предлагаете?

— Да напечатайте вы все четыре письма — и дело с концом!

— Пил? — потянув носом, спросил Сергей Леонидович.

— Пил, — сознался я.

— А что — это мысль! — засветился Журавленко. — Вы неглупый человек. Странно, что мы раньше с вами не встречались. Так и сделаем! Надо взбодрить народ, заставить его думать! Пусть печатают! А мы поможем. Дадим главным редакторам телефонограммы, чтобы печатали... Зовите писательскую общественность!

Горынин нажал кнопку селектора и сказал Марии Павловне:

— Запускай!

Через минуту кабинет был полон. Николай Николаевич обвел изможденные ожиданием лица грустным взглядом, но произнес довольно бодро:

— Вот, значит, так... Хватит ходить в коротких штанишках. Партия доверяет нам. Будем печатать.

— Какое письмо? — робко спросили из толпы.

— Что значит — какое? Все будем печатать! Плюрализм...

— Вот это по-нашему, по-русски! — рявкнул Медноструев, но соратники посмотрели на него укоризненно.

Толпа некоторое время молча осмысливала сказанное, стараясь понять тайный смысл этих слов и особенно последнего, незнакомого, подозрительно оканчивающегося на «изм». Потом возникло движение и четыре конверта осторожноенько легли на краешек стола-«саркофага».

— Э, нет! — возразил Горынин. — Сами несите в газеты. Партия вам доверяет!

— Да кто ж возьмет? — раздалось из толпы.

— Возьмут! — значительно произнес Журавленко. — Дадим указание.

— Письменное? — робко спросили из толпы.

— Конечно...

Недоумевающие ходки разобрали письма и, ропща, покинули кабинет.

— Опять какие-то жидовские штучки, — буркнул Медноструев, уходя.

Потом дверь вдруг снова приоткрылась и всунулась голова Ирискина:

— А если?..

— Исключено! — опроверг Журавленко. — Плюрализм...

Вот так и произошло знаменитое размежевание единой советской прессы...

— А где же Акашин? — задумчиво спросил Сергей Леонидович, когда мы снова остались вчетвером.

При этом он посмотрел в сторону Горынина, но тот стал что-то записывать на перекидном календаре.

— В самом деле? — озаботился Журавленко.
— А зачем он вам? — поинтересовался я.
— Как зачем? — удивился ответработник. — Будем роман печатать. С «Новым миром» уже договорились. И «Правда» кусок даст. Прямо сейчас кусок и выберем. Николай Николаевич, давай-ка сюда роман!

— Прямо сейчас и выберем, — подхватил Горынин и стал искать по выдвижным ящикам. — Там одно классное местечко есть, как раз про плюрализм! Куда же я его дел?

Сказал он это таким уверенно-озабоченным тоном, что было ясно: в подозрительные дни от рукописи он постарался избавиться.

И тут раздался звонок.

— Тебя, — кивнул Горынин Сергею Леонидовичу.

Тот взял трубку, и по мере того, как он слушал, лицо его вытягивалось и озарялось одновременно:

— Е-мое... Да ты что! Во бляхопрядильная фабрика! Куда катимся?..

В паху у меня противно похолодело, как это бывает в быстродходном лифте.

Положив трубку, он обвел нас торжественным взглядом.

— Ну? — в один голос спросили Горынин и Журавленко.

— Пришла шифровка из Нью-Йорка, — торжественно начал он. — Час назад жюри единогласно присудило премию «Золотой Бейкер» Виктору Акашину за роман «В чашу»...

— А Чурменяев? — опешил Горынин.

— Прокатили за недостаточно активную общественную позицию.

Мы переглянулись. Это была моя победа! Я мысленно представил себе «Масонскую энциклопедию» на своей книжной полке, но не испытал никакой радости. Напротив, сердце заныло от предчувствия, что скандал из-за папки с чистыми листами из внутреннего обещает теперь стать международным: по уставу Бейкерской премии, роман-победитель должен быть напечатан миллионным тиражом в течение месяца с момента принятия решения. Да, я жаждал скандала, но и только... А это была настоящая катастрофа! Единственное, что я мог сделать, это не думать о ней, пока она не разразилась.

— Надо срочно найти Акашина! Срочно! — сказал Журавленко не допускающим возражений тоном и строго глянул на Сергея Леонидовича.

— Найдем! — успокоил тот.

— А что его искать? — вдруг весело спросил Горынин. — Он у меня на даче отсиживается...

— У тебя? — От удивления ответработник снова снял очки.

— Ну да! Анка замуж за него выходит. Наверное, уже и вышла...

24. УНИЖЕННЫЙ И ОТСТРАНЕННЫЙ

Через три дня я провожал Витька в Нью-Йорк на церемонию, посвященную торжественному вручению премии Бейкера.

Вообще-то поначалу никто меня на проводы не приглашал, и я сидел дома, тупо уставившись на заправленный в каретку чистый лист бумаги, обдумывая первую фразу своего «главненького». Я понял, что от нравственных мук и терзаний спасти меня может только работа, сладко изнурительная, как счастливая любовь. «Амораловка» от Арнольда еще не поступала, и в душе царило гневливое отвращение ко всем без исключения видам письменности, изобретенным человечеством, начиная с узелкового письма. Я решил, пока не прибудет произведенное и бутылкованное в Красноярске вдохновение, придумать по крайней мере первую фразу. Впрочем, что значит — «по крайней мере»? Первая фраза в романе — это как первый поцелуй в любви! Он должен обещать такое, что твое немало повидавшее и поимевшее на своем веку тело вдруг начинает мальчишески трепетать в надежде на небывалое. И неважно, что в итоге ты получаешь бывалую женскую плоть, в той или иной степени натренированную в любовных содроганиях, но это пронзительное юношеское предвкушение небывалого овевает тебя все то время, пока, обливаясь потом в требовательных объятиях, ты из последних сил борешься за свою мужскую честь. Первый поцелуй должен быть легким и загадочным, ничем не намекающим на суровую реальность биологического соития, он должен быть сорван, как роза в городском саду, даже если ты и заплатил за нее сторожу со свистком. И наконец, он должен быть свеж и ароматен, а если он пахнет мятой жевательной резинки, это конец, и читатель закроет твой роман на первой же странице...

И тут в мою дверь позвонили. Я бросился отпирать, надеясь, что это прибыл гонец от Арнольда, но это был всего лишь шофер горьнинской служебной машины.

...Они, все пятеро, стояли возле таможенной стойки с табличкой:

ДЛЯ ДИПЛОМАТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

На Анке были тугие бархатные брючки, полусапожки, курточка из нежной замши и широкополая фетровая шляпа, поковбойски надвинутая на глаза. Горьнин, Журавленко, Сергей Леонидович и Витек были по причине внезапного похолодания одеты в единообразные темно-синие финские плащи, а стоявшие рядом четыре их чемодана напоминали подороженных поросят из одного помета. А я-то, дурак, сначала вообразил, что они тоже провожающие! Оказывается, нет...

Горьнин летел в качестве руководителя делегации и представителя Союза писателей, открывшего молодой талант Журавленко — как посланник Института мировой литературы, где он и в самом деле несколько лет назад защитил докторскую диссертацию по теме «Образ бригадира-новатора в романе Н. Горьнина «Прогрессивка». Ну а Сергей Леонидович, понятное дело, вошел в состав делегации как спецкорреспондент «Литературного еженедельника» и похлопывал ладонью по болтавшемуся у него на боку кожаному коробу для фотопринадлежностей. Когда я появился, Витек озабоченно поглядывал на свои «командирские» часы. То

же самое делали и все остальные, кроме Анки. И тут они увидели меня.

— Ну, в чем дело! — закричал Горынин. — Мы из-за тебя на регистрацию опоздаем! Специально машину за тобой послал...

— Ладно тебе, Николаич, — успокоил его Сергей Леонидович. — Еще время есть.

Витек заулыбался и двинулся ко мне вертляво-извиняющейся походкой собаки, сожравшей хозяйский ужин:

— Я им сказал, что без тебя не полечу. В общем, если с тобой не попрощаюсь — не полечу...

— Неужели не полетел бы?

— Полетел бы... Все-таки Америка. С ума сойти! А ведь я, честное слово, не верил тебе, когда ты про загранку врал! Тебе чего привезти?

— Воздух свободы.

— Зря ты на меня обиделся! — отводя взгляд, сказал Витек. — Я же все делал, как ты говорил. Я же не виноват, что... Ну, так получилось.

— Вестимо, — отозвался я. — Видишь, как все получилось! Как я и обещал: слава, загранка, самые лучшие женщины...

— Трансцендентально! — вздохнул Витек и глянул на «командирские» часы.

— Как часики? — спросил я. — Тикают?

— Так себе. Вот у меня электронные были с голой теткой на циферблате. Это да! Я их крановщику проиграл, когда он меня перепил. Мы тоже поспорили. Я полкружки не добрал...

— Ты просто ничего в этом не понимаешь.

— Куда нам, кудрявым!

— Ладно, ты тоже не обижайся. Ты, вроде, что-то спросить хочешь? Если будут вербовать, посылай всех к Леонидычу...

— Я думал, ты сам скажешь... — потупился он.

— Нет. Теперь не скажу. А вот когда эти американские хлебо-булочные покровители высокой литературы обнаружат в папке чистую, как совесть дебила, бумагу — тогда...

— А если не обнаружат? — с надеждой спросил Витек.

— Обязательно обнаружат.

— Жуть! Что делать?

— Ничего особенного. Когда члены высокой делегации будут убивать тебя в роскошном нью-йоркском номере, ты посоветуй им позвонить мне в Москву. А я уж с ними как-нибудь объяснюсь. Понял?

— Амбивалентно... — задумчиво кивнул Витек.

— Ну и отлично! Мягкой тебе посадки, лауреат-обладатель! Как у тебя, кстати, с Анкой: слов хватает?

— Я... Я ее боюсь.

— И правильно делаешь — страшная женщина: мужские шкурки коллекционирует. Предсмертные желания, просьбы будут?

— Будут... Вот, передай Надюхе, — и он протянул мне мелко сложенную бумажку.

— О'кей — сказал Патрикей! — я сунул записку в карман. — Прощай, мой сиамский друг!

Я крепко обнял Витьку и тут же оттолкнул от себя, потому что к нам уже направлялся обеспокоенный нашим долгим прощанием Горьнин. Отправив Акашина к чемоданам, Николай Николаевич задержал взор на моей невеселой физиономии и решил, очевидно, приободрить меня. Но разговор вышел странноватый:

— Не журись, хлопец! Напишешь что-нибудь стоящее, и тебе «Бейкеровку» дадут, — тепло сказал он.

— Уже пишу! — твердо ответил я.

— Ну да? — Он снова глянул на меня, но на сей раз ревниво. — Я, знаешь, тоже решил: вернусь и возьму творческий отпуск, месяца три! Нет, три не дадут — два. На роман хватит. Будет на них горбатиться! Так весь талант в справки да отчеты вбухашь... Сюжетец у меня есть. Сила! А ты про что пишешь?

— Про жизнь...

— Да? — заперезживал он. — И ты тоже?! Ну, ничего, я все равно вперед тебя успею. Мне главное сесть. Я, когда сяду, такой злописучий — только отгаскивай!

— Завидую! — кивнул я.

— Ты на нас не обижайся. Ну никак тебя с собой взять не могли...

— Понимаю. Но на случай непредвиденных обстоятельств, снимаю с себя всякую ответственность.

— Это ты брось! Во-первых, ответственность с советского человека только смерть может снять. А во-вторых, какие такие непредвиденные обстоятельства? Все предвидено! И нечего по загранкам тебе шастать. Роман пиши! Это главное! А если ты из-за Анки журишься, то напрасно. Радоваться надо: расписались они. Журавленко был свидетелем со стороны жениха, а Леонидыч — со стороны невесты. Свадьбу сыграем, как только вернемся... Готовься!

И отошел в сторону.

Затем подрулил и Сергей Леонидович. Он был расстроен.

— Куда катимся... Командировочных четыре доллара в сутки выписали! Представляешь? Это банка пива с бутербродом. И они еще хотят за такие деньги «холодную» войну выиграть! Гроб они себе с бубенчиками выиграют, а не «холодную» войну... Ты чего такой хмурый?

— Обидно.

— Конечно, обидно. А мне, думаешь, не обидно было, когда я этого идиота, который Мавзолей хотел взорвать, арестовал, а звание начальнику отдела бросили...

— Да я не об этом.

— Понял. А мне, думаешь, не обидно было, когда я свою с этим авангардистским шакалом застукал? Крепись. Все они одинаковые...

— Я не об этом.

— Да что ж такое?

— Скажи им, чтоб телефон мой включили!

— Вот бляхопрядильная фабрика, забыл!.. Ладно, я им из Нью-Йорка позвоню. Не сердчай!

— И ты, если что, не сердчай...

Последней была Анка. Она нежно поцеловала меня в щеку:

— Улыбнись!

Я отвернулся.

— Ну вот! Я же все-таки не с Чурменяевым еду!

— Это утешает...

— Не кукуйся. Мы же договорились: я вроде как на войну, а ты вроде как ждешь...

— Ты в плен только не сдавайся! — попросил я.

— Если что, я тебе из плена письма писать буду... Нет, я, может быть, тебе даже позвоню из Нью-Йорка...

— Вы мне обязательно позвоните!

Она посмотрела на меня удивленно, провела рукой по моей щеке и вернулась к остальным, которые уже выстроились в очередь перед стойкой для дипломатов и официальных делегаций.

Летите, голуби, зло подумал я, вы даже не подозреваете, какая замедленная мина-сюрприз ожидает вас по ту сторону океана. Несправедливость должна быть искоренена. Конечно, в жизни нет и никогда не было справедливости. Но если исчезнет хотя бы несправедливость, то жить в этом мире можно!

«Волги», привезшей меня в аэропорт, уже не было: классическое отношение советской власти к личности. Если нужен — машина к подъезду, а отпала необходимость — топай на своих двоих. Говорят, один член Политбюро умер от инфаркта, когда утром не обнаружил под окнами свой черный «членовоз». Решил: снял с работы, а тот, оказывается, просто по пути врезался в рефрижератор. Очень даже может быть! Добираясь домой сначала на рейсовом автобусе, потом на метро, я, чтобы убавлять обиду, во всей красе представлял себе международный скандал, который должен разразиться через несколько дней. Я видел первые полосы американских газет с пылающими заголовками: «Литературная афера века!», «Пощечина эстетическому вкусу мистера Бейкера!», «Можно ли верить русскому медведю?» Я видел снятого со всех постов Горынина, которому я говорю: «Не журишь, Николаич, зато теперь попишешь всласть!» Я видел беспомощно хлопающего своими умными канцелярскими глазами идеолога Журавленко. Я видел рвущего на себе волосы Сергея Леонидовича, наконец понявшего во всей чудовищной очевидности, куда мы катимся! Входя в свой подъезд, я представлял себе Анку, униженную, оскорбленную, плачущую у меня на плече и повторяющую сквозь рыдания: «Я же не знала, что он просто чальщик! Я думала...»

Что она думала, я так и не узнал, потому что на ступеньках возле моей квартиры, аккуратно подстелив газетку, сидел грустный Жгутувич, на коленях у него лежали два свертка.

— А я звонил, звонил... Решил вот приехать.

— У меня телефон отключили, — объяснил я и, отперев дверь, пригласил его в квартиру.

Войдя, Стас тоскливо осмотрел помещение, которое могло бы стать, но все-таки не стало приютом его стреноженного полового инстинкта.

— Вот, — сказал он, — я тебе энциклопедию привез. Знаешь, до последнего не верил, что ты выиграешь...

— А это что? — кивнул я на сверток побольше.

— Это белье постельное. Индийское. Я захватил. Может, купишь у меня? Домой нести нельзя — жена не поверит, что просто так взял...

— Куплю, — кивнул я. — Сколько?

Он назвал цену, явно накинув процентов пятнадцать за доставку на дом, но я, не торгуясь, расплатился.

— Даже не знаю, что теперь делать! — тоскливо сказал Жгутович.

— Хочешь, я тебе посоветую: запишись в какой-нибудь кружок или клуб.

— Что я, мальчик, что ли?

— Почему сразу — мальчик? В Англии, например, все мужчины в каких-то клубах состоят. Представляешь, как удобно! Жена спрашивает: «Ты куда?» А муж отвечает: «В клуб!» И идет туда, куда его влекут желания.

— А жена ведь и проверить может!

— В том-то и штука. Клуб должен быть закрытый, чтобы проверить нельзя было. В Англии-то почти все клубы закрытые.

— Я, знаешь, тоже про это думал, когда энциклопедию читал. Мне бы масоны подошли. Там тоже женщин обычно не пускают, если только по праздникам. А обычно — полная тайна и никаких посторонних...

— Отлично! Представляешь, звонит твоя половина твоему масонскому начальнику...

— Мастеру стула.

— Что?

— Начальник у них мастером стула называется.

— Ага, а тот отвечает: «Понятия не имею, гражданочка! У нас полная тайна!» Как раз то, что тебе нужно.

— А как их найти, масонов? Они же в подполье...

— А ты пробовал искать?

— Пробовал. Бесполезно...

— Мда-а... — задумался я. — Есть у масонов какой-нибудь праздник?

— Конечно, 24 июня. Иванов день... Это у них вроде нашего 7 ноября.

— Ага! Сегодня у нас какое число?

— 21-е.

— Значит, через два дня. Теперь поставь себя на их место. Если 6 седьмое ноября отмечалось летом, где бы ты его праздновал — дома или на природе?

— На природе, конечно! Тепло, уже купаться можно, шашлычок...

— А теперь давай думать, где в Москве или Подмосковье есть местечко с купанием, с шашлыками и с чем-нибудь масонским?

— Не знаю.

— А я знаю! Я, когда студентом был, гидом подрабатывал. И такое место знаю — это Царицыно. Во-первых, замечательный пруд — лодки, купание... Во-вторых, старинный парк. В-третьих, шашлыки продают. А в-четвертых, и это самое главное, там недо-

строенный дворец Баженова. А за что Екатерина Первая запретила его достраивать?

— Точно! В энциклопедии про это есть: Баженов был масоном и в орнаментах масонскую символику использовал...

— Вот, 24-го едешь туда, а там уже действуешь по обстоятельствам. Но то, что они там обязательно будут, я не сомневаюсь. Логика — это все-таки наука!

Взволнованный Жгутович аж подскочил на стуле:

— Я их узнаю. У них жесты специальные есть, для посвященных. Слушай, поехали вместе!

— Нет, — сказал я. — В моей жизни и так много тайн. Одна из них на днях станет явной, и у меня будет много хлопот.

И тут раздался долгий звонок в дверь.

— Жена! — позеленел Жгутович.

Но это была не жена, а гонец от Арнольда — мощный краснолицый сибиряк, а в руках он держал полиэтиленовый пакет, обнадеживающе тугой и тяжелый. На предложение зайти и хотя бы попить чайку посыльный наотрез отказался, сообщив, что никак не мог мне дозвониться и вот заскочил буквально перед самым поездом. Закрыв дверь, я сунул сумку в тумбочку для обуви и вернулся в комнату.

— Кто это? — часто дыша от испуга, спросил Жгутович.

— Сосед за сигаретами заходил! — энергично соврал я, не желая делиться с ним вдохновенным напитком. — А знаешь, что Рембо писал о Париже?

— Нет...

— Париж — это город, где каждый гарсон — масон.

На самом же деле я придумал эти стихи, пока шел из прихожей в комнату.

25. КОНЕЦ ЛИТЕРАТУРЫ

Проводив окрыленного Стаса, я взял рюмочку, наполнил ее до краев и, по-дегустаторски смакуя, чтобы обеспечить наиболее полное всасывание волшебных ингредиентов в организм, выпил. «Амораловка» по вкусу напоминала водку, куда уронили селедочный кусочек, но не иваси, как прежде, а обычную, атлантическую, спецпосола. Внутри у меня многообещающе потеплело. Через несколько минут тело начало наполняться зовущей легкостью и предощущением волшебного трепета. Чуть позже из недр подсознания, по-котовьи раздвигая слежавшиеся пласты книжного хитромудрия и самостоятельного мыслительного хлама, начали выползать розовотелые эротические фантазии. Оказавшись на поверхности, они вдруг, словно созревшие куколки, выпрастывали крылья и превращались в нежных бабочек с призывно курчавыми подбрюшьями. Бабочек становилось все больше, они мелькали надо мной, сбиваясь в теплое будоражащее облачко, потом — в тучу, постепенно наливавшуюся сладострастной угрозой. И вот, когда из тучи готова была ударить неудержимая и испепеляющая, как первый оргазм, молния, я расслабился, потом резко и глубоко вздохнул, а пальцы положил на клавиши машинки...

И тут зазвонил молчавший неделю телефон.

— Я вас включила! — радостно сообщила станционная девушка голосом, похожим на голос дублерши Софи Лорен.

— Спасибо, — поблагодарил я, стараясь не выходить из своего творческого обморока.

— Вы заняты? — участливо спросила она.

— Вообще-то — да...

— Тогда не буду вам мешать... Хотя сегодня вечером я свободна...

— Это замечательно! — сказал я, чувствуя, что туча начала редеть, распадаясь на ярких, бесстыжих бабочек-«шоколадниц».

— Значит, ваше приглашение остается в силе? — с легкой улыбкой спросила она.

— Какое приглашение?

— Интересно, все писатели такие забывчивые?

И тут я вспомнил про свое неосторожное приглашение на чай.

— Ах, ну конечно... Заходите! Буду рад. Давайте я вам адрес продиктую.

— У меня есть. Я же вам все время счета оформляю...

Я положил трубку. Но душа уже опустела. Мне даже показалось, что на полу валяются дохлые бабочки-«шоколадницы», похожие на разбросанную колоду порнографических карт. Такую же колоду я выменял в седьмом классе на японскую шариковую ручку, которую подарил мне один младший научный сотрудник: ему моя мама печатала диссертацию. Кажется, между ними что-то происходило. Во всяком случае, столько денег на кино и мороженое у меня не было ни до, ни после... Защитившись, младший научный сотрудник исчез, уехал в свой город, а постоянные заказчики еще несколько месяцев интеллигентно удивлялись, что такая обычно аккуратная и внимательная мама сажает одну опечатку на другую. Колоду я прятал в гардеробе под старыми кофтами и на свет извлекал, только когда оставался в комнате один. Карты были сделаны из обычной фотобумаги и представляли собой довольно грубые коллажи, составленные на основе вырезок из западных порнографических журналов — их иногда просовывали к нам в страну через щель под железным занавесом. Но белокурых девиц с осиными талиями и вздыбленными бюстами автору-изготовителю на всю колоду не хватило, и он восполнил этот недостаток несколькими любительскими снимками какой-то своей подружки, раскинувшейся на тахте под самодельным торшером. И хотя грудь у нее висела, как уши грустного терьера, а на простоватом курносом лице играла настоженная улыбка продавщицы, обвешивающей покупателя, именно эта голая советская женщина, а не журнальные красотки, волновала меня по-настоящему. Если быть уж совсем откровенным, то она и стала моей первой женщиной! И звал я ее почему-то Инной... В этом имени была некая проникновенная таинственность! И вот однажды, придя из школы, я обнаружил колоду разбросанной по полу, а карты с Инной были разорваны на мелкие клочки. В комнате до тошноты пахло нафталином: видимо, мать

боролась с молью и случайно наткнулась на мою тайну. Я собрал колоду, отнес на улицу и выбросил в помойный бак в чужом дворе. Без Инны эти настриженные из журналов красотики меня абсолютно не интересовали... Мать сделала вид, что ничего не произошло, я — тем более. Но с тех пор она никогда больше не отправляла меня по вечерам в кино, щедро снабдив деньгами на мороженое, которые, впрочем, я в соответствии с возрастными запросами тратил исключительно на сигареты «Памир», вонючие и едкие, как пожар на лако-красочном комбинате. А может быть, у нее просто больше не было причин отправлять меня в кино? Потихоньку она начинала болеть...

Вернувшись от телефона к машинке, я снова возложил персты на клавиши, однако ничего даже отдаленно напоминающего трепет вдохновения не ощутил, хотя несколько раз глубоко вдыхал и надолго задерживал воздух в легких. Пришлось выпить еще полрюмочки, потом еще... Мои чресла снова наполнились зноем похоти, но сколько я ни дышал, привычной переборски энергии из животного подполья в духовный верх не происходило. И никаких новых идей, кроме желания освободиться от распивавших меня порывов пошлым библейским способом, в голову не залетало... Я вдруг подумал о том, что Инна давно уже состарилась, а может быть, и умерла. И вдруг понял настоящую причину той давней материнской ярости: ведь на вид Инна была ее ровесницей! И еще одну вещь я понял совершенно неожиданно: у разорванной в клочки Инны был такой же, как у Анки упругий, зовущий, стремительно сужающийся книзу лонный рельеф...

И тут снова, точно стараясь восполнить свое недельное молчание, зазвонил телефон. Это был Любин-Любченко.

— Я все понял, — сказал он. — Это гениально!

— Что вы поняли?

— Все... Нам надо встретиться.

— Когда?

— Как можно быстрее!

— Хорошо, — сказал я, даже радуясь возможности отвлечься от всего этого кошмара. — Через час в Доме литераторов.

Вероятно, от моего тела исходили особые волны, потому что встречные женщины смотрели на меня с волнующим испугом. А в троллейбусе какая-то студентка, которую я зачем-то вообразил себе голой и сладостно изгибающейся, вдруг покраснела, как маков цвет, и сердито отвернулась к окну...

В холле томился Любин-Любченко. Он сидел у журнального столика, подперев свое задумчивое лицо кулаками, которых из-за непомерной длины манжет видно не было, и складывалось впечатление, будто теоретик авангарда сидит, опершись подбородком о копыта.

— Ну? — спросил я, подойдя к нему.

— Это гениально! — повторил он. — Вы, конечно, знаете, что на саркофаге Сета Первого есть изображение пустоты, представляющее собой полунаполненный сосуд. Чашу... Я сразу понял тонкость названия романа! Но такой глубины даже не предполагал!

— Вестимо, — значительно кивнул я.

— Теперь о чистых страницах. Они — белого цвета. Я даже не буду останавливаться на том, что по Генону белый цвет представляет собой духовный центр — Туле, так называемый «белый остров» — страну живых или, если хотите, рай. Кстати, Лойфлер в исследовании о мифических птицах связывает белых птиц с эротизмом... Понимаете?

— Вы меня об этом спрашиваете?! — вздрогнул я всем телом.

— Но это еще не все. Чистая страница — это окно в коллективное бессознательное, поэтому, существуя в сознании автора и не существуя на страницах рукописи, роман тем не менее существует в коллективном бессознательном, куда можно проникнуть, распахнув, как окно, книгу... Понимаете?

— Скорее нет, чем да...

— А это практически и нельзя понять, не учитывая новейшие теории, трактующие человеческий мозг как особое считывающее устройство! Таким образом, чистая страница — это прежде всего шифр для выхода сознания в надсознание — к астральным сгусткам информационной энергии, где безусловно есть и сочиненный, но не записанный роман вашего Виктора....

— Трансцендентально...

— Да бросьте! Роман мог быть не только не записан, но даже и не сочинен вообще. Неважно! Главное — это шифр, открывающий тайники астральной информации, где каждый может найти свое. Это главное! Только за это Виктору нужно поставить памятник напротив Пушкина!

— Не варите козленка в молоке матери его! — ревниво сказал я.

— Я смотрю, вы тоже попали под влияние Акашина: говорите просто его словами! Но это естественно. Быть рядом с гением... Надеюсь, вы одобрите название, которое я дал творческому методу, открытому Виктором! «Табулизм».

— Почти — бутулизм...

— Ну что вы такое говорите? Это же — от «табула рара». Помните, римляне называли так чистую, выскобленную доску? Понимаете! Табулизм — это не просто возносящая нас высь энергия чистой страницы, это вообще запрет — табу на любое буквенное фиксирование художественного образа! Любое... В общем, подобно «концу истории» мы подошли к «концу литературы». И в этом гениальность открытия Акашина, равного открытиям Эйнштейна! Теперь-то мне ясен эзотерический смысл слова, сказанного им в прямом эфире! Ничего другого он сказать-то и не мог!

— Не мог, — согласился я.

— Вот именно: экскремент — это символ завершения духовной эволюции, в нашем случае — «конец литературы». Улавливаете? И только теперь я понял подлинный смысл его фразы: «Не вари козленка в молоке матери его...»

— И какой же смысл?

— Боже, я думал, вы умнее. Молоко какого цвета?

— Белого.

— А бумага?

— Тоже белого...

— Ну вот! Записывать литературу на бумаге — так же недопу-

стимо, это такое же табу, как у древних — запрет на смешанную пищу или, в свете новых исследований, на участие в таинстве священного брака! И это значит, что даже самый невинный знак, начертанный на бумаге, навсегда закрывает нам выход к информационному полю Вселенной! Понятно?

— Теперь да.

— А мне теперь понятно, почему мудрые американцы предпочли ненаписанный роман Виктора пачкотне этого графомана Чурменяева. Справедливость восторжествовала! Вот и все, что я хотел вам сказать. Я, кстати, написал об этом статью «Табулизм, или Конец литературы». У нас, конечно, не напечатают... Надежда только на «тамиздат». Но услугами этой бездарности Чурменяева я пользоваться не собираюсь, да он и не согласится: разъярен... Это же пощечина ему и всем подобным! Но вот если вы через вашего друга Виктора...

— Давайте статью, — кивнул я.

Любин-Любченко протянул мне большой фирменный конверт журнала «Среднее животноводство» со стилизованной буренкой в уголке.

— Под псевдонимом? — уточнил я.

— Конечно! — конспиративно облизнулся он. — «Автандил Гургенов».

— Хорошо, — одобрил я. — Но только вы понимаете, что об этом никто знать не должен? Никто!

— Это исключено! Я лучше откушу себе язык...

26. ИЗНАСИЛОВАНИЕ НАДЕЖДЫ

Забрав статью и размышляя, чем же Любин-Любченко будет облизываться, если откусит себе язык, я направился к буфету — выпить кофе. По пути я просто утомился принимать бесконечные поздравления от встречных писателей, точно я был счастливым родителем скрипичного вундеркинда, выигравшего международный конкурс. Еще в холле меня перехватил и отвел в сторону Иван Давидович: оказывается, он терпеливо ждал за колонной, пока я закончу разговаривать с Любиным-Любченко. Взяв меня под локоток, он жарко зашептал, что ни на минуту не переставал верить в победу и чрезвычайно горд своим непосредственным участием в мировом триумфе Акашина! И как раз теперь настало время ненавязчиво довести до общественного сознания, кто конкретно в заснеженной сибирской деревне Щимыти дал жизнь будущему лауреату Бейкеровской премии. Ирискин даже посоветовал издать роман на Западе под настоящей фамилией Виктора, не изуродованной невежественным председателем Щимытинского сельсовета, что, в сущности, явится простым восстановлением исторической справедливости.

— Вы полагаете?

— Конечно. В противном случае западная критика может просто не понять масштабы его дарования!

— Трансцендентально!

— Ничего тут трансцендентального, дружок («двужок»),

нет! Только так можно противостоять мировому черносотенству. Вы меня понимаете?

— Скорее да, чем нет...

— Славненько! Пусть эта крыса («квыса») Медноструев захлебнется своей желчью!

— Амбивалентно, — кивнул я.

— И еще я хотел посоветоваться. На днях наше письмо напечатает. Мы очень хотим, чтобы под этим письмом стояла подпись и нового лауреата Бейкеровской премии! Вы меня понимаете?

— Вестимо.

— Не возражаете?

— Отнюдь!

— А вы стали чем-то похожи на вашего друга, — прощаясь, заметил Ирискин.

— Трудно быть рядом с гением и не попасть под его влияние, — объяснил я.

Медноструев, бодрый и совершенно не собирающийся захлебываться собственной желчью, перехватил меня чуть позже — уже на подходе к ресторану.

— Как мы их с тобой сделали! — гаркнул он, хрястнув меня по спине, будто кувалдой. — Ничего, пусть русский дух понюхают! Пусть эта сволочь Ирискин с горя мацой подавится...

— Амбивалентно, — кивнул я.

— Кстати, а как его отчество-то, Виктора нашего?

— Семенович...

— Отлично! Так и подпишем: Акашин В. С., лауреат Бейкеровской премии...

— Что — подпишете?

— Как — что! Наше открытое письмо «Окстись, русский народ!». Или мы зря в приемной у Горынина ночевали?! Пусть все знают, какие люди болеют за державу! Одобряешь?

— Скорее да, чем нет...

— А ты-то сам у нас крещеный? — вдруг насторожился Медноструев.

— Вы меня об этом спрашиваете?

— Не обижайся! Сам понимаешь, все куплено Сионом! Ну, бывай... — Он дружески бухнул меня кулаком в спину и ушел.

Буквально на пороге ресторана я был перехвачен Свиридоновым. После изматывающих предисловий он пригласил Витька и меня к своей дочери на день рождения, специально перенесенный на неделю, учитывая отсутствие Акашина:

— Придете?

— Скорее да... но...

— Не надо «но»... Я хочу поближе познакомить Виктора с моей дочерью. Она знает три языка!

— Но он в некотором роде женат.

— Это не имеет значения...

Кстати, о языках! Поучительная история произошла впоследствии с Недвижимцем. Он в свое время окончил сельскую школу, где иностранный язык по причинам бездорожья и удручающей удаленности от очагов культуры вообще почти не преподавали, если не считать уроков школьного завхоза, которого в конце

войны немцы угнали на работу в Германию, но подросшие наши на полпути отбили и вернули домой. Так вот, Недвижимец, даже разбогатев, долго не мог жениться, потому что непременно хотел взять девушку, в совершенстве владеющую одним из европейских языков, предпочтительно английским. Он даже сваху за большие деньги нанял — и та все же нашла. Девушка была так себе, не первой свежести, но окончила спецшколу, стажировалась за границей и на языке Шекспира щебетала, как птаха. Первое время Недвижимец был положительно счастлив. Но потом стал замечать за своей женой разные странности: то она засмеется невпопад, то яичницу на сметане поджарит... Решил навести справки и выяснил: спецшколу она действительно окончила, но спецшкола эта была особенная, единственная в Москве, где применялась уникальная методика обучения иностранным языкам детей с дефектами умственного развития. Ума она, правда, не прибавляла, но совершенное знание иностранных языков обеспечивала. А жена Недвижимца чуднела день ото дня. Тут как раз начались гайдаровские реформы, и она, увидав в телевизоре какого-нибудь министра-реформатора, хлопала в ладоши, пускала пузыри и кричала: «А я с ним в одной школе училась!..» Недвижимец хотел было развестись, да куда там — она уже забрюхатела. Сначала он очень переживал, особенно за будущего ребенка беспокоился, но потом рассудил: если после окончания этой спецшколы люди аж до министров выросли, то что, собственно, беспокоиться...

Но я снова забежал вперед. Лет на шесть.

...Отвязавшись от Свиридонова и зайдя в ресторан, я сразу же попал в пьяные объятия Закусонского.

— Спасибо, старь! — пробормотал он и благодарно боднул меня в плечо.

— За что?

— Как это за что! Моя статья про нашего Виктора признана лучшей! Мне заказали целый цикл. Времена-то, сам знаешь, какие наступают! Литературе вроде как вольную дают... Теперь люди с моим уровнем критического мышления на вес золота будут! Выпьешь со мной?

— Нет, спасибо, угости лучше Геру!

В тот день, как мне потом рассказали, Гера не обходил столики, а впервые весь вечер просидел с Закусонским, обстоятельно беседуя и периодически в знак совпадения эстетических воззрений крепко с ним обнимаясь. Кто же мог подумать, что это сидение сыграет решающую роль в судьбах отечественной словесности!

Не успел я присесть за свободный столик, как ко мне подпорхнула Надюха:

— Обедать или поправляться?

— Обедать.

— Борщ сегодня хороший.

Я посмотрел на Надюху — глаза у нее были нежные и заплаканные. Вероятно, под влиянием подлой «амораловки» со мной произошло что-то странное: я посмотрел на Надюху совсем не так, как обычно, не как на знакомую официантку, которая если и вызывает у тебя нежные чувства, то обычно ты уже находишься в

том состоянии, когда объятия становятся единственным способом передвижения в направлении дома и уже абсолютно равнозначно, кого обнимать для устойчивости — женщину, фонарный столб или милиционера. Я же взглянул на Надюху иначе, впервые обратив внимание, что под ее платьем прерывисто дышит грудь, что талия у нее тонкая, а бедра, напротив, многообещающе тяжелые: накрашенные губы призывно трепещут, а напудренные ноздри раздуваются. И все это на фоне больших заплаканных глаз! Я вдруг со сладким предчувствием остро осознал себя всеограждающим орудием мести, каковым эта брошенная женщина должна воспользоваться, и воспользоваться сегодня, прямо сейчас! А что? В шахматах это называется «размен фигур». Я еще раз оценивающе посмотрел на Надюху: фигура у нее недурственная!

— Скучаешь? — сочувственно спросил я.

— С чего это?

— Улетел твой Витек.

— Вот еще... Я и думать о нем забыла!

— Тогда я записку порву.

— Какую записку?

— Он просил передать. Перед отлетом.

— Давай! — потребовала она с напряженным равнодушием.

— Дома оставил...

— Врешь!

— Писатели, Надюха, не врут, а сочиняют, но я в данном конкретном случае говорю правду: дома забыл.

— Принеси!

— Завтра.

— Сегодня.

— Что я тебе, почтальон, что ли? Это мне надо домой пехать, потом сюда возвращаться. Потом опять домой. У меня без этого дел по горло! — умело нагнетал я.

— Я пойду с тобой!

— Ты же на работе.

— Я сейчас отпрошусь. На час...

— Отпрашивайся на два. Час будешь над запиской рыдать.

Если б какая-нибудь женщина ко мне относилась так, как ты к Акашину, я бы ее на руках носил — из ванной в постель... — вполне искренне сказал я.

— Ты серьезно? — Надюха вдруг посмотрела на меня с особенностью.

Наверное, я тоже в этот миг предстал перед нею не как заурядный ресторанный жмот, вместо чаевых дающий официантке поощрительный шлепок по тому месту, куда свисают завязки форменного передничка, но как вполне определенный мужчина!

— Конечно, серьезно! — воодушевился я. — Небось этот чальщик-лауреат никогда и не говорил, что из-за такой шеи, как у тебя, в девятнадцатом веке мужчины стрелялись!

Надюха зарделась и поправила цепочку с сердечком на груди, заходившей вдруг под платьем, как просыпающийся вулкан.

— Не говорил..

— А то, что у тебя глаза, как у Ники Самофракийской, он тебе говорил?

— Не-ет! Он вообще в этом деле неразговорчивый... был...

— Вот! А ты из-за него плачешь! Одна твоя слеза стоит дороже, чем карат якутских алмазов...

Понятно, что такую засахарившуюся, но безотказно действующую на женщин лезть можно расточать, только находясь в состоянии неуправляемой целеустремленности, но как раз в таком состоянии под влиянием «амораловки» я и находился...

— Я сейчас! — хрипло сказала Надюха и убежала отпрашиваться.

— Ну что ж, Витек, — очень тихо и все-таки вслух проговорил я, глядя ей вслед, — сплетемся рогами, сиамский мой друг!

...Я набросился на Надюху прямо в прихожей. От нее пахло общепитовскими пережаренными котлетами и дешевыми восьмимартовскими духами, но именно это меня сегодня и возбуждало.

— Подожди! Дай мне раздеться... — неуверенно отбивалась она, стараясь снять плащик.

— Я тебя сам раздену! — задыхался я.

— Ты что? Я не это хотела...

— А я хочу это!

— Где записка? — допытывалась она, выворачиваясь из моих объятий. — Я сейчас уйду...

— Ах, записка! Вот она! — Я достал мелко сложенную бумажку из кармана пиджака.

— Значит, врал, что она у тебя дома! — нахмурилась Надюха.

— Конечно, врал! Конечно, врал, но чтобы остаться с тобой наедине.

— Ну, мудрец!.. С хреном сушеным ты наедине останешься, а не со мной! Думаешь, если я подносы таскаю, так с каждым всяким? Я без любви не могу... Давай записку, мудрило!

Обычно любая ненормативная лексика в женских устах повергает меня в совершенно беспомощное разочарование, но только не сегодня. Надюхина грубость взбудрила меня до мелкой вибрации.

— Поцелуй! — приказал я.

— Кого?

— Меня!

— Не будет этого!

— Тогда рву! — И я сделал движение, будто хочу разорвать бумажку в клочки.

— Ладно, — поколебавшись, кивнула Надюха и тыльной стороной ладони стерла помаду с губ.

Ее поцелуй, поначалу невинно-сестринский, затягивался... Кроме того, Надюха, очевидно, предпочитала острую пищу с большим количеством чеснока — и это просто разбудило во мне зверя, хотя обычно малейший чесночный фактор мгновенно превращает меня из плотоядника в жалкого вегетарианца. Прервав лобзание, Надюха нащупала мою руку и попыталась перехватить записку, при этом, стараясь как бы вырваться, она повернулась ко мне спиной. Тогда я поцеловал ее в шею, в то место, где

начинаются волосы, она охнула и чуть приослабла. А я, наращивая инициативу, просунул руки под ее блузку и наивно попытался уместить в моих горстях ее груди с холодными, как собачьи носы, сосками. Надюха сопротивлялась, слабея буквально на глазах от вампирского поцелуя в шею и от того, что зажатая в моих пальцах бумажка нежно царапала ей кожу...

— Что ты делаешь? Что-о ты делаешь! — все беззащитнее бормотала она, все поощрительнее отталкивая мои руки.

За тысячи лет общения с мужчинами женщины выработали особый тайный язык, в котором обычные слова приобрели совершенно иной смысл, помимо прочего подсказывающий нападающему последовательность действий и сигнализирующий, что пора от предварительных ласк (их на военный манер можно сравнить с артподготовкой) переходить к глубоким рейдам в расположение противника. По моим многолетним наблюдениям, словосочетание «Что ты делаешь?» — означает: приготовиться к броску на бруствер. А сказанные следом слова типа «глупый», «глупенький», «дурачок» и т. д. — я, не задумываясь, смело уподоблю сигналу к атаке.

— Что ты делаешь, глупый?..

И я бросил свой полк правой руки на вражий дзот, не встретив никакого сопротивления, потому что противник сосредоточил все свои усилия на моей левой руке, обладавшей гораздо меньшими оперативными возможностями по причине зажатой в ней записки. В результате важнейшие штабные документы, содержавшие, как выяснилось впоследствии, стратегическую информацию, оказались у почти уже капитулировавшей Надюхи. Но я даже не обратил внимания на этот факт, прикидывая, как ловчее перенести дальнейшие боевые действия из прихожей на диван: твердой уверенности, что у меня хватит сил перенести Надюху в комнату на руках, как я ей самонадеянно пообещал, не было... Я на всякий случай стал нежно подталкивать податливую гостью в сторону дивана, но вдруг ее трепещущее тело заоченело, и мне сразу показалось, что я обнимаю гипсовую пловчиху. Я прервал поцелуй, глянул через ее плечо и увидел развернутую записку. В ней была всего одна строка:

СКОРЕЕ ДА, ЧЕМ НЕТ. ВИТЕК.

— Порви! — приказал я, энергично прочесывая окрестности захваченного дзота.

— Отпусти! — низким ненавидящим голосом потребовала Надюха.

— Не отпущу!

— Отпусти, сволочь!

— Никогда!

— Отпу-устишь!

Надюха резким движением вырвалась из моего захвата, а когда я попытался удержать ее за плечи, гипсовой дланью, привыкшей таскать уставленные тарелками подносы, бухнула мне в ухо так, что я отлетел к стене.

— За что?

— За все! Еще хочешь? — спросила она, оправляя юбку.

— Вполне достаточно! — ответил я, держась за щеку.

...Когда она удалилась, хлопнув дверью так, что где-нибудь в несчастной сейсмической Японии могло начаться землетрясение, я осознал свое полное поражение: любые военные действия бессмысленны, если противник обладает ядерным оружием. Я потер рукой зашибленное место и почувствовал исходящий от ладони запах упущенной победы... И тут раздался звонок в дверь.

«Интересно, — подумал я, — неужели она меня еще и мазохистом считает?»

На всякий случай не отпирая, я спросил через дверь:

— Ну, что тебе еще?

— А вы разве гостей не ждете? — донесся голос Софи Лорен.

Господи, я и забыл про телефонистку! Впрочем, все правильно: мужской порыв — это слишком редкий и ценный вид энергии, чтобы Мировой разум дал ему так вот попусту улетучиться в пространство. Я отдернул шеколду.

— Вот и я! — проворковала она, заполняя прихожую.

Боже праведный! Конечно, я догадывался, что за все мои грехи, грешки и прегрешения однажды буду строго наказан. Но даже в самых кошмарных видениях я и не чаял, что возмездие выльется в такие чудовищные формы...

27. ПОЧЕМУ Я ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРЕМИИ

Утром, одиноко лежа в постели, напоминающей артиллерийскую воронку, я поймал себя на том, что теперь-то понимаю, почему согласно статистическим опросам женщины, подвергшиеся сексуальной агрессии, требуют для насильников исключительно высшей меры наказания, причем некоторые даже предлагают возродить такие средневековые способы умерщвления, как: четвертование, колесование и поджаривание на медленном огне.

Зазвонил телефон.

— Ты жив, пузик? — спросил голос Софи Лорен.

— Пока еще не понял. Лежу...

— Поспи! Ты должен хорошенько отдохнуть, мой могучий мышонок!

Она повесила трубку.

Страх и трепет перед неизбежным можно притупить только работой. У меня была еще слабая надежда, что такое однобокое воздействие «амораловки» связано с моими переживаниями последних дней. Я решил выбросить из головы все лишнее, полностью сосредоточившись на «главненьком». Вместо утреннего кофе я выпил «амораловки», вместо двенадцатичасового чая — еще, вместо обеденного компота — опять... От постоянно задерживаемого дыхания у меня заломило в груди, но в голову ничего, кроме убогих, как эротический сон хлебопашца, фантазий не лезло. Я даже не смог сочинить первую фразу. Тогда я решил позвонить в Красноярск Арнольду. Выслушав мои туманные претензии к его продукции, он обиженно спросил:

— Так что тебя не устраивает? Не взводит, что ли?

— Нет, взводит, конечно, но от первой бутылки был еще, как бы это выразиться, побочный эффект...

— Изжога?

— Нет, не изжога. — Дальше юлить было бесполезно. — Наоборот, очень хорошо писалось!

— Значит, ты тоже заметил! А я-то все голову ломал: случайное совпадение или на самом деле! Понимаешь, я как раз кооператив регистрировал, документацию оформлял, думал, неделя уйдет... Махнул рюмочку — и представляешь, все бумажки за одну ночь нашарашил: устав, протоколы — целый ворох... А ты?

— То же самое! — сознался я. — Всю халтуру за несколько дней раскидал...

— Значит, так и есть! — посерьезнел Арнольд. — То-то я смотрю: послал пузырек братишке в армию... Ему скоро домой, а там, сам знаешь, ребятам бром, чтоб не дичали, дают. Думал, пусть паренек восстановится, а то еще осрамится на «гражданке»! Что ж ты думаешь! Бугаина за два года матери трех писем не прислал, а тут ну буквально завалил, по два конверта в день, да по десять страниц в каждом... Знаешь, описывает, как в карауле стоит, звездочки считает! А мы все с мамашей головы ломали, с чего бы это! Теперь ясно...

— А не осталось больше той «амораловки»? — заискивающе спросил я.

— Не-ет... Кончилась. Мы ведь тогда еще неопытные были, по старинке из одного рога литра три делали, а теперь — усовершенствовались: литров двадцать у нас выходит... Автоматика! А главное, те рога особенные были, списанные из краеведческого музея. Они там лет сорок провисели... Я так думаю, в этом — секрет, как у скрипок Страдивари! Знаешь, из какой доски самые лучшие скрипки выходят?

— Из какой?

— Из гробовой...

Я вздрогнул.

— Так что пиши уж в натуральную! А то вы там в Москве сами не знаете, чего бы вам уж и придумать! — не без ехидства сказал Арнольд. — Как там наш Витек-то?

— В Нью-Йорк улетел — премию получать.

— Говорят, еще и на горынинской дочке женился?

— Скорее да, чем нет...

— Эх, надо было вам со Жгутом на меня спорить... Как я сразу не допер!

— Это точно. Ты бы так, как он, со мной не поступил...

Тут в трубке зашелестело — и в наш разговор вторгся голос Софи Лорен:

— Пузик, ты извини... А чего на ужин купить — рыбки или мяска?

— Я на ночь не ем.

— Нет, ты должен есть! Иначе ослабнешь! — настаивала она.

— Хорошо, купи что хочешь.

Шелест прекратился.

— Кто это? — спросил Арнольд.

— Эриния.

— Странное имя. Но ты все равно не теряйся! Если что — я тебе еще «амораловки» подошлю!

А ночью, затаившись в отрогах моей новой подруги, я слушал ее рассказ о том, что я не первый, кто заинтересовался ее голосом, но, как правило, при визуальном знакомстве соискатели терялись и оказывались абсолютно ни на что не годны, и я — единственный, кто оказался настоящим мужчиной не только по телефону! Правда, у нее оставались сомнения, ибо истосковавшийся представитель сильного пола иногда способен на одноразовый подвиг. У нее имелся печальный опыт с одним хозяйственником, освобожденным по амнистии... (Ты не ревнуешь, пузик? — Как можно!) И вот теперь, при повторном свидании, она убедилась, что я именно тот мужчина, кого она ждала всю жизнь. И она никому меня не отдаст, пусть даже ей придется передумать всех соперниц, как куриц! Об «амораловке» я рассказывать ей не стал. Зачем? В конце концов каждая женщина хотя бы раз в жизни имеет право на счастливое заблуждение...

Я уснул, и мне снился голос Софи Лорен, который по-садиistically жестоко душил хриплый, предсмертно захлебывающийся голос Анки...

Рано утром, часов в пять, меня разбудили длинные телефонные звонки.

— Аллю, — слабосильно ответил я.

На том конце провода послышались звуки борьбы, сопровождаемые криками: «Дай я ему скажу!» «Нет, я...» Наконец мембрана содрогнулась от гневного рева Николая Николаевича:

— Ты что же, гад, делаешь? Да мы тебя за это...

Ответить я не успел, потому что трубка перешла к идеологу Журавленко. Его бешенство было отлито в холодную аппаратную бронзу:

— Вы, надеюсь, любезный, понимаете, чем грозит вам эта мистификация?

Но и ему я ответить не смог, потому что трубка оказалась у Сергея Леонидовича:

— Ты знаешь, что содержание порносалона на суде могут приравнять к содержанию притона? А если еще найдут наркотики... А их обязательно найдут! Я тебе обещаю!

— А мне все равно! — равнодушно сказал я.

— Как это все равно? Ты знаешь, что в зоне тебя в первую же ночь зэки «петухом» заделают? Будешь кукарекать, предатель!

Я посмотрел на эсхатологически зашевелившуюся во сне телефонистку и ответил:

— Мне теперь уже все равно...

— Как это все равно?

— А вот так, — отозвался я, почти исчезая под ее сонно-шарящей лаской.

— А что же нам делать? — растерялся Сергей Леонидович.

— Не знаю... Вы же сами сказали, что я вам больше не нужен. Выпутьвайтесь...

— Но это же международный скандал! Издатель рукопись тре-

бует. Мы пока сказали, что по ошибке в папку чистые листы положили... Где роман?

— Не знаю. Я все экземпляры вам отдал...

— Мы в Москву звонили, во всех папках — чистая бумага!

— Выходит, вы с Горыниным чистую бумагу читали и нахваливали?

— Что ты, бляхопрядильная фабрика, к частностям цепляешься, тут надо престиж державы спасать! В Бейкеровском комитете все тоже на ушах стоят, говорят, если мы не объяснимся, они отменят свое решение и присудят премию этому венгру!..

— Они ему тоже не читая присудят? — желчно спросил я.

Тут трубка снова перешла в руки Журавленко:

— Я бы на вашем месте не задерживал внимание на тактических мелочах, а сосредоточился на стратегических проблемах!

— Например?

— Далеко за примером ходить не надо! Вы поймите, Венгрия — самое слабое звено социалистического лагеря. Может произойти катастрофа. Венгерская интеллигенция и так уже мелко обуржуазилась! Присуждение этой премии венгерскому диссиденту может полностью разбалансировать ситуацию...

В мембране вдруг опять забился Николай Николаевич:

— Я тебя удавлю! Что ж ты, гад, мне резаную бумагу подсунул?! Ты же знаешь, мне читать некогда, я с вашими матпомощами и автомобилями с утра до ночи, как белка в колесе... Придеешь еще ко мне за матпомощью — я тебе выпишу!

И снова мне был голос Сергея Леонидовича:

— Где роман?

— А вы у лауреата спросите! — ехидно посоветовал я.

— Запил твой лауреат! И потом, он ничего объяснить не может — повторяет, как попугай: «Трансцендентально» — и ржет! А чуть нажмешь на него, хамит: «Не варите козла!» Где роман спрягал, я тебя спрашиваю именем закона!

— А не было никакого романа! Я все это придумал...

— Что-о?.. Зачем?

— На спор... Я поспорил с одним мужиком, что могу из любого лимитчика всемирно известного писателя сделать.

— С каким мужиком?

— Неважно. Я отвечаю за все.

— Ответишь! — растерянно пригрозил Сергей Леонидович.

Воцарилось молчание. Это была победа. Я наказал их всех. Это была моя премия, настоящая, громадная, неизбывная, по сравнению с которой все эти нобелевско-бейкеровские цапки — хлопушки с искусственной елки. А последствия меня уже не волновали...

И вдруг в трубке возник нежный живой голос Анки:

— Ты это сделал, чтобы отомстить мне?

— Скорее да, чем нет...

— У тебя очень хорошо получилось. Талантливо. Я себя никогда еще такой дурой не чувствовала! Это лучшее твоё произведение! Главенькое. Умри, лучше не сочинишь...

— Не сочиню, — вздохнув, согласился я и покосился на лунно поблескивавшую в серванте бутылку бесплодной «амораловки».

— А знаешь, я на вручение такое платье себе купила — совершенно белое с малиновым поясом...

— Тебе идет белое.

— А он и в самом деле — просто чальщик?

— Да.

— Неужели ты не мог хотя бы слов тридцать в него запихнуть?

С ним же поговорить не о чем. Помнишь, как мы с тобой целыми ночами разговаривали... Ты мне стихи читал!

— Помню.

— А помнишь, как ты мне звонил и дышал в трубку?

— Вестимо. Но это было потом, когда все кончилось...

— Глупенький! Кто тебе сказал, что все кончилось? Все только начинается... Я возвращаюсь с войны! Хватит. Штык — в землю!

— Правда?

— Я тебя когда-нибудь обманывала?

— Всегда.

— Да, в самом деле... Но я не тебя обманывала, я обманывала себя! Но ты тоже меня обманул. Мы квиты. Давай теперь начнем с чистого листа...

Трубка неожиданно перешла к Николаю Николаевичу:

— С какого, на хрен, чистого листа? — заголосил он. — У нас тут целая папка чистых листов! Сколько можно?!

Потом я снова услышал ласкающий голос Анки:

— Папа нервничает — его можно понять! Если его выгонят с работы, это — катастрофа: книги писать он давно разучился... Нам просто будет не на что жить! Я буду голодать... Ты хочешь, чтоб я голодала?

— Хорошо! — внезапно согласился я. — С чистого — так с чистого... Возьми бумагу и ручку!

— Взяла.

— Теперь пиши заголовок: Автандил Гургуен «Табулизм, или Конец литературы». Написала?

В трубке раздался заинтересованный голос Сергея Леонидовича:

— Это какой еще Гургуен? Любин-Любченко, что ли?

— Не твое дело!

— Как это не мое? Как раз — мое.

— Я сейчас передумаю! — пообещал я.

Ситуацию смягчила Анка:

— А знаешь, — вздохнув, сказала она, — я тут все время тебя вспоминаю...

— Как?

— Неужели забыл — как...

— Нет, не забыл...

На глаза у меня навернулись теплые слезы и я сказал:

— Записывай! С абзаца: «По справедливому замечанию Готфрида Бенну, написание поэтической строки — это перенесение вещей в мир непостижимого. Но если от неведомого образа мы продвинемся дальше, в область невидимого, то, несомненно, должны вспомнить знаменитую «черную соль» алхимиков! Хотя, по мнению Юнга...» Написала? Хорошо, буду диктовать медленнее...

Когда я закончил диктовку, рыжее утреннее солнце уже просу-
нуло свои щекочущие тараканьи усики в мое окно.

— Спасибо! — сказала Анка. — Ты — друг. Я тебя целую. Пока!
Это был ее последний поцелуй. Даже не воздушный — теле-
фонный...

28. ЭПИЛОГ НА НЕБЕСАХ

1.

Я тоскливо глянул в иллюминатор: мы неслись сквозь рваный
молочный туман. Самолетное крыло, точно гусиной кожей, было
покрыто бесчисленными стальными заклепками и такими же бес-
численными крупными каплями воды, отличающимися от закле-
пок только чуть заметным дрожанием. Внизу, под накренив-
шимся и трепещущим крылом, виднелась бурая с желтыми отме-
лями лужа Химкинского водохранилища, там, как спички, пла-
вали лодки. Дело шло к развязке: самолет круто заходил на
посадку. Я чувствовал, что развязка будет страшной. Как изме-
нился Витек за те годы, что мы не виделись! Может, он стал
киллером? А не виделись мы с ним с того самого момента, как
простились в Шереметьево-2. Вскоре мне пришлось бежать из
Москвы, ибо мою судьбу неодолимой поступью тиранозавра
перешла Ужасная Дама. Каждый вечер с сумкой, набитой про-
дуктами, она вторгалась в мою квартиру, ставила кастрюли и
сковородки сразу на четыре конфорки, а потом на сытый желудок
начинались ночные кошмары. Я предпринял робкую попытку
расстаться, но она предупредила, что будет бороться за нашу
любовь: убьет сначала меня, а потом и себя. Сперва я хотел согла-
ситься даже на это, но, вообразив, что могут подумать милиция и
понятые, когда обнаружат мой вполне достойный мужской труп
рядом с ее обескураживающим телом, передумал. Впрочем, все же
надо было что-то делать: одна бутылка «амораловки» уже кончи-
лась — и в скором времени мне предстояло просто испепелиться в
клокочущем кратере ее термоядерной женской нежности...

Спасение пришло, как это часто случается, неожиданно: за
готовым переводом поэмы «Весенние ручьи созидания» ко мне
заехал Эчигельдыев, его как раз вызывали в Москву на всесоюз-
ное совещание заведующих отделами агитации и пропаганды
райкомов партии, чтобы разъяснить, зачем это вдруг в централь-
ной печати появилось сразу несколько открытых писательских
писем и что значит слово «плюрализм». Он приехал ко мне прямо
с совещания, прочитал перевод, похвалил, а потом сказал, что в
связи с грядущими внезапными революционными переменами, о
чем их предупредили на совещании, поэму нужно полностью
переписать. Я начал было уклоняться, но он вдруг пригласил
меня в Семиюртинск — погостить: «Я буду сочинять, а ты сразу
же переводить! Жить будешь при мне. У меня в саду есть сакля...»
Я согласился при одном условии: выезд сегодня же!

Затем я дозвонился Жгутовичу и объяснил, что уезжаю на
месячишко-другой, а в целях укрепления его семейного счастья
оставляю ему ключи от квартиры, которую он, регулярно оплачи-
вая коммунальные услуги, может использовать по прямому наз-

начению. Однако, к моему несказанному удивлению, Стас отказался, сообщив, что у него теперь совсем нет времени, он готовится к таинству посвящения, а сверх того, мастер стула дал ему одно очень ответственное вступительное поручение!

— Значит, ты их нашел? — воскликнул я. — Ну и скрытная же ты свинья!

— Кого нашел? — спохватился он омерзительно таинственным голосом.

— Не придуривайся! Тех, про кого в энциклопедии написано! — инсказательно молвил я, ибо моя Ужасная Дама с голосом Софи Лорен взяла моду, пользуясь служебным положением, подключаться к телефонным разговорам и прослушивать их на предмет обнаружения соперниц.

— В какой энциклопедии? — девственно изумился Жгутувич.

— Может, ты и про наш спор, и про Витьку Акашина ничего не знаешь?

— Акашин? Спор? Ты о чем?..

— Ах ты морда масонская! — рявкнул я и бросил трубку.

Ключи я оставил соседям, пообещав аккуратно переводить деньги и позванивать. Забегая вперед, скажу, что соседи регулярно сообщали мне в Семиюртинск про какую-то неопишуемую женщину, которая каждый вечер после работы приходит с полными сумками, сидит на ступеньках перед моей дверью и рыдает так, что в доме осыпается штукатурка. Боже, почему у постоянства также неженское лицо?!

В Семиюртинске я поселился в садовом домике. Эчигельдыев был моей работой доволен и, чтоб я не отвлекался попусту, прикрепил ко мне одну из своих исполнительных секретарш по имени Эчигельд. Будучи девушкой местной, она все делала исключительно на корточках, но особенно ей удавались душистые пресные лепешки.

О происходящих в столице событиях я узнавал в основном из газет и по телевизору. Однажды по радио «Свобода», которое в Семиюртинске ловилось даже лучше, чем в Москве, я выяснил, что Бейкеровский комитет все-таки издал роман «В чашу» с предисловием Автандила Гургенова, и книга имела просто немыслимый успех. По результатам всеамериканского анкетирования, 98 процентов школьников и 84 процента студентов на вопрос, какую книгу они прочитали в текущем году, назвали роман о Перестройке Виктора Акашина «В чашу». Внезапно к роману пришел и грандиозный коммерческий успех: знаменитая рок-певица Авемария в нашумевшем телевизионном интервью, которое она давала лежа в постели и не прекращая заниматься любовью с ударником своего ансамбля, сообщила, что записывает новые кулинарные рецепты на чистых страницах нашумевшего акашинского романа. Американцы — сущие дети рекламы, и на следующий день тысячи домохозяек стали вести летопись своей кухонной деятельности исключительно в роскошно изданных томиках романа-лауреата. Бейкеровцам пришлось срочно выбрасывать на рынок дополнительный тираж с красочными надпечатками на суперобложках: «Для мясных рецептов», «Для рыбных рецептов», «Вегетарианские рецепты»... Витек мог бы стать мил-

лионером, но в те времена все гонорары, причитающиеся советским авторам, издающимся за рубежом, прикарманивало государство.

Позже дошли слухи, что из Нью-Йорка Акашин воротился один-одинешенек: Анка его бросила, заключила контракт с «Плейбоем» на цикл фотографий и осталась в Америке. Я сначала не поверил, но потом Эчигельдыев привез из Москвы свежий номер «Плейбоя». На обложке красовалась яркая фотография обнаженной Анки, полузавернувшейся в красный флаг. В руках у нее был автомат Калашникова, а на запястье — до боли знакомые «командирские» часы. И броская подпись: «Miss Peregroika». О снимках, помещенных внутри журнала, мне просто больно вспоминать...

Кстати, Эчигельдыев вернулся из Москвы радостно-озабоченный, сообщил, что готовятся просто революционные подвижки, и, значит, поэма требует коренной переработки. Я засопrotивлялся, сослался на тоску по дому, но он поцокал языком, хитро улыбнулся и прикрепил ко мне еще одну секретаршу, помоложе... Вскоре его назначили первым секретарем Кумырского райкома партии, времени у него совсем не стало, и творческие инструкции я теперь получал от его младших братьев — второго и третьего секретарей райкома.

Между тем из Москвы продолжали приходиться разнообразные вести. Соседи сообщали, что странная женщина продолжает являться каждый вечер, и на той ступеньке, где она сидит, обливаясь слезами, выгесалось уже приличное углубление. Удивительные события произошли с Чурменяевым — об этом писали все газеты. Дважды не получив премию Бейкера, он пошел на крайность: ночью, вооружившись заступом, автор романа «Женщина в кресле» отправился на Перепискинское кладбище, чтобы выкопать из могилы останки своего рубаки-деда и торжественно сжечь их в дачном мангале, таким вот диким образом демонстрируя всему цивилизованному миру в целом и Бейкеровскому комитету в частности окончательный разрыв с тоталитарным прошлым своего рода! Его поймали уже волокущим кости на дачу, смирили и отправили в психиатрическую больницу, где он теперь отказывается есть что-либо другое, кроме хрустящего заокеанского хлеба, который ему специально доставляют из американского посольства.

Еще более невероятная история приключилась с Медноструевым и Ирискиным. Воспользовавшись гласностью, они наконец-то смогли опубликовать каждый свой труд: первый — «Тьму», второй — «Темноту». И тут разразился жуткий скандал. Дело в том, что в последний момент Ирискин вставил в книгу список русских писателей еврейского происхождения. Причем фамилии талантливых литераторов, внесших наибольший вклад в российскую словесность, он обозначил жирным шрифтом, менее талантливых — полужирным, а тех, кто так себе, — обыкновенным. Медноструев, у которого, если помните, тоже в книге был список, тут же подал на него в суд за плагиат, ибо, как это ни странно, оба списка до смешного совпадали не только пофамильно, но и даже в шрифтовом смысле. Был громкий процесс, освещавшийся всеми

средствами массовой информации, плагиат Ирискина был доказан, и на этом основании суд дал Медноструеву три года принудительных работ за разжигание межнациональной розни. Однако этим дело не закончилось: непредвиденные неприятности начались у Ирискина. Писатели, набранные жирным шрифтом, правда, отнеслись к его выходке вполне терпеливо. Но полужирные перестали с ним здороваться. Те же, которые так себе, несколько раз неблагоприятно били несчастного Ивана Давидовича по цэдэловским закуткам. Оскорбленный Ирискин заявил, что в этой стране жить больше не может, и эмигрировал на историческую родину, в Израиль, где поначалу у него складывалось все очень неплохо: ему дали хорошую пенсию, квартиру. Но вот однажды, листая в тель-авивской публичке свежий «Огонек», он наткнулся на статью «Тайна гибели командарма Тятин», где доказывалось, что секретного агента НКВД, внедренного в охрану командарма, звали не Давыд и тем более не Давид, а Давит и что, по некоторым сведениям, происходил он из семьи бедного-пребедного мусульманина. Как только советская власть пришла на берег его родного арыка, пытливый и статный юноша создал одну из первых комсомольских ячеек и возглавил движение срывателей паранджи. После того, как хваткий черноглазый красавец Давит неудачно сорвал паранджу с молоденькой жены одного бая и чудом ушел от погони, его, заботясь о кадрах, забрали в «центр», в НКВД. Вот так он и оказался в автомобиле, в котором сидели командарм Тятин и нарком Первомайский, возвращавшиеся с тайного совещания на даче маршала Тухачевского. Ситуация тем более туманная, что в секретном архиве обнаружено два письма. В первом нарком Первомайский обвиняет командарма Тятин в тайных связях с Японией. Во втором командарм Тятин обвиняет в том же самом наркома Первомайского. И оба обвиняют Давита в связях с Турцией.

Узнав все это, Ирискин выступил с гневными разоблачениями антиарабской политики Тель-Авива, сочинил монографию «Халдейская правда», где подло доказывал, будто арабы имеют гораздо больше исторических прав на Святую землю, нежели сами евреи, и в конце концов даже записался в подпольную фундаменталистскую организацию, подговаривавшую неуравновешенных палестинских мальчишек швырять камни в израильских солдат. Организацию разоблачили, и Ирискин получил приличный срок. Это обстоятельство внезапно примирило двух старых антиподов. Поговаривали, что теперь Ирискин и Медноструев стали дружить тюрьмами, обмениваться длинными письмами и в конце концов сошлись на евразийской идее...

Проскочила и небольшая информация о Костожогове: Горбачев хотел призвать его под знамена нового мышления и даже послал в Цаплино представительную делегацию во главе с Журавленко, но строптивый учитель спустил на них собаку. С тех пор Костожогова оставили в покое.

Отчудил и Одуев. В разгар гласности он шумно раскололся, издав знаменитую книгу «Вербное воскресенье» — ее тоже привез из Москвы Эчительдыев. Одуев писал, как его вербовали, как он закладывал своих друзей, а те тоже, в свою очередь, будучи сексо-

тами, закладывали его, как все они делали вид, будто ничего этого не знают и, сойдясь на маленьких московских кухнях, от души ругали проклятых коммуняк, а потом, разъехавшись по домам, строчили друг на друга доносы — каждый своему куратору, лично он — улыбочивому майору КГБ Сергею Леонидовичу, постоянно стрелявшему у своих осведомителей деньги до зарплаты. Вскоре Одуев стал сопредседателем Всероссийского фонда интеллектуальных жертв тоталитаризма. Но я его не осуждаю: жить-то надо, тем более что его бросила молоденькая жена Настя, оставив ему в отместку двоих детей.

Но совершенно уж невообразимо попал в историю Жгутувич. Об этом с удивлением рассказывал даже привыкший к восходящим потокам судьбы Эчигельдыев. После подавления знаменитого лебединого путча в августе 91-го года к магазину «Книжная находка» подъехала черная «Волга» со шторками. Стаса вызвали из-за прилавка, и на свое рабочее место он больше не вернулся, ибо буквально на следующий день возглавил Министерство книжной торговли. Однажды он во главе представительной делегации прилетал в Семиюртинск на торжественную презентацию первого кумырско-английского словаря, в составлении которого я тоже принимал пильное участие, и тепло кивнул мне из президиума. На банкете же охрана меня к нему не подпустила, а потом его куда-то увезли срывать паранджу.

В Семиюртинске я провел восемь лет, готовя шестнадцатитомное собрание сочинений Эчигельдыева. После того, как был завершен десятый том, классик, ставший между делом уже президентом Кумырской республики, подарил мне третью секретаршу. К тому времени у меня было уже четверо детей и свой большой дом прямо на берегу арыка имени Тамерлана, но жить становилось все труднее. Национальное самосознание местного населения окрепло настолько, что на базаре меня стали называть русской свиньей и не давали сдачи... К тому времени в Семиюртинске просверлили первую нефтяную скважину (кто ж знал, что она окажется последней?), и кумырский министр иностранных дел, средний сын Эчигельдыева от старшей жены, позволил себе мерзкую расистскую выходку в отношении министра иностранных дел России. Запахло вооруженным конфликтом. Мои секретарши, которых родственники обещали побить камнями за то, что они живут с иноверцем, убежали от меня, забрав детей. Я понял, что нужно сматываться. К счастью, от соседей поступили обнадеживающие сведения: угрожающая женщина впервые за несколько лет не появилась с сумками перед дверью моей квартиры, и они беспокоятся, не случилось ли с ней что-нибудь недоброе.

Опять-таки забегая вперед, сообщу, что сегодня Эчигельдыев — президент, премьер-министр, министр культуры, генеральный прокурор, председатель парламента и Верховный главнокомандующий вооруженными силами суверенной Кумырской республики. Однако среди государственных забот и бесконечных встреч на высшем уровне с президентами США, Франции, Великобритании и т. д. он не забрасывает поэзию и даже написал поэму «Весенние ручьи суверенитета», где гневно бичует жестокость и подлость русских людей, которые, прожив бок о бок с

кумырами триста лет, только в середине XX века под давлением мирового сообщества были вынуждены наконец-то придумать для них письменность... Со временем отношения Москвы и Семиюртинска наладились, был подписан договор о дружбе и ненападении. Перед самым моим вылетом на Сицилию Эчигельдыев, будучи в Москве и хлопоча о поставках в Кумырскую республику истребителей МИГ-29, заезжал ко мне и просил по старой дружбе перевести поэму за хорошее вознаграждение. Но я, несмотря на то, что был, как вы помните, в трудном материальном положении, прочитав подстрочник, ответил: всего золотого запаса Кумырской республики не хватит, чтобы выслать мне гонорар. Он обиделся, обозвал меня русским фашистом и уехал на своем черном бронированном «линкольне»...

2.

Дождливой ночью, нелегально перейдя кумырско-российскую границу с узелком и пишущей машинкой, я сел на поезд, шедший в Москву, и среди прочего газетного хлама купил у проводника популярный эротический еженедельник «Взасос», где обнаружил вдруг фотографию моей Ужасной Дамы и узнал, что она стала абсолютной победительницей международного конкурса «Дюймовочка»: потрясенное жюри под председательством известного поэта Одуева присудило ей первое место, а менеджер знаменитого американского «Monster show» заключил с ней двухлетний контракт на мировое турне...

Столица в самое сердце поразила меня обилием нищих и «мерседесов». В моей квартире лежал такой толстый слой пыли, что пыль стала похожа на пушистый тополиный пух. Стоявшая в кухонном шкафу непочатая бутылка «амораловки», из тех двух, что мне прислал когда-то Арнольд, вообще напоминала древнюю емкость из доисторического винного погреба. Я бросил свои скудные пожитки и первым делом заспешил в Дом литераторов, как блудный сынишка, припасть к милосердным коленам родной словесности и как-то раздобыть хотя бы немного денег.

В приемной Горынина ничего не изменилось. Строгая Мария Павловна, с трудом узнав меня, долго не хотела пускать к начальнику, ссылаясь на его крутой нрав и нелюбовь к посетителям, но в конце концов сжалилась. В горынинском кабинете за знаменитым столом-«саркофагом» сидел обходчик Гера, одетый в умопомрачительно дорогой костюм. На стене висела большая фотография: на башне танка стоит президент Ельцин, а чуть ниже, преданно поддерживая его за ноги, — сам Гера и идеолог Журавленко.

— Что вам угодно? — спросил он, глядя мне в лоб.

Я представился, что не возымело никакого действия, и вкратце обрисовал свою безрадостную финансовую ситуацию, тонко намекая на его собственный жизненный опыт, позволяющий понять, как глубоко страдает человек в минуты абсолютного безденежья. Гера посмотрел на меня с недоумением энтолога, поймавшего восьминогую таракана. Потом молча достал из стола какой-то список и стал неторопливо листать.

— В списках споспешествовавших одолению тоталитаризма не значитесь! — наконец молвил он.

— Как же не споспешествовал! — взмолился я. — А скандал в прямом эфире?

— Какой скандал?

— Ну, как же? С него же все и началось! Вспомните: Виктор Акашин. Роман «В чашу»!

— Действительно, что-то такое было... — сказав это, он икнул, дотянулся до холодильника и достал покрытую инеем банку пива «Туборг».

— А где Маяковский? — растерянно спросил я.

— Какой такой Маяковский?

— Там в холодильнике раньше голова была...

— Да, наличествовала... Теперь нет. На коктейли пустили... Вы вот что — соблаговолите зайти к Свиридонову. Там и христорадничайте!

Я выскочил из кабинета как ошпаренный и столкнулся с большой делегацией писателей во главе с Перельгиным, державшим в руках страницу машинописного текста. Как я потом понял, это было знаменитое письмо «Раздавить гадину!», в котором литераторы, ссылаясь на вековые гуманистические традиции российской словесности, требовали от президента во имя укрепления демократии расстрелять парламент из пушек, а самих строптивых парламентариев развешать на фонарях вдоль Москвы-реки...

Свиридонов сидел за дверью с массивной табличкой:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОГО

ПРИЗРЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

INTERNATIONAL CENTER OF HUMANITARIAN HELP FOR WRITERS

Он после долгих поисков, измучив компьютер, наконец обнаружил мою фамилию в каком-то списке. За несколько лет моего отсутствия гуманитарной помощи набрался целый мешок: в основном это были просроченные консервы и галеты из запасов Пентагона и хлопчатобумажная майка с эмблемой Армии спасения... Выдавала гуманитарную помощь Свиридоновская дочка.

Через несколько дней в поисках заработка я попытался выйти на тех, кто некогда заказывал мне пионерские приветствия, но в бывшем Дворце пионеров располагался валютный бар со стриптизом и рулеткой, а приветствие бойскаутов очередному съезду партии «Демократическая Россия» писали совсем другие люди — молодые и нахальные. Об истории фабрик и заводов даже говорить не приходилось: там рабочие месяцами не получали зарплату, а мой любимый Шинный завод уже стал собственностью некоего Гогаладзе, получившего это предприятие вместе с его славным прошлым в обмен на вагон мелких, как фасоль, грузинских мандаринов.

На всякий случай я позвонил Одуеву. Но он рассказал мне, что Настя сбежала от него к какому-то итальянскому коммивояжеру и ему самому, чтоб прокормить двоих ребятишек, приходится писать всякую гадость, поэтому поддержать меня материально он никак не сможет, а в данную минуту очень торопится: нужно забирать младшенького из детского сада...

Тогда, одолев гордость, я решил заявиться в министерство к Жгутовичу, в знак нашей старинной дружбы преподнести ему в дар некогда выигранную у него «Масонскую энциклопедию» и попросить займы. Но оказалось, он уже не министр, а посол на Мальте и в Москве его нет. Тогда я решил продать энциклопедию за хорошие деньги, но тут выяснилось, что с тех пор она несколько раз переиздавалась и теперь пылилась в каждом газетном киоске. И тут, подобрав брошенный в урну номер «Литежа», я узнал, что возглавляет его теперь мой старый бодливый друг Закусонский. Я сел в автобус и, по пути в редакцию листая еженедельник, наткнулся на стихотворение неувядаемой Ольги Кипятковой «Насельникам Белого Дома»:

*Предателям народовластья,
Красно-коричневым скотам,
Я гневно говорю: вылазьте
Из Дома Белого! А там...*

Редакция «Литежа» располагалась все в том же здании на Сухаревке, но была теперь сильно потеснена какими-то конторами, офисами, турагентствами, а в конференц-зале обосновалась выставка-продажа сантехники. Как я понял, весь штат еженедельника теперь умещался в кабинете главного редактора, приемной и двух прилегающих к ним комнатках. Я даже заготовил забавную эпиграммушечку про пользу тесноты, но к Закусонскому меня даже не пустили, сказав, что идет редколлегия. Когда секретарша вносила в кабинет поднос, уставленный чашками и рюмками, я заглянул в приоткрывшуюся дверь и увидел в кабинете троих — самого Закусонского, растолстевшего до невероятных, прямо-таки адвокатамакаровских размеров, и Свиридоновых — маму и сыночка. Мне стало ясно, что ждать бессмысленно.

«Неужели, — думал я по дороге домой, — весь этот кошмар случился в Отечестве исключительно для того, чтобы процветали обходчики, вроде Геры, закусонские и свиридоновы? Неужели все остальные — лишние на этом празднике передовой экономической мысли? Неужели литература так же нужна рынку, как оральные контрацептивы египетской мумии?! Не может быть! Есть ведь еще и Костожогов...»

Оставалось продать часть полученных в качестве гуманитарной помощи консервов, и я по совету соседей отправился в Лужники на стадион имени Ленина, превращенный в огромный продуктово-вещевой рынок. Там я совершенно внезапно встретил Николая Николаевича Горынина. Он стоял, обвешанный гроздьями шерстяных перчаток, и кричал хорошо поставленным трибунным голосом: «Корейская ангорка! Все цвета и размеры!» Я пристроился со своими банками рядом, и мы разговорились.

Дела у него шли неплохо. Если конъюнктура не изменится, он планировал через полгода открыть собственную палатку и даже присмотрел местечко недалеко от Союза писателей. А еще Горынин радостно сообщил, что, стоя тут на воздухе, уже полностью обдумал новый роман «Прогрессивка-2», где согласно новым историческим обстоятельствам возмущенные рабочие выбрасывают ретрограда-директора в окно и объявляют завод акционерным обществом.

Я спросил его об Анке. Он помрачнел и сознался, что и сам ничего толком о ней не знает: служит она в каком-то стриптиз-балете, деньги, правда, изредка присылает. Последний раз с okazji из Эмиратов... О Витьке ничего определенного он сказать тоже не мог. Воротившись из Америки, Акашин стал каждый божий вечер напиваться в Доме литераторов, сперва на свои пил, а потом начал по столам побираться, как Гера.

— Тебя часто вспоминал! — многозначительно отметил Николай Николаевич. — Обещал за все, что ты с ним сделал, тебя удавить! Говорил, вот был чальщиком — уважали! Буянил...

Усмирить его в моменты алкогольного правдоискательства, продолжал свой рассказ Горынин, могла только официантка Надюха («Ну, помнишь, такая упругая у нас в ресторане была?»). Она утаскивала его на мойку и там охаживала мокрой тряпкой по личине. А потом на побывку из Принстона приехал Любин-Любченко — он после своего знаменитого предисловия к роману прославился, и его забрали жить и работать на Запад. Увидев Витьку, он полез, как всегда, обниматься и облизываться. Ну, Витек со словами «ненавижу Фромма и Кафку!» врезал ему. («По-нашему, по-рабоче-крестьянски!») А подлец Гера только этого и ждал: вызвал милицию и сдал Витьку на пятнадцать суток. Так он и исчез... А следом исчезла и Надюха: ее уволили. Какой-то денежный мерзавец шлепнул ее по задку, вероятно, переняв эту своеобразную жестикуляцию у кого-то из литераторов, но она была так возмущена этим чуждым прикосновением, что вылила ему на голову горячий бульон. Больше об их судьбе Николай Николаевич ничего не знал.

— А Анка? — снова спросил я.

— А что Анка... — огорчился он. — Ноги перед бедуинами задирает. Пишет: устает... Промашка с дочкой вышла. Специально полдачи многодетной семье сдал. Хоть и чужие мальцы, а все-таки бегают, иной раз по ошибке «дедой» назовут...

Рынок стал закрываться, Горынин купил у меня банку консервов — побаловать дачных кошек. Пожал мне руку и ушел. Это была единственная банка, которую мне удалось продать за целый день!

Безденежье приобрело характер хронической болезни, каковую постепенно начинаешь считать даже не болезнью, а просто деликатной особенностью своего организма. Я попытался мыть машины возле отделения «Мост-банка», но уже облюбовавшая это местечко учащаяся молодежь предупредительно меня поколотила. Охранять же автомобильную стоянку меня не взяли: там из полковников КГБ была очередь желающих. Наконец мне повезло: я устроился торговать в палатку. Несколько дней проработал нормально, даже научился обсчитывать пьяных и влюбленных покупателей. Но однажды к палатке подкатил новенький «рено», оттуда вылез роскошный мужик невнятной национальности и заявил:

— Слушай, парень, мы тут с Самедом в рулетку продулись. Он за деньгами прислал. Давай!

Самедом звали моего хозяина, и поэтому, не раздумывая, я

выгреб из кассы все деньги и отдал. А к вечеру за выручкой приехал сам Самед, и выяснилось, что никого, конечно, он за деньгами не посылал, а был это уже надоевший всей торговой Москве кидала, специализирующийся на новеньких, неопытных продавцах. Выслушав меня, Самед задумчиво почмокал, достал из кармана радиотелефон и распорядился:

— Давай сюда — есть дэло!

Через пять минут у палатки, визжа тормозами, остановилась «девятка», из которой выскочили трое здоровенных парней. Двое были одеты в джинсы, черные кожаные куртки и белые кроссовки, а третий, видимо, старший, — в кремовый, туго перетянутый в талии плащ и большие, закрывающие пол-лица очки.

— Разбэритесь! Но нэ насмэртъ! — приказал Самед и уехал.

Мужик в кремовом плаще подошел ко мне страшным шагом и смертоносным движением Абадонны снял темные очки.

— Ты? — обалдел я.

— Я... — обалдел он.

Это был Сергей Леонидович. Мы обнялись. Потом прямо в палатке выпили водки. Поговорили. Из органов, оказывается, его уволили еще в 92-м, когда вышла знаменитая книжка Одуева «Вербное воскресенье». Вообще сначала посадить хотели, но спас Тер-Иванов: все-таки не забыл, кому обязан своим сегодняшним положением! Оставшись без работы, Серега тоже долго мыкался, бедовал, пока не устроился начальником службы безопасности к Самеду. Теперь вроде ничего — дети растут. С женой все в порядке. Заезжал, между прочим, как-то из Италии художник («Ну, помнишь?»), очень благодарил за помощь в трудную минуту, написал даже в знак признательности их семейный портрет — сметаной, перемешанной с мелко порубленными пионерскими галстуками. Большая, между прочим, ценность!

— Ты, Серега, не продавай! — посоветовал я.

— Скажешь тоже! Что ж, я с культурой, что ли, не работал? Понимаю! Даже кошку пришлось теще отдать. Ну, а ты? — спросил он.

Я тоже рассказал свою историю. И, роня невольные мужские слезы в «Наполеон», изготовленный на Краковском химзаводе, мы стали вспоминать золотое время. Посмеялись. Особенно над тем, как они тогда в Нью-Йорке ошалели, выяснив, что никакого романа нет и не будет. Запивая неприятное впечатление от коньяка пивом, Серый пообещал мне дело с пропажей выручки замять, ведь обычно за такие промашки продавцов бьют, пока растрату не покроют, — один тут даже почку продал, чтоб отвязались... Рассудил, мол, все равно отобьют! Но уговорить Самеду не выгнать меня с работы Сергей Леонидович даже и обещать не стал. Сознался, что не в его компетенции. Уже настойчиво влекомый помощниками в машину, он одолжил мне тысячу двадцать — в переводе на старые деньги примерно четвертной... И тут я вспомнил то, о чем хотел спросить Леонидыча:

— Послушай, ты помнишь Костожегова?

Его лицо профессионально затрезвело.

— Был такой...

— Адрес помнишь?

— Адреса, явки, пароли... Конечно, помню. У него еще собака сердитая была!

3.

...Автобус от станции трясся по колдобистой дороге минут тридцать до села Цаплино. Нужная мне остановка так и называлась «Школа», но школы не было, был дом, одноэтажный, деревянный, очень старый, но располагалась там теперь не школа, а какой-то оптовый склад, из которого два подвыпивших мужика вытаскивали и кидали в крытую машину коробки со «сникерсами», сигаретами «Bond» и ароматизированными презервативами «Sweet love».

— А где теперь школа? — спросил я.

— А нету теперь школы... Закрыли теперь, знамо дело, школу, — ответил тот, что потрезвей.

— На хрен! — уточнил второй, тот, что попьаней.

— Почему закрыли? — поинтересовался я.

— А ребятишек нет. Не настрогали. Штук семь осталось. На станцию, знамо дело, в школу их теперь возят.

— А вяз? — спросил я. — Тут дерево большое было. К нему французы лошадей привязывали...

— Так то французы... Спилили вяз твой!

— На хрен! — уточнил тот, что попьаней.

— Вишь, машине к складу подъезжать мешал. Бензопилой — фыр-р-к — и нету!

— А учитель? Учитель тут был — Костожогов?

— Умер...

— Как умер?!

— На хрен...

— Ладно, помолчи, — цыкнул на своего напарника тот, что потрезвей. — Из тулки застрелился. Знамо дело, в сердце приставил, ботинок снял и ногой курок нажал...

— А отчего застрелился?

— А отчего стреляются? От души... Хороший человек был. Детишек, знамо дело, доучил, на каникулы отправил, чтоб не беспокоить, потом уж и стрельнулся. А в письме так и написал: в моей смерти прошу никого не винить, знамо дело, подмастерье ушел к своему мастеру... Мне участковый письмо показывал, он от него полколяски разных бумаг увез. Грамотный был учитель!

— А давно это случилось? — спросил я.

— Да уж года два как похоронили.

— А где похоронили?

— А где хоронят-то? На кладбище, знамо дело...

...На заросшем холмике не было никакого памятника, а лишь воткнутая в землю фанерная дощечка с размытой чернильной надписью, да еще уцелели измочаленные ветром и обесцвеченные непогодой остатки бумажного венка. И только вплетенные в венок аляповатые пластмассовые розы полностью сохранили свой синий цвет — яркий-преяркий. Я дал мужикам на водку и вернулся в Москву.

Спустя несколько дней, безработно сидя дома и тупо глядя бесконечную рекламу женских гигиенических прокладок, я вдруг наткнулся на передачу «Бизнесмены «круглого стола», которую вела знаменитая Стелла Шлапоберская, родоначальница гласности на телевидении. А среди сидящих за круглым столом богачей (мир тесен, как туалетная комната в блочном доме!) я неожиданно увидел одного моего давнего приятеля, точнее, мужа моей еще более давней приятельницы. Она нежно уважала меня за то, что после окончания нашего бурного романа (это было после моего развода, но еще до Анки) я в отличие от моих многочисленных предшественников не стал делать вид, будто однажды мы вместе с ней стояли в магазинной очереди, а выдал ее замуж за хорошего парня, своего знакомца, сочинявшего сказки, — тогда все что-нибудь сочиняли. Между делом, за пивом в писательском клубе, я пожаловался ему, что впервые встретил женщину, от которой не смог добиться взаимности без соответствующей отметки в паспорте. Пораженный таким реликтовым целомудрием он немедленно на ней женился, бросил сочинять сказки и стал миллионщиком! Решение, как пишут в детективных романах, созрело мгновенно. Я нашел номер ее телефона, позвонил и внезапно был приглашен на десятилетие их свадьбы, которое они отмечали через два дня в «Праге».

Это было 4 октября 1993 года, я очень хорошо запомнил тот день, потому что именно тогда сочинил первую эпиграммушечку и таким образом снова обрел свое место в полноценной жизни. Я шел с купленным на последние деньги букетом по взбудораженной Москве, и мне не было дела до солдат в касках и с автоматами, до растерянных милиционеров и плохо одетых людей, волокущих куда-то потрепанные красные флаги. Букет вышел отличный: я по дешевке набрал целую охапку белоснежных гвоздик с поломанными ножками, а завернули мне их так, что этот извинительный в моем положении дефект почти не был замечен.

За огромным столом, ломившимся от улыбчивых жареных поросят и утопающих в черной икре долготелых осетров, было много известных бизнесменов и популярных политиков. Я узнал знаменитого правозащитника Тер-Иванова и даже постарался поймать его взгляд, но он сделал вид, что мы с ним не знакомы. А может, и в самом деле забыл о моем существовании. Сначала говорили витиеватые тосты, а потом кто-то остроумный предложил не тратить времени на разговоры, а поднимать бокалы после каждого заппа: с Краснопресненской набережной доносилась глухая канонада — танки как раз начали обстреливать Белый дом... Идея понравилась. И когда между залпами образовывалась слишком пространная пауза, гости сердились, нервничали и роптали на нерасторопность танкистов... Наконец канонада и вовсе прекратилась.

Как потом выяснилось, именно в это время депутатов с поднятыми руками выводили из парламента и пинками заталкивали в автобусы. А рядовых оборонцев утаскивали на Краснопресненский стадион — истязать и приканчивать...

Вдруг кто-то пьяным голосом заорал «горько!», призывая десятилетнюю пару слиться в супружеском лобзании. Но предложение

не прошло, видно, за десять лет брачные ласки юбилярам приелись, как икра одному из гостей, специально для себя заказавшему у официантов порцию гречневой каши с котлетами — главную пищу его прежнего инженерного существования... Тогда, воспользовавшись заминкой, я встал и попросил внимания, решив прочитать мою первую эпиграммушечку, сочиненную прямо тут же, на салфетке. Зал взорвался аплодисментами. Счастливым муж все-таки сорвал поцелуй у своей уворачивающейся жены, а из-за стола резво вскочил мой будущий покровитель Недвижимец и крикнул:

— Еще!

Приободренный, я стал вспоминать разные эпиграммы и прочие рифмованные глупости, которыми балуются любые литераторы в своем незамысловатом быту, и только отдельные проходимцы выдают их за шедевры контекстуальной поэзии. Весь остаток юбилейного вечера я выступал «на бис». Женщинам особенно понравилось мое двустишие «Предостережение старому холостяку». При этом жены толкали своих обленившихся спутников жизни в бока и бросали на них взгляды, полные лукавой тоски по не востребуемым супружеским объятьям. Мужчины же высоко оценили другое мое четверостишие, называвшееся «За что?»:

*Женщины любят мужчин —
Не за высокий чин
И не за банковский счет,
А кое за что еще...*

98

Теперь уже мужчины поглядывали на своих дам с тем чувством превосходства, которое неизменно заставляет женщину страдать от комплекса кастрации, открытого Фрейдом, и остро ощущать драму своей природной незавершенности. Пьяненький Недвижимец даже заплакал и сказал, что я гений. Честно говоря, я не придавал этой похвале никакого значения: в нашем литературном мире принято спяну давать самые неожиданные оценки товарищам по перу, а наутро даже не помнить об этом, но вдруг мне стали позванивать и приглашать на разные вечеринки — почитать эпиграммушки. Конечно, я не отказывался, имея возможность наесться на несколько дней вперед и даже перехватить немного деньжат.

Постепенно у меня сложился круг благодетелей. Однако счастье мое было недолговечным. Началось с пустяка: на выходе из бани застрелили одного моего благодетеля — банкира. Потом взорвали вместе с роскошным «ягуаром» другого — владельца сети закусовых, где из-под прилавка можно было купить хорошую маковую соломку. Наконец, из гранатомета угодили в праздничный стол, за которым отдыхали сразу несколько моих клиентов, в тот день по счастливой случайности до меня не дозвонившихся. А тут еще лопнуло АО ДДД. Снова замаячила нищета. И вдруг, как вы уже знаете, объявился выздоровевший Недвижимец и пригласил меня на Сицилию. Это было спасение! Кто ж знал, что на обратном пути я встречу Акашина и спасенье обернется гибелью?!

Самолет ткнулся колесами в посадочную полосу, промчался, встряхиваясь на бетонных стыках, остановился, а потом медленно пополз за автомобилем с надписью «Следуйте за мной». Я дотерпел, пока стюардесса открыла люк, и, подхватив чемоданчик, рванул сразу за деловито покидавшим самолет командиром экипажа. У дверей аэропорта на меня набросилась с предложениями услуг целая орава похожих на головорезов таксистов. Не торгуясь, я вскочил в первую же машину. И, кажется, оторвался...

Но вскоре сзади послышались бешеные сигналы. С нами поравнялась «Волга» цвета заветрившегося майонеза, а из окна чуть не по пояс высунулся Витек — он что-то орал, размахивая руками. Мой водитель затормозил. Я кубарем скатился в кювет и дернул к видневшейся на горизонте березовой роще. За спиной раздался скрежет тормозов и крик Акашина:

— Стой, козел! Все равно не уйдешь!

Я бежал, рассекая грудью высокую зацепистую пшеницу, проваливаясь ногами в невидимые борозды и с ужасом понимая, что далеко не уйду... Вдруг, споткнувшись, я кувырком полетел на землю. И подниматься уже не стал. Лежал, уткнувшись лицом в прощально пахнущую землю, и, закрыв голову руками, зажмурившись, ждал конца. Вскоре послышался жуткий треск сминаемых колосьев, потом приближающийся топот, и, наконец, — тяжелое, прерывистое дыхание нависло надо мной.

— Говорил тебе — не уйдешь! — констатировал Акашин, ткнув меня в бок ботинком. — Вставай, падаль!

— Не встану! Бей так!

— За что же мне тебя бить?

— Сам знаешь.

— Ага, значит, все-таки было!

Снова послышался шелест растревоженных хлебов — к Витьку подошел еще кто-то. «Может, таксист?» — с отчаянной надеждой подумал я и приоткрыл глаз: рядом с акашинскими башмачищами виднелись женские лаковые туфли, запорошенные седой пылью и еще какими-то мельчайшими семенами с зацепочками на концах.

— Отвечай, гад, что было! — страшным голосом приказал Витек.

— Да говорю же тебе — ничего не было! — возразила женщина.

Этот голос я хорошо знал.

— Врешь! — заревел Акашин.

— Лучше молчи, гулявый, а то я сейчас тебе все вспомню!

— Ладно, заткнись! — примирительно молвил Витек. — Пусть немного помандражирует, чтоб над живыми людьми больше опытов не ставил! Лысенко долбаный... Я из-за него чуть не спился!

— Да ну тебя! Если б не он — мы бы с тобой вообще не познакомились!

— Это верно! Ты посмотри: может, он от страха коньки откинул?

Ласковая женская рука нашла мое ухо и потянула вверх.

— Вставай, не бойся!

Я поднялся. Рядом с Витьком стояла улыбающаяся Надюха. Она чуть пополнила и была одета в самое дорогое платье, какое только можно купить в самом дешевом итальянском магазине. Мне показалось, что от нее веет все тем же неистребимым запахом пережаренных котлет, слегка облагороженным дуновением французского парфюма.

— Ты извини! — сказала она. — Я когда тебя в самолете увидела, то сдуру рассказала своему, как ты меня тогда с запиской хотел охмурить... Для смеху рассказала, а он вскобенился! Ревнивый как не знаю что...

— Так ничего же не было! — встрепенулся я.

— И я ему говорила: не было. А он завелся! Характер в свекровь — сволочужный. А вообще-то он по тебе скучал!

— Извини, — улыбнулся Акашин. — Погорячился... Я по тебе точно скучал!

— Обоюдно, — сознался я.

— Амбивалентно-о-о! — заржал Акашин и крепко обнял меня.

В Москву мы въехали на их машине, а по пути они, перебивая друг друга, рассказали о том, что с ними произошло за эти годы. Оказывается, когда Витек совсем уж бессмысленно запил и воротился к своим мытищинским пивным друзьям, Надюха его пожалела, простила и приняла к себе: бабка-то ее к тому времени уже померла. Сначала просто так жили, по старой памяти, но когда наметился ребенок, потребовала: женись! Надюха списалась с Анкой через московскую редакцию «Плейбоя», разыскала ее где-то на гастролях в Аргентине, и та по факсу прислала согласие на развод, очень при этом удивившись самому факту своего замужества, о чем она давно уже и забыла.

— Адрес у тебя остался? — живо спросил я.

— Какой там адрес!.. «Хотэл», вроде «Бабилон»...

Потом случилось вот что: когда стали в квартире ремонт делать, нашли бабкин узелок, а там фотокарточки старинные и документы. Бабулька-то из купчих происходила. Оказалась в узелке и купчая на дом, приобретенный купцом Несмолкаевым в 1907 году у дворянской вдовы Бекатовой... А тут как раз собственность, отнятую после революции, начали людям возвращать, правда, с большой неохотой. Но Надюха дошла аж до самого Журавленко и добила его! Так Акашины внезапно стали домовладельцами. Надюха хотела открыть пizzeria с кондитерской «Сластена», а Витек — пивной бар с рулеткой «Счастливая фишка». Собственно, весь остаток дороги они ругались, доказывая друг другу выгоды каждый своего плана. За спорами и доехали. На прощание Надюха взмолилась:

— Что же делать? Придумай что-нибудь! Если ты даже из моего дурака писателя сделал, неужели ничего не придумаешь?

— Если придумаю, позвоню! — пообещал я.

...У подъезда моего дома пенсионерки, сидевшие на скамеечке и обстоятельно обсуждавшие упадок дворовых нравов, завидев меня, хором зашептали, что ко мне уже третий день ходит какая-то женщина и в настоящий момент она сидит на ступеньках возле моей двери. Приехали! Сначала я хотел удрать. Куда угодно: в

суверенный Семиюртинск — переводить поэму Эчигельдыева «Весенние ручьи суверенитета» или назад на Сицилию — мыть тарелки вместе со знатоком Габриэля Д. Анунцио. Но потом, поколебавшись, решил, что навсегда от моей Ужасной Дамы с голосом Софи Лорен не спрячешься, она ведь и в Италии на меня может набрести со своим «Monster show», поэтому надо наконец объясниться, а там будь что будет! И я решительно вошел в подъезд, хранящий запахи седой кошачьей истории.

На лестничной площадке, прислонившись к перилам, стояла Анка. Она была одета в длинное черное платье с глухим воротом, а волосы были гладко зачесаны назад и собраны в сиротливый пучок. И ни следа косметики, что сообщало ее лицу нежно-беззащитное выражение.

— Здравствуй! — тихо сказала она, даже не вздрогнув от моего появления.

— Здравствуй! — ответил я, почувствовав в сердце теплое неудобство.

— Я вернулась.

— Вижу...

— Я устала.

— Надолго?

— Навсегда.

Мы вошли в квартиру, пахнущую забытым перед отъездом на столе хлебом. Было полутемно, я включил свет, и первое, что бросилось мне в глаза, — пятно на обоях, по форме похожее на Апеннинский полуостров.

— Иди ко мне! — попросила она. — У меня есть для тебя подарок.

Я подошел.

— Какой?

Она достала из сумочки часы, все те же «командирские», некогда очень модные, а теперь выглядевшие трогательно устаревшими, новым был только блестящий металлический браслет. Она застегнула его на моем запястье, потом, порывшись в сумочке, извлекла оттуда крошечный ключик, вставила его в скважину на браслете и повернула.

— Это и есть твой подарок?

— Нет.

Она подошла к окну, распахнула форточку и выбросила ключик:

— Вот!

— Мне никто никогда в жизни не делал таких дорогих подарков! Даже не знаю, чем тебя отдарить!

— Чем может мужчина отдарить женщину? Только любовью. Отвернись, пожалуйста, я разденусь...

Я отвернулся, услышал нежное потрескивание снимаемого платья и пошел на кухню. Там я открыл шкафчик и нашел запывающуюся бутылку «амораловки», которую так и не вскрывал. Ну в самом деле: чем такой idiotский мужчина, как я, может отдарить такую замечательную женщину, как она? «Амораловка» от многолетнего хранения загустела, стала похожа на сироп, но по вкусу напоминала водку, куда уронили кусочек селедки иваси...

Когда я вернулся, Анка уже успела застелить диван индийским бельем и лежала, до горла укрывшись одеялом. Глаза у нее были крепко зажмурены, как у отличницы, целующейся на переменке с хулиганом-старшеклассником...

А под утро мне приснился сон. Удивительный. Двухэтажный дом Акашиных — это уже не дом, а огромный светящийся огнями ресторан со странным названием «У ЗАСТОЯ». К ресторану подкатывают машины, в основном почему-то рыдванистые «Чайки» с розовыми шторками на окнах. У подъезда их встречают швейцары, одетые в военную форму с голубыми габэшными петлицами, а распоряжается всем Сергей Леонидович. Внутри ресторан оформлен темно-малиновыми бархатными портьерами, державно-золоченой лепниной, праздничными кумачовыми лозунгами. Играет, сияя медью, военный духовой оркестр. Тут же стоят похожие на мойдодыров пивные автоматы времен моей студенческой юности. На светящихся стеклышках надписи: «Ячменный колос. 165 граммов — 15 копеек». Одета в шерстяной с люрексовой отделкой костюм Надюха, строгая, как смотрительница женской тюрьмы, проводит гостей в зал мимо киоска «Союзпечать», где Николай Николаевич, нацепив все свои правительственные награды и лауреатские значки, продает пожелтевшие газеты, бюстики вождей, ордена и значки со щемящей советской символикой. Слева — игорный зал, где крупье, точно массовики-затейники из профсоюзного дома отдыха, внимательно следят за тем, как гости режутся в огромные, величиной с кегли, шахматы, набрасывают обручи на пштыри и бегают наперегонки в мешках... Руководит всем этим радостный Витек.

Потом оркестр раздражается чем-то бравурно-советским, и на сцене появляется Анка. Она полузавернута в красное шелковое полотнище. Публика, затаив дыхание, следит за тем, как в танце сквозь трепещущий кумач мелькает, словно саламандра в огне, ее нагое, гибкое, бессовестное тело. Наконец резким движением она сбрасывает с себя красный шелк и швыряет полотнище в зал. Несколько мгновений Анка стоит совершенно обнаженная, холодная и недоступная, как мраморная весталка. Потом, опустив голову, медленно уходит за кулисы. Обезумевшие гости рвут красный флаг в клочки — на сувениры...

И тогда на сцену поднимаюсь я. Останавливаюсь, внимательно вглядываясь в зал. Там много знакомых лиц: многозначительный Гера, толстый Закусонский, облизывающийся Любин-Любченко, бдительная семья Свиридоновых в полном составе, Жгутувич со своей чопорной, как все послыхи, женой, чинный Эчигельдыев, Чурменяев с безумным блеском в очах, пьяно обнявшиеся Медноструев и Ирискин, неувядаемая Кипяткова, знаменитая Шлапоберская, Одуев с двумя детьми, хмурый Тер-Иванов, жизнерадостный Арнольд в шапке из рыси. Настя рассказывает обо мне что-то своему новому мужу — щуплому итальянчику. Из правительственного закутка поблескивает очками Журавленко...

— Эпиграммусечку! — кричат они. — Даешь эмиграммусечку!!

Я успокаивающе киваю, набираю в легкие воздух и вдруг с ужасом чувствую, что не помню ни одной. Только что помнил и

вдруг забыл. Совсем! Я пытаюсь сочинить что-нибудь с ходу: раньше ведь получалось. Я даже сочиняю: «Унесенный свежим ветром, стал я ресторанным мэтром...» Конечно, не Бог вещь что, но для экспромта сгодится. Я воодушевляюсь, хочу прочесть вслух, но тут же забываю и эту эпиграммашечку. Не помню ничего... На лбу выступает холодный пот, я беспомощно озираюсь. Прикрываясь портьерным плюшем, из-за кулис выглядывает обнаженная Анка и, беззвучно шевеля губами, пытается мне что-то подсказать, но я ничего не могу разобрать. Витек, прибежавший из игорного зала, тоже начинает мне делать знаки — сначала показывает «рожки», а потом сокрушенно — два больших пальца... Бесплезно: я ничего не понимаю и от бессилия начинаю плакать. Навзрыд. Я плачу, размазывая едкие, как купорос, слезы по лицу... Я хочу уснуть, умереть, исчезнуть, чтоб не видеть своего позора...

Я просыпаюсь. Подушка под моей щекой совершенно мокрая. Но жалкого, слезливого беспамьяства уже нет — есть то веселое всесилие, которое не посещало меня с тех самых пор, как закончилась та, первая, вдохновенная бутылка «амораловки». Осторожно, чтоб не потревожить свернувшуюся калачиком Анку, я встаю с дивана и бегу на кухню. Дрожащими от нетерпения руками хватаю со стола бумагу — это страницы моей дурацкой повести о вампире-партократе. Ничего, можно писать на обратной стороне... Потом начинаю судорожно искать «Эрику», но тут соображаю, что она разбита. Ерунда! Ищу что-нибудь, чем можно записать. У меня появляется чувство, будто роман я уже когда-то написал, а потом сжег рукопись и сейчас мне просто нужно его вспомнить... Я вспомню! Сегодня надо только начать, а потом махнуть в Перепискино, к Горынину на дачу, и работать, работать, пока не кончится «амораловка». Думаю, ее хватит. Должно хватить!

— Ты что? — вскидывается спросонья Анка.

— Ничего. Все хорошо. Спи!

...Нахожу обмусоленный огрызок карандаша. Бегу на кухню. Сажусь перед чистым листом бумаги, глубоко, по-йоговски вздыхаю и сразу же узнаю ее — первую фразу моего долгожданного «главненького». Да, главненького, главного... Женщина, которую любишь, и книга, которую пишешь, — что может быть главней? И я начинаю писать, нет, не писать, а какими-то только мне понятными каракулями прищипливать к бумаге выпорхнувшую из тьмы памяти на огонек лучезарного вдохновения живую, трепещущую, как пойманная бабочка, первую фразу романа:

«Самолет набрал высоту и теперь натужно гудел, точно обожравшийся нектаром шмель, волокущий свое мохнатое тело к скрытой в разнотравье заветной норке... «Разнотравье» — плохо. В траве... Да, просто в траве!»

К О Н Е Ц

ЧИТАТЕЛЬ • «СМЕНА» • ЧИТАТЕЛЬ

Хочу рассказать читателям «Смены», как маленькая европейская страна помогает белорусским детям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной станции.

Узнав о тяжких последствиях чернобыльской катастрофы, многие жители Бельгии сразу же откликнулись на страшную беду и предложили помощь. Сначала это был, конечно, только искренний душевный порыв, без точного знания, какое требуется лечение, каковы затраты; но тем не менее больницы были готовы принять малышей, а семьи — предоставить жилье и взять на себя расходы.

Ежегодно каждая семья вносит около 340 долларов на так называемые текущие нужды (страховка, визы и т. д.). Плюс — около 200 долларов на одного ребенка. И это, конечно, не считая чисто семейных трат на маленьких гостей из Белоруссии.

Город наш небольшой, многие знают друг друга. Может, поэтому проблемы, связанные с приемом белорусских ребят, решились достаточно быстро, без формальных проволочек. А проблем этих, надо сказать, было немало: размещение, транспорт, финансы... Теперь у нас действует целое движение — «Фландрия

помогает детям Чернобыля». И уже не первое лето приезжают к нам, в Брансхаат, мальчики и девочки из Минска, Речицы и других городов Белой Руси.

Каждый раз приезд их — событие для города. Вот на центральной площади останавливается большой автобус. Мы видим в окнах бледных светловолосых ребятишек; как робко, выжидательно смотрят они на нас: что ждет их здесь, вдали от дома, на незнакомой земле?

Честное слово, сердце сжимается от жалости к ним; душа замирает, как подумаешь, что выпало на их долю!

Ребят сразу забирают по семьям — все, разумеется, спланировано заранее, — сажают в машины и увозят «домой». С этого момента для них начинается непривычная, интересная жизнь. Но, конечно, самое главное, самое сильное желание для всех нас — за два месяца подлечить белорусских ребятишек, дать силы для борьбы с роковыми последствиями радиации. В семейной атмосфере чуткости, заботы, ласки ребята быстро оттаивают, перестают смущаться и, подружившись со сверстниками, замечательно проводят каникулы — игры, футбол, купание в бассейнах, катание на велосипе-

дах, поездки по стране на машине всей семьей...

Провожая ребят домой, многие из нас плачут, но это светлые слезы... А уж о подарках и приглашениях — говорить нечего. Я знаю одну семью — Хендрике (у них четверо детей), у которой два летних месяца прекрасно отдохнул Гена, а его двоюродная сестра Вика прибыла в Бельгию впервые, и Геннадий приехал встретить ее и приободрить.

Андрей приезжает в одну семью третий раз — этого мальчика знают все соседи, у него много друзей в городе, он разговаривает по-фламандски, играет в футбол и чувствует себя здесь как дома.

Многие из тех, кто принимает ребятнишек, уже подружились с их родителями, ездят в Белоруссию. Они, естественно, оказывают и материальную помощь, понимая, что сейчас одеть и обуть ребенка чрезвычайно дорого и не всегда под силу родителям. (Кстати, помогает белорусским друзьям весь город: по телевидению неоднократно рассказывали о чернобыльской беде и пострадавших детях; сам бургомистр обращался к жителям с просьбой о помощи, и в Белоруссию активисты движения «Фландрия помогает детям Чернобыля» отправляют посылки с продуктами, одеждой, медикаментами...)

...В годы Великой Отечественной войны я в числе многих была увезена в Германию, пережила много горя, но это отдельная тема (к счастью, я встретила в плену с молодым бельгийцем, моим будущим мужем...), поэтому-то я особенно ценю искреннюю, бескорыстную помощь, которую бельгийские граждане оказывают моим соотечественникам.

Я уверена, что Бог слышит слова благодарности и признательности матерей из Белой Руси гражданам Фландрии — за бескорыстную, сердечную помощь их детям.

АЛЕКСАНДРА АНИСИМОВА,
г. Брансхаат, Бельгия

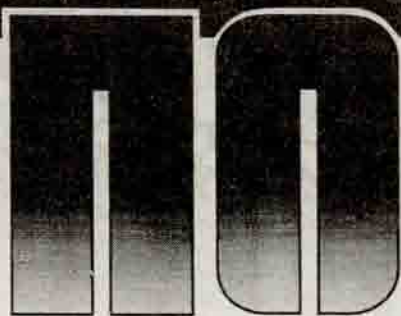
Рошаль — город в двухстах километрах и пяти часах езды от Москвы. Здесь — двадцать три тысячи жителей, химический комбинат...

Частные домики; двухэтажные бараки; стандартные пятиэтажки; Дом культуры сталинской поры и еще один ДК времен перестройки — недостроенный; индустриальный техникум; больница... И в центре, на площади, как «ось» города, — заводоуправление химкомби-

определяют истинное лицо России. Ведь их, «городов-заводов», или, говоря официальным языком, «городов с одним градообразующим предприятием», в стране около двух тысяч. Есть небольшие, подобные Рошалью, а есть и гиганты: Норильск, Тольятти, Воркута... И живет в них, по некоторым оценкам, примерно 40 миллионов россиян. А если прибавить города, получившиеся, как Каменск-Уральский, Комсомольск-на-Амуре, Шатура, от



СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ



Город-завод как зеркало

ната. В скольких подобных городках мне довелось побывать, и как они похожи один на другой!

Закроешь глаза и не вспомнишь, где начинается уральский Качканар и кончается Коряжма, что в Архангельской области; где затерянный в пермских лесах Соликамск, а где Светогорск, построенный на границе с Финляндией... И не суетная Москва, не величавый Питер, а прежде всего они, эти городки,

слияния двух-трех-четырех фабричных поселков, станет ясно: половина страны нашей такая, как город Рошаль; пол-России живет, как рошалыцы...

**Сперва — труба,
потом — барак**

Матрос Рошаль никогда в Рошале не был. И даже не знал о суще-

ствовании этого городка. Приехали сюда, на пороховой завод, в 1918 году балтфлотцы из революционного Кронштадта и предложили назвать поселок при заводе именем своего товарища, Григория Рошаль. (Григорий Семенович Рошаль был первым секретарем Кронштадтского горкома РКП(б) и пал, 27 лет от роду, в далеком румынском городе Яссы, где он устанавливал советскую власть...)

До того жил поселок безымян-

здесь потухшее во время гражданской производств. На субботниках трудился рядом с рабочими, а вечерами устраивал танцы и сам играл на гармонии... Здесь, в Рошале, инженер Найман разработал способ получения пороха из древесной целлюлозы (раньше порох делали из хлопка) — это сэкономило Родине огромные средства. Исааку Марковичу Найману в 1946 году присудили Сталинскую премию. В Рошале другой инженер —



РОЖ

русской реформации

ным. Еще в 1913-м были здесь лишь болота да леса да стояла избушка лесника. Был брод, помеченный на дереве крестом, и называлась местность поэтически: Крестов Брод. Но война — первая, империалистическая — подступала, и в 1914 году стали возводить пороховой завод, а в 1916-м он дал первую продукцию. Появился завод — и вырос поселок при нем.

Первый «красный директор» Афанасий Косяков налаживал

В. В. Шнегас — создал специальный порох для реактивных снарядов: не полетели бы без него «кастюши». Этого изобретателя государство отблагодарило своеобразно: в 1937 году он погиб в застенках НКВД...

Методы социалистической индустриализации можно осуждать. Можно ею восхищаться. Но никто, наверное, не станет спорить, что во многом благодаря строительству городков-заводов, подобных Роша-

лю, получила наша страна развитую промышленность, в основном военную.

По-моему, отмечая 50-летие Победы, не открыли ни одного памятника труженикам тыла. Я бы предложил такой: две женщины, изможденные, в телогрейках, пилят двуручной пилой ель — на дрова, на целлюлозу, на листовки, на порох... Танки фашистские подмяла та ель!

Или другой сюжет для мемориала: где-то за Уралом, под открытым небом, под дождем, монтируют Инженер и Рабочий эвакуированный станок. (Так Алтайский и Челябинский тракторные родились — и еще десятки заводов!) Рошальский комбинат тоже чуть было не начал свою новую жизнь на Урале. На семнадцать эшелонов погрузили оборудование и людей, отправили в Свердловскую область, в город Реш. Едва стали разгружать станки — пришел новый приказ: фашистов от Москвы отбили, можно возвращаться... Вернулись.

Но из тысячи мужчин и мальчиков, отправившихся из Рошала на фронт, не пришло домой девятьсот...

После победы в Рошале военную продукцию продолжали делать и на мирные рельсы переходили. Семь новых цехов построили. На торжественных собраниях вручали грамоты и ордена, ставил свои спектакли народный театр (первая премьера — 1925 год, последняя — 1987-й...). Кого в Рошале ни спросишь — здесь он родился, и отец, и мама у него отсюда, и бабушка, и дед...

Все витки и зигзаги отечественной истории повторяли малые города. Сколько их появилось в послевоенные годы! Усть-Илимск, Байкальск, Новый Уренгой, Саяногорск...

Рассказывают, что Байкальск (и

одноименный целлюлозно-бумажный комбинат) построили у «славного моря» не только затем, что для производства сверхчистая байкальская вода нужна, но и потому, что места вокруг красивые, начальству отдыхать-рыбачить приятно. Говорят, по тем же причинам воздвигли крупнейший в Европе Приокский завод цветных металлов именно в Касимове. А возникновение Братской, Красноярской, Саяно-Шушенской, Усть-Илимской ГЭС (и, как следствие, энергоемких алюминиевых и целлюлозно-бумажных заводов-гигантов неподалеку и, значит, многих малых городов) знающие люди объясняют так: в шестидесятые годы у Минэнерго высвободились после строительства волжских каскадов рабочие и техника, надо было их чем-то занять...

Плохая ли, хорошая, а в том, как города-заводы возникали, была своя система, логика, воля. А нынче, когда они, эти поселения, переживают далеко не лучшие времена, власть имущие относятся к ним... никак. О них забыли.

Бедность

— Мы живем в умирающем городе, — говорил мне о Рошале не один его житель.

Говорили обычно с грустной полуулыбкой — так называет самого себя «умирающим» безнадежно больной человек. Задержки зарплаты стали обыденностью. Деньги, заработанные трудно, честно, стали вроде лотерейного выигрыша. «Дадут? Не дадут? Когда? Сколько?» Прошлой осенью в Рошале каждому платили по десять тысяч еженедельно. (Этого хватало на семь буханок хлеба, кило макарон и три пакетика концентрированного супа.) Декабрьский заработок не дали и в марте,

зато январский заплатили в феврале...

Зарплату (особенно бюджетникам) вовремя нынче не дают повсеместно. 36 500 предприятий России имеют долги перед своими работниками. Общая сумма этой задолженности исчислялась в апреле нынешнего года в 5 триллионов 687 миллиардов рублей. Если пересчитать на одного среднестатистического работника, получится около ста тысяч. Но где вы видели среднестатистического? Все тяготы ложатся на плечи рабочих, мастеров, инженеров среднего звена... Кто-нибудь слышал, что зарплату задержали в министерстве? Или что некий директор в знак солидарности со своими рабочими отказался получить деньги? Нет, те, кто занимает просторные кабинеты, имеют свое вовремя и сполна.

Нет средств на счету предприятия — говорят тем, кто свое, заработанное, требует. Прошлой осенью (как раз, когда в Рoshале 10 тысяч в неделю платили) в Московской области совокупный объем неплатежей составлял около восьмисот миллиардов рублей. А на счетах подмосковных предприятий в коммерческих банках было в это же самое время 1,2 триллиона!..

Как тут не вспомнить судьбу средств, выделенных правительством, чтобы выплатить зарплату доведенным до отчаяния горнякам Приморья? 18 миллиардов до них никак не могли добраться в течение нескольких месяцев: деньги «крутили», наживая немалые суммы, коммерческие банки...

У Рoshальского химкомбината тоже счет пуст. Долгов свыше 30 миллиардов. Объяснения стандартны: «Правительство ни рубля не выделило на конверсию. Нам надо было законсервировать оборонные цеха. Нужно было занять тех, кто из них высвобождался: почти треть работающих. Значит, ор-

ганизовывать новые производства. Необходимо законсервированную «оборонку» в порядке содержать — машины смазывать, здания штукатурить... На все это из заводского кармана миллиарды ушли и уходят. К тому же потребители за продукцию не рассчитываются вовремя. Приходилось, чтобы сырье купить и зарплату платить, кредиты брать в коммерческих банках. Вовремя отдавать не получалось. Проценты выросли бешеные... Вот и «рухнул» комбинат».

Многим специалистам в столице — и в московской областной администрации, и в Роскомоборонпроме, и ученым-экономистам — я после командировки рассказывал о ситуации, сложившейся на Рoshальском комбинате. Суммарное мнение было таким: «Проблемы, стоящие перед заводом, типичны. Почти все производства, особенно оборонные, подобными недугами страдают. Однако есть предприятия, такие, как химкомбинат в Краснозаводске (Подмосковье), Качканарский радиозавод, где директора все же выкручиваются, производство спасают, людей кормят...»

Рoshальский комбинат мог бы не оказаться в столь глубоком провале. Делают здесь, помимо прочего, такой нужный продукт, как поролон. Более того, Рoshаль — монополист: 70 процентов российского поролона производят здесь. Золотое дно! Однако на поролоне и другой продукции «большой химии» хорошо зарабатывают лишь всевозможные фирмы и фирмочки, действующие «под крышей» комбината.

Руководители предприятия почему-то называют эти фирмы (всего их больше тридцати) «инвесторами». Однако они в развитие производства инвестиций (или, в переводе на русский, долгосрочных вложений капитала) не делают,

лишь пользуются тем, что без них давно построено и отлажено.

Работают «инвесторы» так. Закупают по своим каналам сырье. Привозят его на комбинат. Оплачивают аренду помещений и оборудования, «отстегивают» деньги за электроэнергию и воду, платят рабочим... Готовая продукция в их полном распоряжении. Продавая кому хочешь и за сколько хочешь... И такое положение, похоже, устраивает комбинатовское начальство. Потому что меньше головной боли: не надо сырье искать, маркетингом заниматься, сбыт налаживать...

А может, условия «инвесторов» просто «приятны во всех отношениях» комбинатовским руководителям?

Однажды я спросил одного из рошальских безработных: «Когда «рухнуло» здесь производство?» И тот дал ответ, на первый взгляд абсолютно нелогичный: «Когда наше начальство стало себе особняки строить».

Особняки у руководителей комбината в самом деле на зависть: добротные, двухэтажные... У тех же, кто вдали от кормила, надежды на новоселье мало. В очереди на получение жилья стоит в городе свыше 1700 человек. Область дотирует около 70 процентов городского бюджета — примерно 17 миллиардов рублей ежегодно. Средства идут на городской транспорт, на зарплату учителям, врачам... Химкомбинат налогов практически не платит: нет средств. И денег на возведение жилья, сказали мне в областной администрации, Рошалью не давали, не дают и давать не будут. Комбинат тоже строить не может.

Бесквартирье, безденежье и — безработица. Уровень ее здесь самый высокий в Московской области. На бирже труда зарегистрировано свыше полутысяч чело-

век. Тех же, кто на официальный учет не становится, но работы не имеет, — свыше трех тысяч, или больше двадцати процентов трудоспособного населения. (Цифры по России: официально зарегистрированных безработных — 1,9 миллиона человек; количество безработных, сосчитанных по методике Международной организации труда, — 5,6 миллиона человек, или 7,5 процента от активного населения.)

Но дело не в процентах, не в средних значениях — рошальскому безработному просто некуда деться, негде больше работать. Знаете, сколько вакансий предложил городской центр занятости за целый год? Около двадцати. Еще столько же человек направили на курсы бухгалтеров: конкурс туда был, как в финансовую академию.

Ездить на работу, час автобусом, в близлежащую Шатуру? Там своих безработных хватает. Слава Богу, недалеко (по российским меркам) Москва. Мужики оставляют семьи и едут туда на неделю.

Около тысячи человек отправляются на заработки в Москву. Работу в столице нашли сварщики, слесари, каменщики... По понедельникам автобус, что отправляется из Рошалья в 3.25 утра, забит битком. В пятницу поздно вечером шабашники возвращаются. Такой вот «вахтовый метод»...

Хуже тем, чья профессия связана с химией. На их услуги спроса нет нигде. (В прошлом году все парни, выпускники Рошальского индустриального техникума, отправились в армию, а все девочки, свежеспеченные специалисты, — на биржу труда.) Совсем плохо безмужним женщинам, особенно с детьми...

Как выживают? Спасают «дачные» участки. (У горожан их две тысячи.) Картошка, капуста, свекла, лук... — большинство всю зиму

питаются овощами — плюс наскребают деньги на хлеб. Кто-то собирает летом лесные ягоды — в Москве продает. Кто-то ремонт подражается делать — у местного начальства или у «крутых». Кто-то берется на барахолках торговать, да покупают в Рoshале мало: нет у людей денег.

Квартирой, пропиской, профессией люди оказались прикованы к городу, словно крепостные прежних времен. Они вынуждены повторять судьбу «барина» — судьбу завода. Им даже хуже, чем крепостным: бежать некуда.

Безденежье и безнадега тяжелым катком проехали по жителям города. Продолжительность жизни — основной показатель ее качества — здесь постоянно падает, и куда стремительней, чем в среднем по России. В 1988 году скончалось 62 рoshальца в трудоспособном возрасте. В 1993-м — уже 160. Я разговаривал с врачами местной больницы: люди чаще болеют, утверждают они. Увеличилась заболеваемость всеми болезнями, от сердечных до педикулеза (вшивости), от малокровия до сифилиса.

Растет преступность: в 1989 году было 25 краж; в году прошлом — 228. Появились преступления, еще десять лет назад немыслимые: взломали сарай, похитили картошку, капусту, свеклу...

Форпосты России

В Москве я встретился с президентом Союза малых городов России Евгением Марковым.

— Не знаю, где родились и выросли творцы нынешних реформ, но могу об заклад биться, что не в малом городе, — сказал Евгений Мануилович.

— Почему?

— Разрабатывая планы рефор-

мы, они держали в голове преобразования в условиях Москвы, Петербурга, Екатеринбургa... Правильно: если ЗИЛ или автозавод «Москвич» бросить в свободное плавание и они, предположим, потерпят крах, кризиса в Москве не случится. Даже разорится и уволит всех своих работников ЗИЛ, столица почувствует лишь неприятный укол. Нестерпимой проблемы не возникнет... А в маленьком городе? Обанкротится единственное предприятие — конец всего города. Жители малых городов сейчас в заложниках у своего предприятия. А само предприятие в заложниках у своего директора... Много ли таких руководителей, что не справляются, кого надо бы заменить? Сколько угодно! Но где найти талантливого менеджера в малом городе? В столицах его можно переманить с другого предприятия. Можно даже из Нью-Йорка выписать. А чтобы в малый город хорошего руководителя пригласить, ему для начала надо квартиру дать, а лучше коттедж, да с телефоном, да с гаражом... И даже если быт будущему директору обеспечите — попробуйте объявите на всю страну конкурс на замещение вакантной должности: претендентов будет мало, уверяю вас. Если вообще хоть один появится... А знаете, почему? Потому что для человека, в большом городе выросшего, университет закончившего, город, подобный Рoshалу, — медвежий угол.

— На Западе тоже бывало: закрывались неперспективные шахты, останавливались заводы в небольших городках... Как там выходили из положения?

— Такие ситуации везде тяжелы — у нас ли, на Западе... Но там все же легче. Там есть рынок труда. Есть рынок жилья. У нас же человеку из своего городка никуда не деться. И если мы малый город угробим, то и людей вместе с ним.

— А как, на ваш взгляд, выглядит ситуация в Рошале по сравнению с двумя тысячами других российских малых городов?

— Он далеко не худший. У его жителей есть хоть какой-то выход: в Москву ездить. У тех же, кто живет в Сибири, на Севере, на Урале, и той отдушины нет... А проблемы — безработица, неплатежи, развал городского хозяйства — везде одинаковые... Недавно я был в Соликамске. Тоже малый город. Полтора часа лета из Перми. Под крылом тайга, озера, реки... Когда пролетаешь над безлюдной территорией, почти равной Франции, хорошо понимаешь, что значат малые города для России, что это за проблема. Кто держит, скрепляет эти гигантские пространства? В них не только производства сосредоточены — это центры контроля за территорией. Это форпосты России. Отсюда, из малых городов, контролируются и вода, и лес, и земля наша... Вы понимаете, что значит потерять их?!

Второе рождение?

На главной площади в Рошале — стела с фамилиями девяти-сот погибших в Великую Отечественную. Рядом замуровано письмо комсомольцам 2018 года. У водоуправления стенд «Передовики труда». Буквы все обвалились, остались лишь невыгоревшие места. На доске «Выполнение плана» кто-то вывесил безумные цифры: 98 765 процентов... Быть может, все вернется на круги своя? Понадобится стенд «Передовики труда», будет кому распечатывать письмо, адресованное комсомольцам 2018 года...

На нынешнюю власть в Рошале крепко обижены и руководители, и рядовые горожане.

— В былые времена, — расска-

зывал мне глава городской администрации Евгений Назаров, — губернатор, я читал, обязан был раз в год все заводы в губернии объехать и представить о каждом лично его императорскому величеству подробный отчет по установленной форме. Мы же здесь ни губернатора, ни заместителей его ни разу не выдвигали. Однажды, в период предвыборной кампании, приезжал наш депутат Госдумы...

Жители города свое несогласие с нынешними порядками проявляют не митингами, не забастовками — мирным путем: голосованием. На выборах в декабре 1993 года к избирательным урнам пришло 10 898 человек. «За» Жириновского (или против властей?!) проголосовало 3604 человека. Проправительственному Гайдару и «Выбору России», оставшимся на втором месте, отдали голоса почти в три раза меньше избирателей. За прошедших полтора года симпатий к властям не прибавилось.

Однако вернуться к старому на бывшем пороховом заводе будет, пожалуй, посложнее, чем что-то новое построить. Знающие люди, проработавшие на комбинате десятилетия, говорили мне, что начать здесь снова делать порох практически невозможно. Многие детали оборудования (особенно из меди и бронзы) в законсервированных цехах расхищены. Рабочие, лишившись ежедневного «тренинга», потеряли трудовые навыки. «Недавно, — рассказывал мне один инженер, — пытались сработать изделие, на которое раньше уходило две смены, — потратили двадцать суток...»

Порох, даже если его поджечь, не взорвется. Для взрыва надобно мощное давление... Люди в Рошале тоже пока не «взрываются». Ни одного признака, предвещающего «бунт бессмысленный и беспощадный», мне не довелось уви-

деть. Но жители городка сгорают. Об этом говорит несусветный рост болезней, смертей, преступлений, пьянства: помрачение нравов и нелюбовь к своей Родине — малой, большой... (Школьники-выпускники как один мечтают покинуть и никогда не возвращаться в этот город, а если повезет, то и в эту страну.) Ужели и сгорит, как порох, Рошаль?

В ожидании неожиданного

Как сказал мне один горожанин, «жизнь в Рошале — это труба», имея в виду не метафорическую трубу, а заводскую: все здесь вертится вокруг комбината. Странно, что пока не наложил на него лапу иностранный капитал — настоящие инвесторы. А рошальское производство для иностранцев «вкусное»: экологически грязное, а рабочие руки дешевы, и «зеленые» не бузят.

Видать, дойдет и до Рошалья очередь. Пока же иноземцам надо столько металлургических, целлюлозных, табачных, кондитерских фабрик скупить! Да и руководители комбината крепко его в своих руках держат: видать, «инвесторы» так называемые им милей, чем инвесторы настоящие. Вожаки рошальского производства не только не акционируют комбинат, но и уверяют всех, что предприятию приватизация запрещена («Оборонное производство!»). А она, приватизация, здесь разрешена еще с лета прошлого года!

Но шила в мешке не утаишь. Рано или поздно приватизируют химкомбинат. Рано или поздно попадет он в руки настоящего хозяина — закордонного ли, нашенского. А тот вряд ли станет мириться с тем, что оборудование и персонал

в четверть силы работают. Сейчас от нехватки работы страдают — будут страдать от избытка...

Гадать, что с Рошалем случится, можно бесконечно. Но Россия всегда из колоды в тридцать шесть карт вытаскивала тридцать седьмую, невиданную...



МЕТАМОРФОЗЫ

СЦЕНЫ

ИРИНА АЛПАТОВА

Помните, еще совсем недавно мы безмерно гордились тем, что театру наконец-то удалось отойти от решения социальных и политических вопросов и заняться собственным делом, то есть искусством. И очень скоро вновь поняли, что никакого «чистого искусства» в России нет и быть не может. Хотя бы потому, что здесь его делают люди, которым вряд ли удастся укрыться от нашей рыночной смуты за стенами лаборатории-храма.

Как долго слова «коммерция» и «культура» звучали для нас абсолютно в разных контекстах. Сегодня, когда все определяют деньги, а любая, даже гениальная, творческая идея без них способна кануть в небытие, положение изменилось. Учредители, спонсоры, банки, фирмы и фирмочки закружились вокруг издательства, газет, журналов, театров и съемочных групп. Ах, как хотелось бы видеть в них только культурных и бескорыстных меценатов. Встречаются, конечно, и такие. Но часто бывает наоборот, и тогда в воздухе начинают носиться зловещие фразы о том, что и на культуру надвигается «черный передел» коммерции.

Начало прошлого сезона ознаменовалось не творческими победами, а громким скандалом, разразившимся в Театре Российской Армии вокруг его главного режиссера Леонида Хейфеца, которого неизвестные люди избили в собственной квартире и посадили под «домашний арест», запретив переступать порог родного театра. Долгие выяснения причин создавшегося положения с некой фирмой, арендовавшей театральные помещения, ни к чему не привели. Истина так и осталась за семью печатями, а результат весьма печален: Хейфец расстался с театром, которому

отдал не один год жизни.

А дальше чуть ли не каждый месяц в печати стали появляться факты об очередном избиении, ограблении и т. п. уже не только банкиров, бизнесменов, политиков. Но и артистов, режиссеров, художников. Среди них — Александр Каллягин, Кама Гинкас, Юлия Борисова. Кто следующий? А ведь когда-то в России существовал свой выдающийся суд — искусство. И людей искусства уважали все, даже уголовники. Они были неприкосновенны, не имея за спиной рослых атлетов-телохранителей. Сегодня же преступная рука не щадит никого, испытывая, быть может, некое извращенное удовольствие надругаться над вчерашним кумиром. Смотрите и трепещите, мы — сила!

Возможно, печальное это вступление и не имеет непосредственного отношения к теме нынешнего разговора. Речь идет лишь о том, что жизнь никого не оставила в стороне, а потому, хотели того театры или нет, все их создания, даже повествующие о весьма отдаленных эпохах, насквозь пропитались атмосферой дня сегодняшнего.

Но странное дело. Это вовсе не означает, что сцену заполнили произведения наших современных драматургов. Их как не было, так и нет. Или, точнее, почти нет. А то, что изредка мелькает на театральных афишах, остается незамеченным, растворяясь в пучине «вечной» классики или современной западной «хорошо сделанной пьесы». Едва ли не единственная история о нашем времени, рассказанная А. Гельманом в пьесе «Машин юбилей», поставленной во МХАТе имени Чехова, оказалась, пожалуй, архаичней, чем многие старинные драмы, несмотря на свою театральность и любопытный сюжет. Поставь ее не Олег Ефремов, а какой-нибудь малоизвестный режиссер, так и вовсе, может

быть, осталась бы незамеченной. И только финал театрального сезона открыл нам новое драматургическое имя — Надежду Птушкину. Впрочем, говорить о ней пока рано, поскольку спектакли по ее пьесам, мгновенно расхваченным известными театрами, еще впереди.

Впрочем, заставить сцену, как говорят, «перекликаться» с днем сегодняшним можно тоже по-разному. Можно прямо тыкать указующим актерским перстом в зрительный зал, опираясь на давно проверенный в России аллюзионный театр. А можно действовать и тоньше, глубже, помня о том, что современность и сиюминутность — понятия разные. И вот о двух подобных случаях хочется рассказать подробнее.

Во МХАТе имени Чехова Олег Ефремов поставил пушкинского «Бориса Годунова». Спектакль, вызвавший бурю противоположных откликов и мнений — от восторженных оценок до категорического неприятия. Сам Ефремов говорил о том, что ставил спектакль о смутном времени. О смуте вообще, отнюдь не только нынешней. О том, как проходит типичный для смуты процесс человеческого высвобождения, как он перехлестывает через край, рождая ненависть к любой власти. И одновременно для него было важным не превратить пушкинскую драму в театр прямых аллюзий, ассоциаций, что стало в русском театре почти традицией. И попутно освободиться от штампов, от «оперности», от стереотипов зрительского восприятия, пытаться понять пушкинскую эстетику, одновременно обогащая себя пониманием истории.

Попытка отхода от традиционных штампов проявлялась по-разному. В нашем сознании «Борис Годунов» — суровая и мрачная трагедия, повествующая о нелегкой

доле правителя и мучениях «безмолвствующего» народа. Ефремов же, пожалуй, поставил сегодня не хрестоматийно известного «Годунова», а «Комедию о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве», как первоначально хотел назвать свое детище Пушкин. Более позднее сурово-лаконичное название словно придало этому действию заведомо трагическое звучание. Но там, внутри, остались и другие ноты — язвительно хохочущие и одновременно горькие. А как же иначе, помня известное высказывание о том, что трагедия имеет свойство повторяться в виде фарса.

Оттого и на сцене отнюдь не только серьезно-классическая монологическая драма Бориса, но порой и балаган, ярмарочное, скоморошье действие. Только временами от этого балаганного гулянья явственно и жутковато веет духом вековой российской смуты с ее привычной жадной кровью, без разбора правых и виноватых.

Здесь нет плавного течения действия, как, впрочем, нет его и у Пушкина. Театр словно листает летописные страницы, у каждой из которых — свой герой, другая мысль, иное настроение. А за всем этим встает жизнь без концепций и нравочений, без начала и конца.

А вот Олег Ефремов-Борис в этом спектакле действительно царит, но не государевым только величием, а такой личной глубиной, которая в нынешнем театре даже и не редкость, а просто единичный случай. Оттого и в пушкинский текст, произносимый сегодня Ефремовым со сцены, знакомый вроде бы наизусть, вслушиваешься как во что-то совершенно новое, только что на этой сцене рожденное и обращенное к нам — первым и случайным собеседникам. Оттого в исповедях его героя не только

боль того, реального царя, но и его, Ефремова, боль. О том, что все в мире повторяется, не принося покоя. Что так нелепо складывается наша жизнь, хороня любой благой порыв. О том, что «у нас любить умеют только мертвых...».

Безусловным репертуарным лидером минувшего сезона оказался, как это ни странно, Максим Горький, казалось бы, давно и прочно сошедший с театральных афиш. И впрямь, на заре очередной нашей новой эры мы не слишком-то жаловали «буревестника» и глашатая социалистического реализма, ну разве что его «Несвоевременные мысли».

Но жизнь наша театральная оказалась непредсказуемой и, сделав очередной виток, подняла Горького на гребне репертуарной волны. Только в одной Москве практически одновременно появилось четыре спектакля по его пьесам, причем их названия друг друга не дублируют: «Дачники» в Театре имени Станиславского, «Варвары» у вахтанговцев, «Последние» в Театре О. Табакова и «Враги» в «Содружестве актеров Таганки». На банально-закономерный вопрос: почему? — еще предстоит ответить, не торопясь и все осмыслив. Но одно ясно уже сегодня: мы возвращаемся к подлинности. И в том, что вчера казалось временным, вновь учимся отыскивать черты непреходящего.

А Горький-то эту жизнь знал и вслед за великим Щепкиным мог бы сказать, что прошел ее от лакейской до графских покоев. А мы сегодня идем за ним.

Вот в этом-то, наверное, все и дело. Важно ведь не просто классика поставить, а завязать с ним новый диалог — то ли ответить на его вопросы, то ли добавить к ним свои. И оказалось, что Горький легко такой вызов принимает —

где «острую» фразу подбросит, где такой сюжет завернет, словно утреннюю газету прочитал, а уж про отдельных персонажей и говорить нечего. Слово из нынешнего зрительного зала шагнули они на сцену, если, конечно, волнует их еще такое дело, как театр.

Естественно, все московские спектакли были разными. Но объединяло их, за исключением, пожалуй, «Врагов», одно — от «социальности» практически не осталось и следа, а герои Горького решали на сцене в основном непростые человеческие проблемы, тоже впитавшие в себя ауру дня сегодняшнего.

Например, «Варвары» — спектакль, на удивление точно и отчетливо воплотивший результаты нашего нынешнего диалога с Горьким. Слово это, знакомое еще со школьной скамьи, вызывает в памяти что-то грубо-дикое, вторгшееся в привычный ход вещей и властно его, этот ход, сломавшее. С другой же стороны, легкость такой ломки явно намекала на непрочность уничтоженного. «Значит, плохо было построено», — говорит Богаевская у Горького: Два вопроса издавна волновали всех исследователей «варварства». Что ломалось? Ради чего, ради какой цели? Над этим задумывались меньше. Главное — до основания, а затем... Затем следовало многозначительное многоточие.

Согласитесь, тема весьма актуальная. И в подавляющем большинстве давних и недавних постановок «Варваров» противопоставление двух враждебных друг другу лагерей — стоячего провинциального болота и «новых людей» — прочерчивалось красной линией. Они, эти «новые», могли терпеть поражение от темных и косных сил, могли и сами увязнуть в этой тряси-не, но они всегда были пришельцами из какого-то иного мира. Но вот сегодня, в нынешних «Варварах»,

противопоставление было изначально снято, а новое и старое обреченно слились в беспросветности и бессилии изменить что-либо в твердо устоявшейся жизни.

Странное, произвольное ощущение: с первого же появления на сцене «варваров», Черкуна (Максим Суханов) и Цыганова (Михаил Ульянов), приезжих инженеров, почему-то чувствуешь, что они прибыли сюда не начинать, а доживать. Кто больший, кто меньший остаток жизни. Потому что в их приезде — бесцельность и усталость. Об этом не говорится. Наоборот, в словах звучат мотивы «перемен» и «дела». Но реальное существование людей идет как бы в параллель высказанному.

Цыганов М. Ульянова — немолодой, иронично язвительный, устало не верящий ни во что, даже в силу женской красоты, о которой так много говорит. Стол, уставленный бутылками, — вот его место действия. Вернее, не действия даже, а стороннего наблюдения за его видимостью. Ульянов играет Цыганова не хрестоматийно-горьковского, а сегодняшнего, своего. Не только и не столько пьесу, сколько драму жизни — нашей и собственной. Осознанно ли? Кто знает... Но только для этого Цыганова нужен и груз прожитых артистом лет, надежд и разочарований привычных Ульянову «председательских» должностей, и многое-многое другое.

Второй «варвар», инженер Черкун в исполнении М. Суханова, видится как бы сквозь призму Цыганова. Цинично-раскованный, презирующий все обычаи и устои, лишенный сострадания и способности чувствовать — согласитесь, подобный тип тоже знаком нам сегодня. Равнодушие и отсутствие внутреннего стержня, цели — вот что главное у Черкуна-Суханова. «Варвар»

ли? Да нет, коль скоро после его отъезда всколыхнувшаяся была жизнь вновь подернется привычным слоем тины. Впрочем, это у Горького он уезжает. По логике же нашего спектакля ему самое место остаться здесь — пить брагу, заводить интрижки да иногда философствовать о пользе перемен.

Вот и оказалось, что в спектакле одну из главных ролей сыграло время. А нынешнее мироощущение артиста, в этом времени живущего, наложило свой отпечаток на все, происходящее на сцене.

Впрочем, кого-то в этом сезоне волновали и проблемы театра как искусства, не столько выявляющего свои связи с жизнью, сколько пытающегося понять свои собственные зрелищные основы, а заодно и синтез с прочими музами. И вот в этом направлении лидерство, безусловно, принадлежит Валерию Фокину, кстати, увенчанному в минувшем сезоне (да и в прошлом тоже) немислимым количеством престижных премий и наград.

Отношения В. Фокина с литературным материалом для постановки весьма неординарны. Он давно уже практически отказался от жанра традиционной пьесы, предпочитая им произведения, вовсе не предназначенные для театра, будь то роман, новелла, а то и публицистика. Фокин обращался к Набокову, Достоевскому, Гоголю, Овечкину, теперь вот к Кафке. Причем не ставил инсценировки этих авторов — скорее это было нечто, навеянное мотивами известных произведений, а связь между ними и спектаклями оказывалась совсем не прямой. Даже сам сюжет был не так уж важен — в ход шли затейливые ассоциации, связанные с ним, сны, видения, фантазии. А драматургия текста обращалась в драматизм сценического действия, которое, кажется, возникало импрови-

зационно, в процессе репетиций, не утверждаясь заранее.

Одним из первых (знакомых отечественному зрителю) результатов его поисков стал спектакль «Нумер в гостинице города НН», поставленный по мотивам нескольких эпизодов гоголевских «Мертвых душ». Результат, кстати, оказался весьма успешным, судя по граду престижных премий и призов, обрушившихся как на режиссера, так и на постановку в целом.

А год спустя Фокин выпускает еще один спектакль, построенный на тех же приемах, что и «Нумер». — «Превращение» по одноименной новелле Ф. Кафки. Быть может, менее экспериментальный, зато сделанный твердой и уверенной рукой мастера, закрепляющего ранее найденное и опробованное.

Если «Нумер» шел на неожиданной для зрителей территории Манежа, то «Превращение» играет в нормальном театре, а именно на малой сцене московского «Сатирикона». Впрочем, понятие «сцена» здесь не совсем точно, потому что с помощью художника-сценографа В. Колейчука она тоже претерпевает известные метаморфозы. Для Фокина не случайно приглашение не профессионального театрального декоратора, а человека смежной профессии — скульптора и конструктора, которым и является Колейчук. Потому что сценическое пространство должно не только обрамлять действие, но и принимать в нем самое активное участие.

Как ни парадоксально, актер в этом спектакле отнюдь не первостепенная величина, а тоже один из компонентов действия. И лишь Константину Райкину дано немного выделиться из этой равнозначности, разбавить, безусловно, присутствующую в спектакле рациональность элементами обычного психологического театра. Его герой, Гре-

гор Замза, не только символ «иног измерения», в котором может вдруг оказаться человек, но и настоящему живое существо. Он не играет одну лишь трагедию одиночества и выброшенности из жизненного круга, давая на жалость и сострадание зрителей. Герой Райкина может быть и смешным, комичным, забавным. Странно, но его Грегор, даже развоплотившись из человеческого облика, порой может найти и в этом состоянии маленькие радости жизни — от вкусной еды, прекрасной музыки, которую не разучился слышать.

Зрителю еще предстоит привыкнуть к такому вот не совсем обычному театральному явлению. Кто-то уже сейчас принимает его безоговорочно, кто-то пребывает в раздражении. Правда, спектакли Валерия Фокина пока не стремятся стать фактами массовой культуры. И не случайно количество зрителей здесь ограничено несколькими десятками человек. Но, как говорится, каждому свое. И то, что в нынешней театральной Москве можно найти спектакли на любой вкус — от лихого авангарда до строжайшего традиционализма, — свидетельствует о том, что унылая спячка нашему театру, слава Богу, пока не грозит.

Сезон, впрочем, не обошелся и без курьезов, связанных в основном с некими действиями антрепризы, постигающей основы бродвейского «коммерческого» искусства.

Какой солдат не мечтает стать генералом? Какой актер не мечтает стать режиссером? Благо дожили мы до эпохи полной свободы, когда возможно все. Главное, чтобы в наличии имелись деньги, спонсоры или на худой конец личные связи. Тогда вы можете прийти в любое приличное место, например, в Останкино, и сказать: «Хочу поставить спектакль!» Будьте увере-

ны, вам это позволят: и площадку предоставят, и с техникой помогут, и даже предложат увековечить ваш «шедевр» на пленку. Да и с актерами проблем не будет — желание играть налицо, а там — куда кривая вывезет.

Правда, эта «кривая», впряженная в то, что раньше звалось «искусством», — кобыла норовистая, может взбрыкнуть и завязнуть. Ведь на одном хотении далеко не уедешь, не мешало бы и дорожку знать, да и править научиться. Впрочем, кого сегодня это волнует?

Итак, известный в узких кругах киноактер Олег Фомин (для тех, кто не сразу вспомнит, поясним, что его когда-то звали «Арлекино») вознамерился поставить спектакль «Пещерные люди» по пьесе У. Сарояна. В чем его и поддержала новоявленная антреприза «Останкино». Свое согласие участвовать в спектакле дали «звезды» первой величины — А. Джигарханян, Т. Васильева, И. Метлицкая, В. Проскурин. И вот в один из дней любопытную прессу пригласили на премьеру в знаменитый телецентр. Предполагалось некое многочасовое действие, включавшее художественную выставку, музыкальную интродукцию, сам спектакль, пресс-конференцию и дежурный фуршет.

Собравшиеся послушно осмотрели картины, вежливо послушали музыку и стали нетерпеливо поглядывать на плотно запертые двери в зрительный зал. Но проходил час, другой — двери не открывались, а томление нарастало. Одновременно просочились слухи, что половина актеров отсутствует и в этот момент идут срочные вводы. Неплохо для премьеры, не правда ли?

И вот, когда самые истомленные уже потянулись к выходу, двери внезапно распахнулись, и уже по-

рядком уставшую публику все-таки впустили в зал. И сюрпризы продолжались. Некий голос из-за кулис мрачно возвестил, чтобы мы забыли о написанном в программе, потому что некоторые «прекрасные актеры» заболели и их пришлось заменить «не менее прекрасными». Правда, эти «не менее прекрасные» представлены не были, и многие неискушенные зрители так и остались в неведении, кто же все-таки был на сцене. Тот же голос предупредил, чтобы мы были готовы ко всевозможным накладкам, так как играется все впервые.

Описывать явленное нам представление смысла нет, тем более что нас, вероятно, скоро осчастливят его показом по телевидению. Кстати, ни Джигарханян, ни Метлицкая, ни Филиппенко так и не появились. Остальные же (Т. Васильева, В. Проскурин, А. Ильин) тоскиво металась по сцене, путаясь в шлейфах и декорациях, вяло проносили текст, до публики явно не доходивший. Зрители засыпали и просыпались, томительно поглядывая на часы.

Быть может, то были издержки премьеры. Но и они говорят о несерьезности подхода к такому непростому искусству, как театр.

А ведь вновь созданные антрепризы и коллективы могут жить, и достойно.

Вот один из них, который сегодня очень непросто встает на ноги, пытаясь занять свое место на театральной карте Москвы.

Не знаю почему, но только после каждого посещения театра «Et cetera» под руководством Александра Калягина возникает потребность чаще ходить в театр. Причем не только в этот. Вообще в театр. Честно говоря, подобное желание посещает все реже и реже, а после отдельных нынешних «шедевров» порой хочется и вовсе забыть об

этом виде искусства, а заодно и о своей профессии.

А вот с «Et cetera» все наоборот. Несмотря на то, что этот молодой коллектив (а он родился около трех лет назад) пока еще и звезд с неба не хватает и его настоящий успех, возможно, впереди. В чем причина? Быть может, в том, что здесь нет казенщины, а есть по доброй воле собравшиеся люди — и вчерашние студенты, и актеры со стажем. Объединившиеся для того, чтобы «дело делать», как говаривал незабвенный профессор Серебряков из чеховского «Дяди Вани». Кстати, этой пьесой и открылся театр. И они делают свое «дело» упорно и настойчиво, без громких деклараций и программных манифестов.

В репертуаре «Et cetera» уже четыре названия, причем такие, что им может позавидовать любой театр «с именем». За «Дядей Ваней», поставленным А. Сабининым, последовало чеховское же «Руководство для желающих жениться» (режиссер В. Салюк), затем «Измена» Г. Пинтера (режиссер Г. Сайфуллин). Последней премьерой театра стал спектакль «За горизонтом» по никогда не ставившейся у нас пьесе Ю. О'Нила, в режиссуре В. Богатырева. И все это, между прочим, совсем непросто, потому что блаженной памяти времена, когда для нового спектакля было достаточно желания его поставить и одобрения худсовета, давным-давно канули в Лету. Теперь каждая новая постановка начинается с обивания различных порогов в поисках средств, репетиционных помещений, прокатных площадок... К тому же ставится здесь отнюдь не «клюква» и «клубничка», а серьезная драматургия. Да и работают в «Et cetera» в уже полузабытой ныне манере хорошего русского психологического театра, не покупаясь на дешевый эпатаж публики.

Правда, театр тем и хорош, что открывает нам не только великолепную драматургию, но прежде всего актера. В своей последней премьере «Et cetera» открыл нам трех дебютантов: Екатерину Редникову (Рут), Алексея Осипова (Роберт) и Сергея Плотникова (Энди). Сыграли они достойно, без скидок на недостаток опыта и профессионализма, и в то же время сохранив всю непосредственность молодости, искренность чувств и юношескую веру в себя и своих героев.

Роли, спектакли, награды, аплодисменты — все это хорошо. Без этого театр существовать не может. Но ведь нет его и без зрителя. Сегодня мы можем уже определенно сказать, что зритель в театр вернулся. Вновь слышны ностальгические просьбы «лишнего билетика», а театральные кассы украсили аншлаги. Вот это и есть, пожалуй, главная удача минувшего театрального сезона. Как распорядится театр зрительским доверием, оправдает ли его? Покажет время...

ДВОЙНИК

РУФЬ РЭНДЕЛЛ

Странные всклокоченные женщины, похожие на ведьм, сидели вокруг стола в гостиной миссис Клизент. Одна из них, медиум, славившаяся своей способностью впадать в транс, гадала на картах Таро.

Позже, когда стемнеет, они займутся верчением стола. Их целью было вызвать дух мистера Клизента, почившего год назад, и, может быть, также, — с яростью и негодованием подумал Питер, — до смерти перепугать Лайзу.

— Куда вы идете? — поинтересовалась миссис Клизент, когда Лайза вернулась в комнату, уже в пальто.

Питер ответил за нее.

— Мы прогуляемся в Холланд-Парке, а потом перекусим где-нибудь.

— В Холланд-Парке? — переспросила женщина-медиум. Если бы мертвец мог заговорить, у него наверняка был бы такой же голос. — Смотрите, будьте осторожны. Это место пользуется дурной славой.

Другие колдуньи выжидательно посмотрели на нее, но медиум уже вернулась к своим картам и пристально разглядывала «Императрицу», поднеся ее чуть ли не к самому кончику своего длинного носа. Питеру уже тошно было от этого сборища. Еще полгода, — подумал он, — и он заберет ее из этого... логова.

Весенним воскресным вечером воздух в парке был свеж и чист, почти как за городом. Питер втягивал его большими глотками, стремясь очиститься от атмосферы гостиной. Ему хотелось бы, чтобы Лайза успокоилась, чтобы не была такой напряженной и взвинченной. Свободной рукой она то и дело теребила талисман, висевший у нее на цепочке на шее, или постукивала по деревянным планкам, когда они проходили мимо изгороди.

Внезапно Лайза спросила:

— Что имела в виду эта женщина, когда говорила о дурной славе парка?

— Какая-нибудь спиритическая чушь. Откуда я знаю? Терпеть не могу всего этого.

— Я тоже, — сказала она, — но я этого боюсь.

— Когда мы поженимся, тебе уже никогда не придется иметь с этим дело. Уж я позабочусь. О, Господи, мне хотелось бы, чтобы мы поженились немедленно, или чтобы ты переехала и жила до тех пор у меня.



— Я не могу за тебя выйти, пока мне нет восемнадцати, без разрешения мамули, а если перееду и стану жить у тебя, они обратятся в суд и установят надо мной опеку.

— Вовсе нет, Лайза.

— В конце концов осталось ведь всего шесть месяцев. Мне тоже нелегко. Ты же знаешь, я с гораздо большим удовольствием жила бы с тобой, чем с мамулей!

Это простодушное заверение вызвало у него улыбку.

— Ну же, постарайся, развеселись хоть немного! Я хочу тебя сфотографировать. Если уж ты не можешь быть все время со мной, у меня по крайней мере будет твоя фотография.

Они дошли до солнечной открытой полянки, он усадил ее на бревно и попросил, чтобы она улыбнулась. Потом вытащил фотоаппарат из футляра.

— Не смотри ни на кого, дорогая. Смотри на меня!

К сожалению, как раз в эту минуту какие-то мужчина и девушка уселись на деревянную скамью.

— Лайза! — окликнул Питер резко и тут же пожалел об этом, так как лицо ее страдальчески сморщилось. Он подошел к ней.

— Что с тобой, Лайза?

— Посмотри на ту девушку, — сказала она.

— Ну, посмотрел. И что в ней такого?

— Она в точности похожа на меня. Она мой двойник.

— Ерунда. С чего ты взяла? У нее просто волосы того же цвета, и фигура почти такая же, но на этом сходство заканчивается. Она гораздо старше тебя и...

— Питер, ты не можешь не видеть этого! Мы могли бы быть близнецами. Смотри, мужчина, который с ней, тоже заметил. Он посмотрел на меня и сказал ей что-то, а потом они посмотрели оба.

Питер же не видел ничего, кроме поверхностного сходства.

— Ну, предположим даже, она была бы твоим двойником, хотя я и не могу с этим согласиться, так что из этого? Почему это тебя так волнует?

— А разве ты ничего не знаешь о двойниках? Разве не знаешь, что если увидишь двойника, увидишь свою собственную смерть, и не пройдет и года, как ты умрешь?

— Ох, Лайза, перестань! В жизни еще не слышал подобной чепухи! Это самое глупое, что ты вынесла от полоумных старух. Всего лишь дурацкое суеверие.

Но никакие его уверения не могли ее успокоить. Личико побелело, в глазах застыла тревога. Скорее обеспокоенный, чем рассерженный, Питер протянул руку и помог ей подняться. Она прильнула к нему, вся дрожа, и он заметил, что она сжимает свой брелок с талисманом.

— Пойдем, — сказал Питер. — Найдем другое место, чтобы тебя сфотографировать. Не смотри на нее, если тебя это расстраивает. Забудь о ней.

Когда они пошли по дорожке, мужчина, сидевший на скамейке, сказал своей спутнице:

— Неужели ты и правда не видишь, что эта девушка — точная копия тебя?

- Я уже говорила, что нет.
- Разумеется, ты выглядишь значительно старше, и видно, что жизнь уже прошла по тебе — что есть, то есть.
- Спасибо.
- Но ты почти что ее двойник. Убери десяток лет и дюжину любовных романов — и тебя можно было бы принять за ее близнеца.
- Стивен, если ты собираешься начать все по новой, скажи лучше сразу, и я уйду.
- Я ничего не начинаю. Просто нахожусь под впечатлением этого чуда. Холланд-Парк славится своими загадками. Существует поверье, что здесь можно встретить своего двойника.
- Я никогда об этом не слышала.
- И тем не менее, моя дорогая Зоя, это так.
*«...Ты их услышишь, но сперва узнай,
 Что лишь один из всех моих детей
 Увидел образ собственный в саду,
 И то он умер, мудрый Зороастр...»**
- Кто это сказал?
- Шелли. Есть поверье, что если увидишь своего двойника, то в тот же год умрешь.
- Она медленно обернулась к нему.
- Ты хочешь, чтобы я умерла в этом году, Стивен?
- Он засмеялся.
- О, ты не умрешь! Ты ведь не видела ее — это она тебя видела. И это испугало ее. Он фотографировал — ты заметила? Жаль, что я не попросил его снять вас обеих вместе. Может, нам попробовать догнать их?
- Знаешь, у тебя извращенное воображение.
- Вовсе нет, всего лишь здоровое любопытство. Пойдем, если мы поспешим, то нагоним их у ворот.
- Ну что ж, если тебя это забавляет... — сказала Зоя.
- Питер и Лайза не видели приближавшуюся пару. Они шли, обнявшись, и Питеру удалось отвлечь ее от мыслей о двойнике разговорами об их будущей свадьбе. У северных ворот кто-то у него за спиной окликнул:
- Простите!
- Обернувшись, Питер увидел мужчину, сидевшего до этого на скамейке.
- Да? — сказал он не слишком приветливо.
- Надеюсь, вы не сочтете за дерзость с моей стороны, но я только что видел вас в парке и просто... м-да, поражен сходством между моей подругой и вашей юной спутницей. Невероятное сходство, не правда ли?
- Мне так не кажется, — ответил Питер, не осмеливаясь взглянуть на Лайзу. И надо же такому случиться? Он растерялся.
- По правде говоря, я вообще не нахожу ни малейшего сходства.
- Да что вы, не может быть! Послушайте, не могли бы вы сделать мне громадное одолжение и сфотографировать их вместе?

* Перевод К. Чемена.

Я вас очень прошу! Скажите, что вы согласны!

Питер уже хотел было отказаться — и не слишком вежливо, — но тут вмешалась Лайза:

— Почему бы и нет? Конечно, сфотографирует. Такое забавное совпадение, должны же мы иметь о нем что-нибудь на память.

— Вы так добры! Тогда мы, может быть, познакомимся? Меня зовут Стивен Дэвидсон, а это — Зоя Контти.

— Лайза Клизент и Питер Милтон, — сказал Питер, все еще немного ошеломленный теплым ответом Лайзы.

— Очень приятно. Лайза и Питер. Я рад познакомиться с вами. А теперь, девушки, вы обе идите и встаньте вон там — на солнышке...

Питер сделал снимок и пообещал, что пришлет фотографию Стивену и Зое, когда проявит пленку. Она дала ему адрес квартиры, в которой жили они со Стивеном, и он заметил, что это как раз на соседней с ним улице.

— Они могли бы пойти туда вместе, — предложил Стивен, обращая внимание на это вторичное совпадение. Однако, увидев застывший, напряженный взгляд Лайзы, Питер отказался, и они расстались на Холланд-Парк авеню.

— Это ведь ничего, что мы не пошли с ними, да? — спросила Лайза.

— Конечно, нет. Я хочу быть только с тобой вдвоем.

— Я рада, — сказала она. Потом добавила: — Я сделала это для тебя.

Он понял. Она сделала это для него, чтобы доказать ему, что может преодолеть свои суеверные предрассудки и страхи. Он привлек ее к себе и поцеловал. Она приникла к нему, и он почувствовал, как бьется ее сердце.

— Лучше не говорить больше никому об этом, — проговорила Лайза, и Питер понял, что она имеет в виду свою мать и этих сумасшедших старух.

Он проявил пленку, но не стал показывать ей. Зоя и Стивен получают свою фотографию, и это положит конец всей истории. Однако когда он вкладывал ее в конверт, то сообразил, что придется ведь приписать хотя бы несколько слов, что было весьма утомительно, так как он не любил писать письма. К тому же, если уж ему все равно нужно идти на почту, он может с таким же успехом занести ее к ним домой. Так однажды вечером он и сделал.

Питер не собирался заходить к ним. Но, когда он опускал в почтовый ящик конверт, на лестнице, за его спиной, появилась Зоя.

— Зайдите, выпьем чего-нибудь.

Он не смог придумать отговорки, а потому согласился. Она провела его на второй этаж, рассматривая по пути фотографию.

— Действительно, сходство просто фантастическое, — заметила Зоя. — Вы обратили внимание?

Питер сказал, что нет, удивляясь, как Лайза могла быть настолько слепа, чтобы вообразить, будто увидела своего двойника в этой тридцатилетней женщине, которая выглядела сегодня такой осунувшейся и изможденной.

— Скорее оно существовало в воображении вашего друга, — произнес он, входя в квартиру. — Посмотрим, что он скажет на это теперь.

С минуту она не отвечала. Потом резко объявила:

— Он бросил меня.

Питер смутился.

— Простите.

Он всмотрелся в ее лицо, в ее запавшие глаза с темными, как синяки, кругами под ними.

— Вы очень несчастливый?

— Я не собираюсь травиться, если вы это имеете в виду. Мы были вместе четыре года. С этим нелегко смириться. Но я не стану вам докучать. Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Питер хотел посидеть полчаса, не больше, но полчаса превратился в час, а когда Зоя сказала, что сейчас приготовит обед, и не останется ли он пообедать с ней, он согласился. С ней было интересно разговаривать. Зоя была врачом-невропатологом и лечила людей музыкой. Она рассказывала ему о своей работе и проигрывала пластинки. Когда они покончили с обедом — простым, но необыкновенно вкусным, — она опять заговорила о своей личной жизни и о долгих и мучительных отношениях со Стивеном. Но говорила без жалости к самой себе. И она умела слушать так же хорошо, как говорить. Для него это немало значило — иметь возможность доверительно поговорить со зрелой, уравновешенной женщиной, которая слушала его, не перебивая, пока он рассказывал о себе и о Лайзе, как они собираются пожениться, когда ей исполнится восемнадцать и она унаследует половину состояния своего покойного отца. Не то чтобы деньги имели тут какое-то значение. Он даже рад был бы, если бы у нее не было ни пени за душой. Он хочет только увести ее из этой удушливой атмосферы возни с потусторонними силами, из этого заточения, защищающего, но в то же время и разлагающего.

— Чего она боится? — спросила Зоя, когда он рассказал ей о постукивании по дереву и о талисмানে, с которым Лайза никогда не расставалась.

Он пожал плечами.

— Судьбы? Или некоего мстительного гнева, возмущения ее счастьем?

— Или утраты, — добавила Зоя. — Она потеряла отца. Быть может, теперь боится потерять вас.

— Вот уж чего ей меньше всего следует бояться, — заметил он.

Питер ушел только около полуночи. На следующий день он хотел рассказать Лайзе о том, где был. Между ними не существовало тайн. Но Лайза нервничала и была сама не своя — они с миссис Клизент посетили спиритическое собрание, — и он решил, что неразумно было бы снова заговаривать о том, о чем лучше всего забыть. А потому ничего не сказал. В конце концов он ведь больше никогда не увидит Зою.

Но примерно месяц спустя — месяц, в который они с Лайзой были спокойны и счастливы вместе, он случайно встретил свою новую знакомую на Портобелло-роуд. Они разговорились, и Питер

вдруг подумал, что он ведь пообедал тогда у нее, а значит, должен, в свою очередь, угостить ее. Они с Лайзой пригласят ее куда-нибудь на обед. Лайза переменялась и не должна быть против, ей полезно будет увидеть теперь, когда прошло время, как она заблуждалась, доверяя своим суевериям. Он сказал о своем приглашении Зое. Она колебалась, но потом согласилась, когда он объяснил, что они будут втроем. Так что недельки через две они пообедают вместе; с Лайзой зайдут за ней.

— Я встретил ту девушку, Зою, и пригласил ее пообедать с нами. Ты как, не против?

Испуганное, как у ребенка, выражение вновь появилось на личике Лайзы.

— Ох, нет, Питер! Я думала, что ты понял — я не хочу больше никогда ее видеть.

— Но почему? Ты же видела фотографию, видела, как нелепы были все твои мысли. И Стивена там не будет. Я знаю, что он тебе не понравился, да и мне тоже. Но они разошлись. Он бросил ее.

Лайза вздрогнула.

— Давай не будем продолжать этого знакомства, Питер.

— Но я пригласил ее, — сказал он. — И не могу теперь идти на попятный.

Когда настал назначенный вечер, Зоя появилась у дверей своей квартиры в длинном платье; волосы ее были уложены в высокую прическу. Она выглядела величавой, таинственно незнакомой.

— А где Лайза? — спросила она.

— Не смогла прийти. Они с матерью уезжают на отдых в Грецию в конце недели, и она занята сборами.

Это отчасти было правдой. Он сказал искренне, как если бы это было правдой полностью. Он не мог оторвать глаз от новой, изменившейся Зои и был рад, что заказал столик в одном из фешенебельных ресторанов.

В мягком сиянии лампы ее юность снова вернулась к ней. И он впервые осознал, что они с Лайзой похожи. Старшая и младшая сестры, благодаря игре света и косметике и, может быть, его собственному изощренному воображению, встретились во времени, став близнецами. Быть может, это его Лайза говорила сейчас с ним, сидя напротив за столиком, через серебро и хрусталь и единственную розу в бокале, но Лайза, которую жизнь и опыт сделали взрослее. Никогда бы Лайза не могла вот так говорить о книгах, о музыке, о путешествиях, или слушать его так самозабвенно, или давать ему такие мудрые советы. Ему жаль было, когда вечер закончился и он расстался с нею у ее двери.

Лайза, казалось, забыла о его обещании поужинать с Зоей. Она не заговаривала об этом, так что и он тоже не стал. На следующее утро она уезжала с матерью отдохнуть на месяц — доктор считал, что так будет лучше для здоровья миссис Клизент.

— Мне так не хочется уезжать, — сказала она Питеру. — Ты даже не представляешь, как я буду скучать по тебе!

— Но ведь и я тоже!

— Береги себя. Я буду беспокоиться, как бы с тобой чего-нибудь не случилось. Не смейся, но когда мой отец был жив и куда-

нибудь уезжал от нас, я всегда слушала новости раза четыре или пять в день, чтобы знать, не произошло ли какой-нибудь авиакатастрофы или другого несчастья.

— Но ведь уезжаешь ты, Лайза.

— Это одно и то же.

Она дотронулась до своего амулета.

— У меня есть вот это, но ты... Ты взял бы мой клевер с четырьмя листочками, если бы я дала его тебе?

— Я думал, ты оставила всю эту чепуху, — ответил он, и его разочарование в ней омрачило их расставание. Она поцеловала его на прощание со страстной печалью.

— Пиши мне. Я буду писать тебе каждый день.

Ее письма начали приходить в конце первой недели. Это были первые письма, которые он получал от нее, и они напоминали ему ученические опусы по географии с выражениями любви к своему классному наставнику, рассыпанными там и сям. Они оставляли у него чувство неудовлетворенности и легкой досады. Ему было одиноко без нее, но его пугал тот ее образ, который он носил в своем сердце. Ему нужно было с кем-нибудь поговорить об этом, и после нескольких дней колебаний он позвонил Зое. Через десять минут Питер был уже у нее, пил ее кофе и слушал ее пластинки. Быть рядом с ней было так невыносимо, так невероятно спокойно, так как в повороте ее головы, в ее манере улыбаться, в том, как росли непослушные завитки у нее над лбом, ему чудилось что-то от Лайзы.

И все-таки на этот раз он ничего не сказал ей о своих страхах, но только:

— Не могу понять, почему мне казалось, что вы с Лайзой совсем не похожи.

— Я тоже так думала.

— Это почти сверхъестественно, это страшно.

Она улыбнулась.

— Если приходить сюда и видеть меня поможет вам продержаться то время, пока ее нет, то не имею ничего против, Питер. Понимаю, что я вам напоминаю о ней и вам так легче.

— Дело не только в этом, — возразил он. — Вы не должны думать, что все сводится только к этому.

Она больше ничего не сказала. Не в ее характере было выпытывать, приставать с расспросами или переоценивать себя с эгоистической самоуверенностью. Но в следующий раз, когда они были вместе, он сам все объяснил, не ожидая вопросов, и объяснение это испугало его самого — слова были гораздо сильнее и откровеннее, чем мысли, из которых они рождались.

— Дело не в том, что вы напоминаете мне о Лайзе. Нет, не то. Просто я вижу в вас то, чем она могла бы стать, но никогда не станет.

— Кому же хочется становиться такой, как я?

— Всем. Каждой молодой девушке. Потому что вы такая, какой и должна быть настоящая женщина, — умная и рассудительная, и добрая, и уверенная в своих силах, и красивая.

— Но если это правда, — заметила она спокойно, — хоть я и не согласна с этим, — то почему бы Лайзе не стать такой же?

— Потому что, когда ей исполнится восемнадцать, она будет богатой, получит наследство. Ей никогда не придется зарабатывать себе на жизнь, или бороться, или учиться. У нас с ней будет дом где-нибудь поблизости от ее матери, и она станет такой же, как ее мать, — суетной и истеричной, живущей на снотворном, проводящей все свое время на спиритических сеансах и погрязшей в отвратительных суевериях. Когда я смотрю на вас, я не вижу двойника Лайзы. Я вижу ее, совершенно другую, если хотите, повзрослевшую на тринадцать лет, как если бы ей был предначертан другой путь в жизни. И в то же время я вижу вас, какой вы были бы, если бы жили той жизнью, которой предназначено жить ей.

— Вы можете помочь ей не жить такой жизнью, если любите ее, — заметила Зоя.

Потом вдруг письма от Лайзы перестали приходить. За всю неделю не было ни одного письма. Он твердо решил, понимая, что с ним происходит, не видеться больше с Зоей. Но она жила так близко, и он думал о ней так часто, что не мог устоять. Питер пришел к ней и сказал ей ту ложь, которая, — убедил он себя, — могла бы быть правдой. Лайза слишком молода, чтобы любить кого-то твердо и преданно. Ее письма становились все холоднее и наконец совсем перестали приходить. Зоя выслушала его объяснения, его настойчивые, страстные уверения, его сравнения своей заброшенности с ее собственным положением, и, когда он поцеловал ее, она ответила — сначала нерешительно, затем с жаром, рожденным ее собственным одиночеством. Они любили друг друга. Когда позднее он спросил у нее, можно ли ему остаться на ночь, она ответила «да», и он остался.

После этого Питер стал проводить у нее все ночи. Он почти не заходил домой. Когда наконец зашел, то обнаружил десять писем, ожидавших его на коврике у двери. Лайза и ее мать уехали на островок в Эгейском море, где жил какой-то мистик, с которым миссис Клизент мечтала встретиться и откуда почта доходила от случая к случаю. Он прочитал ее детские записочки, эти ее: «Дорогой Питер, я по тебе скучаю, я больше никогда не уеду от тебя», — с нетерпением и сознанием вины, потом вернулся к Зое.

Зачем только он рассказал ей о письмах? Лучше бы он этого не делал. Ведь именно благодаря ее уму и искренности он так дорожил ею, а теперь как раз эти-то качества и оборачивались против него.

— Когда она возвращается?

— В следующую субботу, — ответил он.

— Питер, я не знаю, что ты собираешься делать — оставить меня и жениться на ней, или бросить ее и остаться со мной. Но ты должен рассказать ей о нас, что бы ты ни решил.

— Но я не могу этого сделать!

— Ты должен. В любом случае должен. И если ты собираешься выбрать меня, что же тебе еще остается?

Остаться с ними обеими, пока он не уверится окончательно, пока он не будет знать наверняка.

— Ты знаешь, что я не могу без тебя жить, Зоя. Но я не могу ей сказать, только не теперь. Она еще совсем ребенок!

— Ты собираешься жениться на этом ребенке. Ты любишь ее.
— Люблю? — повторил он. — Скорее думал, что люблю.
— Я не стану участвовать в этом обмане, Питер. Ты должен это понять. Если не пообещаешь, что скажешь ей, я не смогу больше с тобой видаться.

Быть может, когда он увидит Лайзу... Он шел через парк к дому ее матери в воскресенье вечером. Женщина-медиум была здесь, и еще одна, выглядевшая так, точно поклонялась Сатане, и с жадностью внимавшая рассказам миссис Клизент о мистике и о его исследованиях тайнства Великой Пирамиды. Лайза бросилась в его объятия, чуть не плача от счастья.

— Девочка грезила о вас каждую ночь, Питер, — произнесла миссис Клизент со свойственным ей странным, отсутствующим видом. — Ей снились такие сны! Разумеется, она ведь обладает столь же тонкой, невероятной чувствительностью, как и я. Когда мы узнали, что отправка почты задерживается, я хотела, чтобы она передала вам послание Могуществом Мысли, но она отказалась.

— Я знала, что тебе это не понравится, — добавила Лайза.

Она сидела у него на коленях, в его объятиях. Ну как он мог ей сказать! Со временем, может быть, если ему удастся отложить их свадьбу, и страсти поостынут, и...

Он сказал Зое, что все уладил. Ради того, чтобы увидеть ее опять, ему пришлось на это пойти.

— Как она приняла это?

— О, совершенно нормально, — солгал он. — На отдыхе множество мужчин оказывало ей знаки внимания. Думаю, она просто начала осознавать, что я не единственный мужчина в мире.

— И Лайза примирилась с этим?

Ну почему она так настойчива, зачем причиняет ему такую боль? Он ответил уверенно, но с внутренним отвращением к самому себе.

— Мне кажется, для нее это возможность тоже почувствовать себя свободной.

Она поверила. Тому, кто сам привык говорить правду, не хочется замечать чужой лжи.

— Конечно, я видела ее лишь однажды, да и то всего несколько минут. Но, думаю, не обманывал ли ты себя, Питер, когда говорил, что она любит тебя так сильно. Ты еще будешь с ней встречаться?

Он сказал, что не будет, что все позади, что они расстались. Но чудовищность того, что он совершил, ужаснула его самого. И в следующий раз, когда он встретился с Лайзой, он снова стал убеждать ее — и вполне искренне, — как сильно ее любит и как мечтает увести ее из этого дома. Неужели он пожертвует этой детской горячей любовью ради женщины на пять лет себя старше? Они во многом были так похожи. Что если придет день, когда он устанет от одной из них и пожалеет о другой? Тем не менее в эту ночь он вернулся к Зое.

С искусной, но пугающей ловкостью Питер делил свое время между ними обеими. Это было не слишком трудно. Общественные — и спиритические — обязанности постоянно занимали

Лайзу. Зоя верила ему, когда он говорил, что допоздна задерживается на службе. Настала осень, и все шло по-прежнему, двойная жизнь продолжалась. Его тяга, его стремление к Зое усиливались, и он начинал мучительно ощущать каждый миг, который проводил без нее. Но Лайза и ее мать назначили день свадьбы, и он обреченно ждал его неумолимого приближения.

Как-то октябрьским вечером он должен был встретиться с Зоей в Холланд-Парке, у северных ворот. Лайза собиралась поехать на примерку своего свадебного платья, а потом поужинать с матерью у женщины-медиума, в ее, как он называл, логове. Так что все складывалось как нельзя лучше. Он прождал у ворот около часа. Когда Зоя так и не пришла, он пошел к ней домой, но никто не открыл на его звонок. Из своего дома он звонил ей пять раз в течение вечера, но каждый раз гудки раздавались в пустоте. Он провел бессонную ночь — первую ночь в одиночестве за последние четыре месяца.

Весь следующий день со службы Питер пытался дозвониться до нее и впервые со времени их знакомства не позвонил Лайзе. Но его собственный телефон трезвонил, когда он в шесть часов вечера вернулся домой. Конечно же, это Зоя, наверняка она! Он схватил трубку и услышал растерянный голос миссис Клизент:

— Питер?

Разочарование пронзило его, как боль.

— Да. Как поживаете? Как Лайза?

— Питер, у меня очень плохие новости. Думаю, вам лучше приехать. Да, теперь. Сейчас же.

— Что случилось? Что-нибудь с Лайзой?

— Лайза... ее больше нет. Прошлой ночью она приняла смертельную дозу моих снотворных таблеток. Сегодня утром я нашла ее мертвой.

Питер тотчас же снова вышел. В парке, в сумерках, листья лиловели в предсмертной агонии, некоторые уже опали. Вот здесь, когда их первая весенняя зелень еще едва пробивалась, он сделал тот снимок, вот здесь усадил ее на солнышке, и она увидела Зою.

Миссис Клизент была не одна. Несколько ее приятельниц по спиритическому обществу сидели с ней, но она была спокойнее, чем он когда-либо ее видел, и Питер догадался, что она приняла успокоительное.

— Как это случилось? — спросил он.

— Я же сказала вам. Она приняла смертельную дозу лекарства.

— Но почему?

Питер поежился под взглядом женщины-медиума, которая уставилась на него так, будто увидела за его спиной привидение.

— Вы тут ни при чем, Питер, — сказала миссис Клизент. — Она любила вас, вы же знаете. И была так счастлива вчера. Ее примерку отменили. Она сказала, что хочет подышать свежим воздухом — ведь день был такой чудесный, — и пошла к вам пешком. Она выбросила свой талисман — тот амулет, который носила, — так как сказала, что вам он не нравится. Я отговаривала ее — от

него ведь не было никакого вреда, и он мог принести пользу. Кто знает? Если бы он был на ней...

— Ах, если бы она была под покровительством Высших Сил! — воскликнула женщина-медиум.

Миссис Клизент продолжала:

— Мы собирались пойти поужинать. Я все ждала и ждала ее. Она так и не пришла, и я пошла одна. Я думала, что она с вами и что все в порядке. Но я рано вернулась домой, и она была уже там, такая усталая и испуганная. Она сказала, что хочет лечь спать. Я спросила у нее, не случилось ли чего-нибудь, и она сказала...

Голос миссис Клизент задрожал от рыданий, и колдуньи засуетились вокруг нее, поглаживая ее и что-то нашептывая.

В конце концов женщина-медиум объяснила ему своим загробным голосом:

— Она сказала, что увидела своего собственного двойника в парке.

— Но это же было полгода назад, — выкрикнул он. — Это было в апреле!

— Нет, она увидела двойника вчера вечером, свой образ, свое отражение, прогуливающееся в парке. И она отважилась заговорить с ним. Кто знает, что может сказать вам ваша собственная смерть, если вы осмелитесь обратиться к ней?

Он бросился от них, прочь из этого дома, остановил такси и дрожащим шепотом назвал шоферу адрес Зои. Все ее окна были освещены. Он позвонил, и звонил опять и опять. Свет сиял все так же неистово, но она не выходила, и он заколотил в дверь кулаками, зовя ее по имени. Когда он понял, что она не придет, что он потерял и ее, и ее отражение, ее двойника, навеки, он опустил на порог и заплакал.

Водитель такси, возвращающийся назад по той же улице в поисках пассажиров, решил, что он пьян, и, разобрав наконец его адрес из невнятного бормотанья, отвез его домой.

Перевод с английского ЗОИ СВЯТОГОРОВОЙ.

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

Стояла теплая зима,
 кончались дни легко и дымно,
 я веселился непрерывно,
 до помрачения ума.
 Был подмосковный снежный парк
 с водохранилищем замерзшим,
 и снег слоеный слабо пах
 нецеженным брусничным морсом.
 Платформа «Тушино», трамвай
 до станции глубокой «Сокол»...
 Нет, ничего не забывай,
 ни этот дом, ни черный цоколь,
 не замечай тридцатки лет
 и перемен неотразимых,
 сезонный проездной билет,
 раскатанный на долгих зимах.
 Судьба подкуплена сама,
 душа загублена навечно,
 под теплым куполом зима
 в меха закутана, конечно.

НА ПОМИНКАХ М. Л.

Вы не вернулись из Тулы обратно,
 Что непонятно, невероятно.
 Вы возвращались из Ялты, Сухума,
 Вы из Нью-Йорка вернулись угрюмо
 В милый лаврушенский пятый этаж.
 Где ж ваш обычный задор и кураж?
 Вот мы пируем, пустует квартира,
 Смотрят на это божки полумира,
 Шашки, винтовки, и камни, и флаги,
 Новые туфли и старые флаги.
 Муж ваш с портрета, закинув кадык,
 Смотрит сердито, не видит впритык,
 Где ваши джинсы, мужские рубашки,
 Ваши рисунки и ваши салаты,
 Боже, что делать? Мы не виноваты.
 В этом развале, при этой параше
 Мы еще помним участие ваше.
 Скоро забудем и вас, и себя,
 Как фотопленку в сердцах засветя.
 Вот и осталось часа полтора нам,
 Все-таки чуть себе душу пораним,
 Чуть оцарапаем скорбью висок.
 Мы ведь и сами-то на волосок.
 Больше от вас не дождемся привета,

Вы не наложите строгое вето
На наши глупости, рифмы и дразги.
Где ж нынче ваши цитаты и краски?
Ваши рассказы о том и об этом,
Ваше сочувствие бедным поэтам —
Баловням случая, жертвам эпохи.
Где ваши возгласы, охи и вздохи?
Вы предсказали мне первую книгу,
Вы затевали такую интригу,
Чтобы пробила она кабинеты.
Боже, мой Боже! Ужели вас нету?
Что же нам делать, куда нам податься?
Вы почему не хотели остаться?
Дела так много до истинной смерти.
Нынче вы адрес на смятом конверте,
Нынче вы кружево той занавески,
Что опускается в шорохе, плеске
И закрывает пустое окно,
В комнатах ваших до ночи темно.
Бьют по парламенту русские танки,
Падает рубль, и восходят обманки,
Кто-то волочит усатую суку.
Дайте из тьмы на прощание руку.
Я поцелую ваш перстень бесплотный,
Мы еще встретимся в жизни свободной.
Знаю я вас. Вам теперь скучновато.
Будет когда-нибудь солнце заката
Там на востоке. Тогда-то как раз
Около входа увижу я вас.

НА МУЗЫКУ ШУБЕРТА

Однокомнатная квартира
над Сокольниками парит.
Это конь, за него полмира
было выложено в кредит.
Там Дюймовочка в очулярах
душит Шубертом давний сплин.
Два диванчика в покрывалах,
и на кухне еще один.
Ходят маленькие ключицы
под батистовым кимоно.
Все на свете еще случится,
что воистину суждено.
Только надо сказать ей тихо
без подвоха и суеты:
«Там прекрасная мельничиха,
а в Сокольниках это ты!
Не грусти, наступает утро,
кровоточит рассвет в бокал,
тот, что падает сразу, круто,
больше выиграл, чем пропал.

Ты научишь меня немецкой
лучшей музыке и тоске.
Ты не будешь моей невестой,
все построено на песке —
этот парк и твоя квартира.
Нет спасения в маете!»
Вот и спишь, захватив полмира,
головую прижав к плите.

≡
Все, что видел — забыл,
что любил — разлюбил,
постарел, поглупел, огрубел.
Выхожу на пустырь,
за сугробом Сибирь,
а за нею последний пробел.

Под полярной звездой,
над опавшей листвой
только снег разлетелся сухой.
Вот дойду до стены,
сколько знаю вины, —
вся со мной, и тогда уж домой.

Погоди, не сверни,
видишь эти огни,
растревоженный свет на шоссе?
Не ходить бы туда!
Ничего, не беда,
будешь жив, вот и станешь, как все.

≡
И. А.

Я видел сон, где ты бесстрашно
в тяжелом свитере ходил
и говорил со мною странно,
как никогда не говорил.
Ты скоро станешь богатым,
достанешь дом на берегу,
и в доме модном и поганом
все двери будут на бегу.
И то, что нас еще пленяет,
ты раздаешь уже с крыльца.
И птица пыльная склоняет
любви и славы два крыла.
Она лежит на радиаторе
твоей машины легковой,
и талисманы бородатые
внутри кабины
роковой.

Как представляешь ты кружение,
полоску ранней седины?
Как представляешь ты крушение,
и смерть в дороге без жены?
Как представляешь спорт безвыходный,
костюмы стройные до слез?
Переставляешь ход невыгодный
и думаешь,
что обошлось?

Ах, эти сны, все сны неполные,
в них мало правды на виду,
но те слова твои все помню я.
И повторяю раз в году.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЧИСЛО

Двадцать первое число —
самый темный день в году.
Так мне надо, всем назло,
до звезды тебя пройду.
Видели и мрак, и течь,
как ты медленно темнел...
Надо было встать и лечь,
выйти на светораздел.
Потому что в этот день
мажут годы темноты
окончательную тень,
из которой выпал ты.
Позади какой плевок
всех июлей, октябрей...
Но еще один рывок —
поскорей бы, поскорей...
Расцветет твоя звезда
посреди чужих комет,
ты послал меня сюда
в этот раз под этот свет.
Замутняется Кронштадт,
где-то близко Лисий Нос.
За меня мое решат,
только ты меня занес
в те Карельские леса
на береговой припай,
где замерзли голоса,
что взлетели в Первомай.
И когда последний луч
потускнеет на весу,
я железный верный ключ
в скважину твою внесу,
и откроется мне дом,
полный мертвых, молодых...
Самый темный день — вдвоем
выпьем тихо на двоих.

ЭДИТА,
гнчк
шахтера





от уже 37 лет это имя завораживает и привлекает самых разных людей. Первое, что бросается в глаза на ее концертах, — пестрота публики: шестнадцатилетние в джинсах и старушки, студенты и солидные бизнесмены, супружеские пары и модные ныне «деловые женщины». И как бы ярко ни вспыхивали новые «звезды» на нашей эстраде, еще никому не удалось затмить на песенном Олимпе эту элегантную женщину.

— *Эдита Станиславовна, у вас, видимо, есть какой-то секрет, благодаря которому и в девяностые годы вы так же привлекаете внимание, как и в шестидесятые. А ведь эстрада капризна, время безжалостно...*

— Какой там секрет... Просто не позволяю себе пренебрежительно относиться к своему слушателю. Люблю его... Во время концертов стараюсь настроить зал на доверительные, даже задушевные интонации. Говорю с людьми о жизни, о любви, о том, что волнует и тревожит и их, и меня.

— *Но эти же самые слова скорее всего могли сказать и те певцы, «жизнь» которых на сцене продлилась всего несколько лет. А ведь многие из них обладали великолепными вокальными данными.*

— Удержаться на эстраде действительно очень сложно. Одного таланта для этого, пожалуй, мало. Здесь важно все. И обаяние актера, и его трудолюбие, фанатичная преданность сцене. Согласитесь, неталантливых людей вообще нет. Но только единицы способны реализовать данные природой способности. Отчего так получается? Даже достигнув каких-то успехов, случается, человек неожиданно ломается, в нем умирает творчество. Усталость? Или успо-

коенность на достигнутом? Или же самомнение, несоизмеримое с реальными возможностями? Как знать... Видимо, точного ответа в данной ситуации не существует.

Мне сложно говорить о себе, почему произошло так, а не иначе. Я еще в детстве была очень самолюбива. Хотела всегда быть только первой. Причем во всем. В школе, в спортзале. Может, эта черта характера и определила дальнейшую жизнь. Но у меня всегда хватало здравого смысла перенимать все то положительное, что меня окружало. Прислушиваться к советам, учиться у тех людей, с которыми сводила судьба. Господи, как же я боялась быть серой мышкой, эдакой посредственностью. И эта боязнь словно бы подстегивала меня, заставляла работать над собой, работать... Вообще эстрада сродни спорту. Чтобы добиться результатов, мало быть постоянно в форме, это само собой разумеется, надо еще обладать самоконтролем, самодисциплиной и колоссальным стремлением к победе. И, повторюсь, очень любить своих почитателей. Нет, не идти у них на поводу. Не «заводить» зал избитыми приемами. Так было бы слишком просто. И главное, надолго бы хватило и меня, и их? Только искренность, только любовь могут дать артисту второе дыхание.

— *С тех пор, когда вы только начинали, на эстраде многое изменилось. Не только манера исполнения, но и само отношение к искусству как публики, так и артистов. Вас это в какой-то мере коснулось?*

— Скажу честно, я не готова к нынешнему «деловому искусству», ставшему для многих бизнесом... «Скроена» по-другому. Может быть, для нынешних времен излишне эмоциональна и сентиментальна. Хотя, когда прижмет, беру себя в руки и становлюсь собранной и

деловой. Мне кажется, для артиста главное — не затеряться в толпе. Сейчас же, как метко заметила польская певица Марыля Радович, певческая эстрада напоминает огромную демонстрацию на узком шоссе. Задерживается на нем и запоминается тот, кто в середине потока, а те, кто примазался по краям, скатываются на обочину.

Сейчас, к сожалению, многих волнует не столько творчество, сколько деньги, которые они «железно» назначают за свои выступления, не считаясь с материальными возможностями зрителей. И в конце концов получается, что они становятся обслугой для богатых, не осознавая унизительность такого положения. А ведь талант и его уровень определяют не договорные цены, а признание публики. Ее насильно в зал не загонишь и дешевой билетом тоже не заманишь. Она, как говорится, голосует рублем. Истинный гонорар платит жизнь, а не очередной спонсор.

— На них-то многие нынешние «звезды» и делают ставку...

— Увы, на эстраду выходят все, кому не лень. Главное — деньги, а уж телепередачи и концертные площадки найдутся. Все идет на продажу, и неудивительно, что при искусстве тоже появляются дельцы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому-то так много серости и мало ярких индивидуальностей. И вся эта бездарь не только обманывает публику, выдавая за искусство кривляние и галдеж, но и обманываются сами. Калеча собственную судьбу, занимаясь тем, к чему не имеют призвания и природных данных. Жаль смазливеньких девочек и разбитных мальчиков, даже не подозревающих, что они на эстраде лишь благодаря совершенству импортной аппаратуры или поддержке друзей-спонсоров.

А порой бывает неловко и за маститых. Однажды пришла на концерт послушать коллегу. Внимание привлекла на сцене тряпочка, старательно прикрепленная кнопками к полу. Она не давала мне покоя и все время отвлекала. Я мучилась вопросом: для чего она, что должно означать? Ведь в искусстве ничего не бывает лишним и случайным. Но вот певец запел песню о войне. Пронзительную, драматичную, и в финале, где героя убивают, картинно рухнул на эту самую тряпочку. И тут все стало ясно. Ее расстелили, чтобы артист не испачкал свой светлый концертный костюм. Было неловко и стыдно за него.

— Вы выглядите всегда великолепно — красивы, элегантно. И не только на сцене. А между тем вы уже бабушка...

— Я свои годы не утаиваю и молодиться примитивным образом не собираюсь. Женщине всегда столько лет, на сколько она выглядит. Не скрываю, а, наоборот, открыто горжусь, что уже имею внуков. Старший — Стасик, его мы назвали в память моего отца. Он учится в хоровом училище имени Глинки, проявляет интерес к музыке, вокалу, поэзии. У младшей — Эрики — склонности еще не определились. Ребята самостоятельные. Правда, Эрика, по-моему, излишне убеждена в своей «неповторимости» и «особости». Очевидно, ее слишком балуют и уделяют много внимания.

— Что делает Пьеха, чтобы всегда быть в форме — красивой и привлекательной?

— Ничего особенного не делаю. Ни к каким ухищрениям не прибегаю. Подтяжкой лица не занимаюсь, таблетками себя не изнуряю ради стройности и «девичьего» облика. Просто ежедневно принимаю холодный душ и все годы со-



блюдаю строгую диету, в излишества не впадаю. И то, и другое вполне доступно любой женщине, если у нее хватит упорства и выдержки и она не станет поддаваться соблазнам. По мере возможности ем овощи и фрукты, а еще прощенные злаки.

По-моему, для всех женщин (я исхожу из собственного опыта) существует один секрет молодости. Прежде всего женщина должна сама желать хорошо выглядеть, а не опускаться, превращаясь в замухрышку. Ей важно чувствовать и сознавать себя влюбленной, восторгаться, восхищаться жизнью невзирая на все невзгоды и тяготы. Когда у женщины блестят глаза, она уже красива.

— Принято считать, что о вкусах не спорят. Тем не менее своему сценическому костюму вы придаете большое значение.

— Считаю его важным дополнением к песне. В каждом концертном платье — определенный художественный образ. Я никогда не вышла бы на сцену в платье даже самом нарядном, купленном в коммерческой палатке или на вещевом рынке. Свой стиль — это второе «я». Если удастся его найти — большая удача. Когда-то Слава Зайцев был автором многих моих костюмов. Прекрасных и именно моих. Скажу больше: он-то и помог найти мой стиль — будuarный, в основе которого женственность и присущие мне нежные, пастельные тона. И линии — легкие, словно парящие. Сейчас могу только посетовать, что, став мировой известностью, он для меня практически недосыгаем...

Теперь меня «одевает» модельер Нонна Меликова из петербургского Дома моделей, талантливый художник с собственным почерком, я назвала бы его авангардистским. Трудности возникают в

реализации идей и замыслов. Приходится голову ломать, где что достать. Все у нас стало не только страшно дорого, но и невысокого качества. Деньги, которые зарабатываю за рубежом, вынуждена до последней «копейки» тратить на ткани. Покупаю их в США, Франции, Израиле, Японии.

— Часто видишь красивых женщин, однако при «детальном рассмотрении» убеждаешься, что в большинстве случаев это «дело рук» косметики и макияжа. Не случайно говорят, что о внешности женщины надо судить, когда она просыпается утром. А как к косметике относитесь вы?

— К умеренной — положительно. Женщине, а тем более актрисе, без косметики нельзя. Я отдаю предпочтение питательным кремам, например, «Стендаль» и нашим отечественным — «Мечта» и «Вечер». Неравнодушна к хорошим духам: «Фиджи», «Магриф» и, конечно, «Коллаж». Терпкий запах решительно отвергаю. И в макияже использую только умеренные тона.

Удивляюсь школьницам, обильно и ярко красящимся: губы — «алые вампиры», глаза — «черные глазницы», в которые, как им кажется, мужчины просто «проваливаются». А теперь еще и скулы принялись румянить. Но что может быть лучше естественного цвета девичьей кожи? Молодость прекрасна сама по себе и не нуждается в дополнительном украшении, когда ее утрируют косметикой, — получается порой просто ужасно. Жаль этих девчонок.

— Для многих эталоном служат артисты. Их внешний вид, поведение на сцене. А «эталон» бывают разные. К примеру, сейчас стало модным показываться перед публикой в полуобнаженном виде...

— Действительно, иногда певцы появляются в «запредельном»



В гостях у Клавдии Шульженко.

обличье. Те же молодые люди в майках, словно на спортивной площадке, или в распахнутой сорочке, похожей на ночную. Все так незстетично... Но, думаю, рано или поздно это пройдет. Мы же всегда ловим за хвост западную моду, не считаясь со своими национальными традициями. То, что у нас в ходу сейчас, — там уже на исходе. Уходят в небытие хипповатые, размазанные, полуодетые певцы и музыканты. На смену им пришли внутренняя и внешняя скромность, эlegantность и естественность.

— Такая эффектная женщина, как вы, наверное, постоянно украшала все правительственные концерты и была «охвачена» благосклонностью правителей и вождей?

— Да что вы! Все совсем наоборот! За получением звания народной артистки «стояла в очереди», не в пример другим, 31 год. Многие

более сообразительные «обежали» меня на временной «дистанции».

Однажды мне «поручили» спеть на каком-то важном мероприятии, где должен был присутствовать Хрущев. Я репетировала два месяца. Худсоветы просто замучили, а в результате решили все-таки не выпускать. Какого-то чиновника смутил мой акцент, который, как он посчитал, может покоробить слух «главного ценителя» искусства и литературы. Правда, Брежнев потом «поправил» Хрущева. Однажды после какого-то концерта лично удостоил внимания и, верный своему правилу, обнял и облобызал, показав, как растроган. Выступала я и перед Горбачевым. Михаил Сергеевич пожал мне руку, как товарищу, наверное, чтобы ничего дурного не подумали. Что касается Ельцина, то к нему меня «не приглашали» и на своих концертах я его пока не видела.

Так что общалась с вождями от случая к случаю. Я не обладаю способностью нравиться чиновникам и власть предержащим. Не умею к ним подлаживаться, льстить, делать подарки. Меня долго не пускали за рубеж. Ведь я не пела песен о партии и вождях. Все больше о любви, дружбе, чистоте человеческих отношений. Одно время меня усиленно приглашали во Францию на концерты в «Олимпию», но тогдашний министр культуры Фурцева категорически противилась этому. Правда, потом с большим трудом меня все-таки выпустили в составе мюзик-холла. Это были первые зарубежные гастроли.

Сейчас я езжу довольно часто. Выступала в США, Франции, Израиле. Много гастролирую по нашей стране, по бывшим республикам.

— *Вы 37 лет на сцене. За плечами большая часть жизни, и вся на глазах россиян...*

— Тем, кто не знает, скажу — родилась во Франции в семье шахтера. Родители приехали туда из Польши в поисках работы еще до войны, поселились в небольшом горняцком поселке Нуазель-су-Ланс департамента Па-де-Кале. Отец очень любил свою профессию. Искреннюю гордость за принадлежность к горняцкому племени сумел передать и сыну — моему старшему брату. Но тяжелый, изнурительный труд подорвал его здоровье, и он еще совсем молодым умер от силикоза. Потом от туберкулеза умер и мой брат. Ему было всего 17.

Уже смертельно больной, папа целыми днями возился в маленьком садике возле нашего дома, выращивал розы. Он не мог жить без дела, и цветы, наверное, вселяли в него надежду на выздоровление. Была у него заветная мечта — вырастить черную розу. С тех пор память об отце всегда связана с эти-

ми цветами. Когда зрители на концерте преподносят их мне, чувствую, как подкатывается к горлу ком и щемит сердце.

— *А когда вы впервые запели? Обычно принято считать, что это связано с какой-нибудь романтической историей.*

— В моей жизни ничего подобного не было. Хотя в школе участвовала в хоровом кружке и выступала на всех школьных вечерах, становиться певицей не собиралась. Просто нравилось петь. Впервые прямо на улице нашего шахтерского городка я спела «Марсельезу». Это произошло в тот день, когда все узнали об окончании войны. Надо сказать, что у французов эта песня, рожденная революцией, до сих пор остается самой популярной и любимой. Такая верность традициям и бережное отношение к отечественной истории достойны уважения. Ни один француз не станет плевать в прошлое своего народа, каким бы оно ни было.

В Польше, куда возвратилась наша осиротевшая семья, я после седьмого класса поступила в педагогический лицей и окончила его с золотой медалью. Мечтала стать учительницей, очень любила малышей.

В награду за успехи меня направили в Ленинград, в университет, где стала заниматься на факультете психологии. В то время я совсем не знала русского языка и, чтобы хорошо изучить его, записалась в хор студенческой самодеятельности. Дело в том, что именно пение и стихи помогают овладевать правильным произношением неродного языка, усваивать непривычные ударения и интонации.

В хор польского студенческого землячества входили студенты дирижерско-хорового факультета консерватории, и состав у нас был интернациональный. Каждый при-

носил свои песни: польские, французские, латышские, эстонские, немецкие, русские. Однажды перед концертом в Большом зале консерватории ведущий спросил: «Как вас, ребята, объявлять?» Кто-то ответил: «Пусть будет «Дружба». Нашим ансамблем руководил Александр Броневицкий. Впоследствии я стала в нем солисткой.

— Наверное, у каждой песни есть своя особенная судьба?

— Примечательно, например, история рождения «Баллады о хлебе». Возвращаясь однажды вечером с репетиции, я вдруг увидела на мостовой помоть брошенного хлеба. И это в Ленинграде, пережившем такую страшную блокаду! Я не могла в ту ночь уснуть... На следующий день рассказала о своих переживаниях поэту Леониду Палею и композитору Владимиру Успенскому, и они по моей просьбе написали «Балладу о хлебе». Когда я через несколько дней исполнила ее, ленинградцы, сидевшие в зале, плакали и не скрывали слез...

— Одним из своих главных учителей и наставников вы называете Александра Броневицкого, открывшего вас как певицу и ставшего впоследствии вашим мужем. Но не секрет, что ваши отношения складывались не совсем гладко, и в конце концов вы расстались. Разрешите задать, может быть, не совсем деликатный вопрос: что послужило причиной конфликтов, приведших к разрыву?

— Когда супруги расходятся, истинную причину знают лишь они двое, а все остальное — досужие домыслы и сплетни. Я о Броневицком навсегда сохранила самые светлые и благодарные воспоминания и чту его память. Но из того, что у нас бывали серьезные разногласия, не делаю секрета. Как яркая личность со своим творческим

почерком и в то же время властным характером, он не хотел считаться с моей индивидуальностью и с моими интересами. Считал, что я, как ученица, должна беспрекословно слушаться его и во всем подчиняться. Поначалу он действительно был для меня непререкаемым авторитетом, но в конце концов природа взяла свое. Я ведь по гороскопу Лев, а ему, как известно, покорность и слабость несвойственны. Постепенно мое собственное творческое и человеческое «я» стало проявляться все отчетливее и требовало свободы. И я обрела ее, создав собственный ансамбль после того, как мы расстались...

— 1994 год стал для вас особенным... Вы снова вышли замуж.

— Да, я смелая женщина. Мой нынешний муж — Владимир Поляков — литератор, философ, музыкант. Ко всем достоинствам он обладает еще одним, пожалуй, главным, а именно — умом. Мы с ним одного возраста, вырастили детей, воспитываем внуков. Так что своим выбором я довольна.

— Надеюсь, в связи с замужеством вы песне не измените?

— Никогда. Это моя первая любовь, она всегда была, есть и будет со мной.

**Беседу вела
ВАЛЕНТИНА ТЕРСКАЯ.**

**Фото на IV-й обложке
ВАЛЕРИЯ ПЕТЕРБУРЖСКОГО**

В конце прошлого столетия выдающийся русский историк К. Н. Бестужев-Рюмин с горечью восклицал: «Стыд и срам Русской земле, что до сих в Москве Собачья площадка (где жил Хомяков) не зовется Хомяковской и не стоит на ней его статуя... Хомяков! Да у нас в умственной сфере равны с ним только Ломоносов и Пушкин!»

Воскликая так, историк не мог предвидеть всего, что случится в следующем столетии.

Собачья площадка в Москве уже никогда не будет названа «Хомяковской» — по той простой причине, что она вместе с домом, где жил Хомяков и где в 1840—1850 годы формировалось русское славянофильство, где встречались и спорили Чаадаев и Герцен, Гоголь и Аксаковы, Тургенев и

Толстой, была разрушена во время одной из многочисленных «реконструкций» Москвы и погребена под «вставной челюстью» Калининского проспекта.

В 1918 году дочь Хомякова, Мария Алексеевна, организовала музей (осторожно названный «Музеем сороковых годов»): она сохранила в целости и документы, и книги, и личные вещи своего отца и его знаменитых друзей. Музей существовал недолго: через десять лет его закрыли. Рукописи, книги и часть вещей передали в Государственный Исторический музей (где они до сих пор находятся в еще не разобранном состоянии), а многие бесценные реликвии попросту уплыли в комиссионные магазины...

А оценка Хомякова, данная знаменитым основателем «бестужевских курсов», до сих пор представляется неумеренно преувеличенной. Мы привыкли, что он — поэт «второго ряда» и автор «консервативных» статей, как в учебниках написано и в энциклопедиях тоже...

Еще задолго до революции и до победы «русского марксизма» русская интеллигенция повторяла, что Хомяков, как и все славянофилы, не создал ничего такого, что выходило бы за пределы «исторического» интереса и пригодилось в нашем сегодня.

И уже современники Хомякова писали о нем очень по-разному. В знаменитых салонах учено-литературной Москвы 1840—1850-х годов он, по воспоминаниям И. С. Тургенева, «играл роль первенствующую, роль Рудина». И восторженные почитатели и недруги его сходились в том, что это был «тип энциклопедиста» (А. Н. Плещеев). «Какой ум необыкновенный,

ВЯЧЕСЛАВ КОШЕЛЕВ

П

ЛОЩАДА



Литография ЮРИЯ СЕЛИВЕРСТОВА

ХОМЯКОВА

какая живость, обилие в мыслях, которых у него в голове заключался, кажется, источник неиссякаемый, бывший ключом, при всяком случае, направо и налево» (М. П. Погодин).

Лидерство это, как водится, вызывало и уважение, и скрытое раздражение. «Хомяков — низенький, сутуловатый, черный человек, с длинными черными косматыми волосами, с цыганскою физиономиею; с дарованиями блестящими, самоучка, способный говорить без умолку с утра до вечера и в споре не робевший ни перед какою уверткою...» (С. М. Соловьев). Изредка появлявшиеся в журналах и сборниках статьи Хомякова поражали читающую публику глубиной эрудиции и обескураживали необыкновенной пестротой и кажущейся необязательностью сообщаемых сведений; а еще более — тоном шутиwego балагурства, за которым не разберешь, где автор говорит всерьез, а где издевается... Тот же Соловьев отмечал: «...Скалозуб прежде всего по природе, он готов был всегда подшутить над собственными убеждениями, над убеждениями приятелей». А почему бы, собственно, и не пошутить?..

Смутные ощущения вызывали и необычайная энциклопедичность интересов, и множественность талантов этого человека.

Чего он только не умел и не знал! И чем только не занимался!

Он был поэт, автор лирических стихотворений и стихотворных драм, входивших в хрестоматии и ставившихся в театре. Его талант ценили и любили Пушкин и Лермонтов, Языков и Гоголь, Баратынский и Тютчев, Чаадаев и Лев Толстой (все — знакомые Хомякова!). Многие его стихи остались в золотом фонде русской словесности.

Он был историк, автор неоконченного огромного труда о всемирной истории, который современники, с легкой руки Гоголя, прозвали «Семирамидой», но который носил, вероятно, более серьезное заглавие: «Исследования истины исторических идей». Труд этот и по сей час вызывает интерес и споры, становится источником современной исторической концепций.

Он был философ, превосходный знаток всех старых систем гуманитарного освоения мира. Он стал одним из первых — и блестящих — ниспровергателей гегелевского классического идеализма.

Он был богослов — первый светский богослов на Руси — и прославился знаменитыми французскими брошюрами, выходившими под названием «Несколько слов Православного Христианина о западных вероисповеданиях». Полемика вокруг этих брошюр до сих пор активно идет и на Западе, и у нас.

Он был социолог и правовед, сумевший в самое глухое время николаевской России опубликовать в открытой печати острейшие политические статьи, отразившие идеи русского славянофильства. И многие страницы этих статей звучат так, будто вчера писаны.

Он был экономист, разрабатывавший еще в 1840-е годы практические планы уничтожения крепостничества («мерзости рабства законного») и позже активно влиявший на подготовку «великой реформы» освобождения крестьян.

Он был эстетик и критик — литературный, музыкальный, худо-

жественный — и создал классические оценки произведений С. Т. Аксакова, оперы М. И. Глинки «Жизнь за Царя», картины А. А. Иванова «Явление Христа народу».

Он был полиглот-лингвист, знавший практически все древние и новые европейские языки, много и успешно занимавшийся сравнительной филологией. Однажды, во время разъездов, застрявший на почтовой станции, он, без каких-либо книг и пособий, в две ночи составил сравнительный санскритско-русский словарь, не потерявший интереса и для современных санскритологов.

И еще... Инженер-изобретатель, получавший в Англии патенты за принципиально новые конструкции паровой машины, создававший (во время Крымской войны) дальнобойное ружье. Медик, много сделавший в области практической гомеопатии и лечения холеры. Помещик-практик, разрабатывавший новые способы севооборота, винокурения и сахароварения. Замечательный спортсмен, бравший первые призы в конных скачках и стрельбе (кстати, именно Хомяков впервые в русском языке употребил в названии одной из статей английское слово *sport* и ввел его, таким образом, в наш повседневный обиход).

И так далее... Разносторонность такого рода всегда удивляет истораживает. Часто подобными способностями бывают наделены графоманы и дилетанты, знающие все и готовые писать обо всем на свете. И редко-редко в наши новые времена возникают подлинные энциклопедисты, подобные деятелям эпохи Возрождения.

Но ведь не случайно же Бестужев-Рюмин сравнивал Хомякова с Ломоносовым. Тот «адъюнкт химии» тоже писал и стихи, и исторические трактаты, и социологические статьи, и российскую грамматику... Ломоносова мы как-то переварили и «прошли», Хомякова — еще не можем. Во всяком случае, сейчас нет в России человека, который смог бы адекватно прокомментировать то, что Хомяков написал.

Мы сейчас уже безвозвратно утратили — в массе своей — тот уровень гуманитарных знаний, которым владели наши образованные прадеды. Почитайте книги, изданные в прошлом веке: французские цитаты даются без подстрочного перевода — никому и в голову не приходило, что образованный человек может не понять...

Мы, что еще страшнее, утратили тот уровень общественной нравственности, который существовал у людей хомяковских времен: для нас уже почти «не говорящими» становятся такие ключевые моральные понятия, как «целомудрие» или «жизнь в Церкви».

Мы уже расплачиваемся за эти утраты — а платить придется дорого, и не одному еще поколению.

Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) прожил недолгую и не богатую событиями жизнь. Родился в Москве. В молодости служил, был на русско-турецкой войне. К зрелым годам предпочел стать человеком неслужащим, «частным», — и жил опять-таки в Москве либо в родовых поместьях. Жил, как Рудин, а умер, как Базаров: лечил крестьян от холеры и заразился сам. После

себя оставил много начатого, но почти ничего не закончил, не реализовал.

И эта нереализованность — в сочетании с необыкновенной разбросанностью интересов и занятий — до сих пор мешает увидеть то *главное*, что он оставил после себя.

Одни его последователи (как Н. А. Бердяев) видели это главное в хомяковской историософии и называли «самой замечательной, наиболее приближающейся к гениальности идеей Хомякова» разработанную им знаменитую антиномию «иранских» и «кушитских» народов.

Другие (как Ю. Ф. Самарин) считали главным в его жизни и личности то обстоятельство, что «Хомяков жил в Церкви» и детально, полемически разработал те возможности «воцерковления», которые представлены православному христианину русской историей и русской культурой.

Третьи (как В. В. Розанов) видели главное в самом факте многообразной деятельности Хомякова-славянофила, основателя и главного «пропагатора» очень разностороннего и неоднозначного учения, которое может быть понято только в целостном контексте представленных им стихотворных, публицистических и эстетических манифестов. «Главное» здесь найти действительно трудно: все сферы деятельности Хомякова были сложным образом связаны, и стоило потянуть за одну «ниточку», как тут же высовывались другие... Ему было особенно трудно: он стоял у *начала*. Разносторонность его происходила не от барского дилетантизма или праздного любопытства, а от того, что сама русская жизнь вдруг потребовала этой разносторонности.

Служа в Лейб-гвардии конном полку, он много общался с декабристами, даже спорил с ними, и только по чистой случайности не оказался вовлеченным в следствие. А после разгрома декабризма русское дворянство очутилось в своеобразном идейном кризисе, выхода из которого никакие «просветители» подсказать не могли. После трагедии на Сенатской площади стало очевидным, что разрушена вера во всеспасающую силу просвещения и политических реформ. Идеалы просвещенного абсолютизма, конституционной монархии выявили свою несостоятельность...

А что взамен? Русская мысль на десятилетие остановилась перед идейной пропастью. Откуда было ждать освобождения от нынешнего — несправедливого! — порядка вещей? И что противопоставить этому порядку? Вопрос заключался уже не в том, *как* при существующей цензуре высказать здравые (и свободололюбивые) идеи, а в том, *что* высказать...

В пору духовного возмужания Хомякова широко распространились *поиски*. Философские штудии, утопические «брожение», «примирение с действительностью» — на их базе стали формироваться и русское западничество, и русское славянофильство.

Лет двадцать спустя, когда славянофильская теория в бесконечных трудах и спорах в основном сформировалась, Хомяков в предисловии к журналу «Русская Беседа» (1856) дал своеобразный итог той трактовки «русского духа», которая в его представлении была исходной для характеристики особенностей национального прошлого и будущего:

«...Русский дух создал самую Русскую землю в бесконечном ее объеме, ибо это дело не плоти, а духа; Русский дух утвердил навсегда мирскую общину, лучшую форму общежительности в тесных пределах; Русский дух понял святость семьи и поставил ее как чистейшую и незыблемую основу всего общественного здания; он выработал в народе все его нравственные силы, веру в святую истину, терпение несокрушимое и полное смирение».

Тезисы эти, полемически направленные против западных утверждений о несамостоятельности «духовного просвещения России», основывались на серьезнейших исторических и философских разысканиях.

А разыскания эти начались, что называется, «от противного», как необходимая антитеза появившимся в 30-е годы утверждениям о «бесплодности» российского прошлого и единственно возможной модели будущего — медленному, но неуклонному движению к «европеизации», в финале которого возникало счастливое, цветущее царство.

Некоторые детали этой модели выступили уже в нашумевшем «Философическом письме» П. Я. Чаадаева, опубликованном в конце сентября 1836 г. Чаадаев был, по обыкновению, откровенен в своих приговорах:

«Мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас... В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое, унижительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и доныне... Нет в памяти чарующих воспоминаний, нет сильных наставительных примеров в народных преданиях... Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте, без прошедшего и будущего».

Далее намечался выход из этого безотрадного положения: «Чтобы сравнить с прочими образованными народами, нам надо *переначать* для себя снова все воспитание человеческого рода. Для этого перед нами история народов и плоды движения веков».

Теоретически идея Чаадаева была строго логична: общество без естественно возникших исторических традиций должно себя «переначать» и «перестроить» в соответствии с воспринятыми извне прогрессивными культурными установлениями. Дезавуировать эту идею можно было, лишь оспорив исходный пункт рассуждений — тезис о том, что «мы (то есть русские. — В. К.) существуем как бы вне времени». Заметим еще себе, что эти рассуждения Чаадаева, да и вывод его, очень напоминают начальные рассуждения первых «прорабов перестройки» недавнего времени.

Пытаясь оспорить этот тезис, будущие славянофилы столкнулись с неожиданной трудностью: тогдашнее состояние исторической науки не давало достаточного материала для прямого «уличения» Чаадаева, давшего вполне допустимую (с точки зрения логики) интерпретацию известных исторических фактов, — и интерпретация эта вполне соответствовала мироощущению человека 30-х годов. Поэтому, помимо собственно исторических разысканий, требовалась серьезнейшая историософская концепция,

которая могла бы быть всерьез противопоставлена «чаадаевщине».

Петр Киреевский, приятель Хомякова, всю жизнь собирал русский фольклор и больше других знал о преданьях «темной старины». Он познакомился с «Письмами» Чаадаева еще в рукописи и глубоко возмущился:

— «Мы не только можем гордиться богатством и величием нашей народной поэзии перед всеми другими народами, но, может быть, даже и самой Испании в этом не уступим; несмотря на то, что там все благоприятствовало сохранению народных преданий, а у нас какая-то странная судьба беспрестанно старалась их изгладить из памяти; особенно в последние 150 лет, разрушивших, может быть, не меньше воспоминаний, нежели самое татарское нашествие. Эта проклятая чаадаевщина, которая в своем бессмысленном самопоклонении ругается над могилами отцов и силится истребить все великое откровение воспоминаний, чтобы поставить на их месте *свою* одноминутную премудрость... так меня бесит, что мне часто кажется, как будто вся великая жизнь Петра родила больше злых, нежели добрых, плодов».

И далее — тезис, принципиально важный для еще не родившегося славянофильства: «Я с каждым часом чувствую живее, что отличительное, существенное свойство варварства — беспамятность; что нет ни высокого дела, ни стройного слова без живого чувства своего достоинства, что чувства собственного достоинства нет без национальной гордости, а национальной гордости нет без национальной памяти» (из письма П. Киреевского к поэту Н. Языкову от 17 июля 1833 г.).

В этом признании содержались почти все основные постулаты будущего славянофильства:

— наше давнее прошлое разрушено и разрушается;

— процесс сознательного разрушения собственных «преданий» усилился после переворота Петра I, родившего «больше злых, нежели добрых, плодов»;

— в настоящее время родилась идея отрицания каких бы то ни было «воспоминаний», которые заменяются «одноминутной премудростью»;

— без восстановления «национальной памяти» невозможна цивилизованная жизнь народа и соответственно его будущее.

Дабы доказать это, П. Киреевский с головой ушел в собирание и систематизацию народного творчества. А Хомяков начал последовательно и детально разрабатывать всемирную историю.

Его труд, как большинство работ Хомякова, остался неоконченным: два десятка тетрадок, исписанных бисерным почерком и потом составивших три объемистых тома... И назывался этот труд, по хомяковскому обыкновению, шутливо. Однажды Гоголь, бывший с Хомяковым в приятельских отношениях, застал его за писанием и, заглянув через плечо, наткнулся на имя вавилонской царицы Семирамиды. И громогласно объявил: «Алексей Степаныч Семирамиду пишет!» Так и пошло: имя вавилонской царицы стало названием одного из первых русских историко-философских сочинений.

Хомяков вполне ощущал энциклопедичность своих познаний и

не ставил перед собой частных и локальных задач. Он задался целью рассмотреть предысторию наций в ее «всемирном» срезе, начиная с самых «темных», самых далеких времен. На основании этого изучения он пришел к выводу, что культура в целом есть выражение высшего духовного начала — религии, ибо «мера просвещения, характер просвещения и источники его определяют меру, характером и источником веры».

Картина всемирной истории представляет, по Хомякову, воздействие на человечество полярных культурно-религиозных архетипов, сопряженных с идеями свободы и необходимости. Это «два начала, иранское и кушитское», связанные с двумя противоположными стихиями, определявшими облик первоначального сосуществования людей на Земле: «народы завоевательные» и «народы земледельческие». К «земледельческому» («иранскому») типу относится и славянское племя.

«Народы завоевательные, по первоначальному своему характеру, сохраняют навсегда чувство гордости личной и презрение не только ко всему побежденному, но и ко всему чуждому... Победители, они угнетают поработанных и не смешиваются с ними; побежденные, они упорно противятся влиянию победителей и хранят в душе инстинкты, зарожденные в них веками старинной славы...

Народы земледельческие ближе к общечеловеческим началам. На них не действовало гордое волшебство победы... От этого они восприимчивее ко всему чуждому. Им недоступно чувство аристократического презрения к другим племенам, но все человеческое находит в них созвучие и сочувствие».

Примеры этого «древнего» разделения Хомяков черпает и в прошлом, и в современном ему настоящем. С одной стороны, «германец во всех странах света сохраняет мечту своего благородного происхождения и живет между иноземцами в гордом одиночестве», «ни один англичанин не знает наречий кельтических» (то есть языка завоеванных народов) и т. п. С другой стороны, «русский смотрит на все народы, замезжеванные в бесконечные границы Северного царства, как на братьев своих, и даже сибиряки на своих вечерних беседах часто употребляют язык кочевых соседей своих, якутов и бурят. Лихой казак Кавказа берет жену из аула чеченского, крестьянин женится на татарке или мордовке, и Россия называет своею славою и радостью правнука негра Ганнибала, тогда как свободолюбивые проповедники равенства в Америке отказали бы ему в праве гражданства и даже брака на белолицой дочери прачки немецкой или английского мясника».

Две стихии первоначального «народопроявления» в дальнейшем своем развитии осложнились множеством вариантов. Но развитие всемирной истории оказалось реализованным по всем законам основного драматического конфликта двух противоположных духовных «начал». Начало, связанное со стихией «земледельческой», Хомяков именуется *иранством*; противоположное ему «завоевательное» начало — *кушитством*. А духовная история человечества рассматривается как многовариантная борьба «иранства» и «кушитета».

Подобная идея вовсе не была новостью: что-то похожее встреча-

лось в работах Фридриха Шлегеля (разделявшего человечество на две враждебные расы, каинитов и сефитов), в «Философии истории» Гегеля (противопоставлявшего иранский «принцип света» и египетский «принцип тайны»). Новым было именно то, что Хомяков не строил эту антиномию по принципу «хорошее» — «плохое», рассматривая «иранство» и «кушитство» как две духовно проявленные движущие силы в развитии человечества.

Стихия «кушитства» — анализ и рационализм; «иранство» склоняется к синтетическому, нерасчлененному приятию мира. Оба типа национальной психологии оказываются, таким образом, одинаково естественными.

«Кушитство», основанное на необходимости, рождает условную общность людей — государство. Все «кушитские» цивилизации были замечательны именно как сильные государственные образования: Египет, Вавилон, Китай, Южная Индия... «Иранство» провозглашает естественный союз людей и потому редко оформляется в сильное государство. Поэтому, констатирует Хомяков, исторический процесс тяготеет к «неизбежному торжеству учения Кушитского» и к «постепенному падению Иранства». «Иранство... всегда восстанавливалось частными усилиями великих умов; кушитство вкрадывалось от беспрестанного действия времени и народных масс».

При наличии в «иранстве» примеси «кушитства» неизбежно побеждает последнее (как случилось, например, в истории Древней Греции и Древнего Рима): духовная свобода должна быть абсолютной, и любая уступка необходимости ведет к гибели свободы.

154
Появление христианства стало переломным этапом истории: Христос представил героическую попытку противостояния мировому «кушитству». Но его победа не означала победы «иранства»: «кушитство» «заклучилось в логику философских школ»... И отрицаемое Хомяковым гегельянство стало своеобразным триумфом «кушитства» в веке девятнадцатом...

В начальных главах «Семирамиды», писавшихся «по горячим следам» «Философического письма» (в 1837—1839 гг.), Хомяков, споря с Чаадаевым, решает сказать ему, к чему предназначено «славянство»: «Не та ли была судьба славянского племени, чтобы оно оживляло и пробуждало дремлющие стихии в других народах, а само оставалось без славы и памятников, с какими-то полустремлениями, не достигающими никакой цели, и с какою-то полужизнью, похожей на сон? Быть может, эта полужизнь, эти полустремления суть врожденный порок всей семьи славянской. Быть может, они только следствия излишних потребностей внутреннего духа, неспособного к развитию одностороннему и просящего полной жизненной гармонии, до которой еще не созрело человечество».

Речь идет тоже о необходимости изменить какие-то «начала»: «В них (славянах. — В. К.) была совершенная невозможность собственного развития независимо от такого общего, вполне человеческого начала духовного, которое бы соответствовало всем требованиям духа человеческого, а этого начала не было или оно было утрачено...» Хомяков вовсе не идеализирует и «славянское

племя», никак не преувеличивая его роли в историческом развитии. Но в отличие от Чаадаева предполагает большие «ролевые ожидания» в будущем.

Будущее это прямо соотносится с проблемой двух возможностей общественного развития России — пути революционного и эволюционного.

Проблема народа и революции, поднимавшаяся Хомяковым еще в юношеских спорах с декабристами, выстраивалась в следующую цепь рассуждений: «Всякая революция в себе предполагает предшествовавшее беззаконие. Взрыв страсти тем сильнее, чем ужаснее было иго, против которого она восстает. Преступление ее и жестокость необходимо обусловлены преступлением и жестокостью власти и нисколько не зависят от трудностей и опасности самой борьбы. Кровь лилась во всех концах Англии во время войны Карла I и Длинного Парламента: плахи свидетельствовали о мщении народном. Революция воцарилась во Франции без боя и без сопротивления, кроме Ванден; а между тем убийства Сентябрьские, Лионские расстреливания, Нантские утопления и всякая подробность всякий день, почти всякий час несчастных годов от 1792-го до 1794-го будут храниться в летописях человечества как воспоминания ненавистные и отвратительные, и сама Франция будет еще долго носить клеймо стыда за все то, что она сделала, и за все то, что она терпела».

Революция, по Хомякову, есть прямое проявление стихии «кушитства». Она возникает как естественное следствие несвободы. В славянской же «земледельческой» стихии (до тех пор, пока она не побеждена «кушитством») революция невозможна.

Россия — с точки зрения изначальных корней и соответственно «жизненного обычая» — представляет собою то идеальное общество, в котором «низы» не привыкли мстить: «иранская» сущность их обычая предполагает прощение... И для современной России очень важно сохранить этот «идеальный» обычай.

Российский «жизненный механизм», констатирует Хомяков, вообще организуется как-то по-особому, и делает вывод: «...есть сила, которая вопреки личным желаниям, прихотям, а иногда и убеждениям нашего образованного общества и правительства... направляет наши действия к цели неожиданной, но необходимой в отношении к той мысли, которая составляет сущность русского народа. Вопреки личной мысли случайной, развивающейся под влиянием чуждым и вовсе не народной, выступает мысль народа русского в истории наших действий».

Позже для объяснения этого парадокса «мысли народной», которая каким-то образом влияет на исторические события и заставляет их происходить не так, как планировалось «сверху», а каким-то иным, совершенно особенным образом, Лев Толстой напишет роман «Война и мир»...

А Хомяков, попутно бросив эту идею, идет дальше и прослеживает действие Провидения во всех событиях российской истории «с Петра Великого»: «Сознательная мысль действующей России совершенно противоположна той, которую бессознательно, но свято хранит народ. Одна вполне согласна с направлением всей Европы и постоянно стремится против народа, и приносит его в

жертву чуждым началам, другая упорно хранит самостоятельные начала жизни; одна действует, другая направляет действие к иной, непредвиденной цели».

И еще: «Современное положение явной, видимой нам России есть дело Промысла, иначе оно непонятно, иначе оно невозможно для того, кому понятно».

А где Божий Промысл, там вера: не случайно же Хомяков так много занимался богословскими проблемами. В послании «К сербам» (написанном накануне гибели) он так определял «значение и достоинство веры»:

«Весьма ошибаются те, которые думают, что она ограничивается простым исполнением или обрядами, или даже простыми отношениями человека к Богу. Нет: вера проникает все существо человека и все отношения его к ближнему; она как бы невидимыми нитями и корнями охватывает и переплетает все чувства, все убеждения, все стремления его. Она есть как будто лучший воздух, претворяющий и изменяющий в нем всякое земное начало, или как бы совершеннейший свет, озаряющий все его нравственные понятия и все его взгляды на других людей и на внутренние законы, связующие его с ним. Поэтому вера есть также высшее общественное начало: ибо само общество есть не что иное, как видимое проявление наших внутренних отношений к другим людям и нашего союза с ними».

Понятие «вера» шире понятия «религия». Вера становится концентрированным выражением искомого «духа жизни» народа. «Неверующих» народов нет, и даже атеизм («нигилизм») рассматривается Хомяковым как один из видов вероисповедания («измененный пантеизм»).

«Христианство, — пишет Хомяков, — при всей его чистоте, при его возвышенности над всякою человеческою личностью, принимает разные виды у славянина, у романца или тевтона». Происходит так потому, что «индивидуальность» первоначальных верований разных народов накладывает отпечаток на воспринятую позднее совершенную религию. Следовательно, и религия не может быть рассмотрена только в ее официальной интерпретации. Совокупность народных верований и убеждений часто не отражается ни в «памятниках словесных», ни в «памятниках каменных» и может быть понята «единственно по взгляду на всю жизнь народа, на полное его историческое развитие». Именно это предельно широкое понятие Хомяков раскрывал в своих богословских трудах, которые, по цензурным соображениям, долгое время могли быть напечатаны только за границей...

Но странное действие производили они на современников. Анна Федоровна Тютчева (дочь поэта) была воспитана в мюнхенском Королевском институте благородных девиц, много наслушалась «католических патеров» и, приехав в Россию, никак не могла понять существа православной церкви, привыкнуть к ее обрядности. Небольшая французская брошюра Хомякова (изданная в Париже в 1852 г.) произвела, пишет Тютчева, «целый переворот в моем нравственном сознании». И далее: «Этим немногим вдохновенным страницам, еще теперь слишком мало известным, предстоит огромное будущее: они явятся тем невидимым звеном, бла-

годаря которому западная религиозная мысль, измученная отрицанием и сомнением, сольется с великой идеей церкви — Церкви истинной православной, Церкви идеальной, основанной Христом, а не Церкви, понимаемой как организация государственная или общественная... Таким образом моя душа и мое сердце сроднились с Россией благодаря брошюрам Хомякова».

И здесь утверждения Хомякова — несмотря на кажущуюся парадоксальность — отличались удивительной простотой. «Церковь одна, ибо двух Церквей не существует». «Ибо один Бог, и одна Церковь, и нет в ней ни раздора, ни разногласия». «Церковь не есть учреждение». «Кто утверждает, что Церковь есть авторитет, тот богохульствует...»

В Церкви не «числятся» — в Церкви *живут*, как живут дома, в семье, «смиренно сознавая свою слабость, покаяясь ее единогласному решению соборной совести». И только эта жизнь в Церкви дает человеку свободу, которая есть величайшее благо...

О чем бы Хомяков ни писал — мысль его светла и оптимистична. И даже печаль светла, как у Пушкина... И, может быть, именно это качество не позволяет нам, соотечественникам, забыть этого многостороннего, но не реализовавшегося деятеля русской культуры. Многих ведь забыли. А тут что-то мешает, несмотря на десятилетия насильственного пресса вокруг этого имени.

В конце прошлого века наследие Хомякова стало активно изучаться. Вышло восьмитомное издание его сочинений, подготовленное детьми и учениками. Это собрание сочинений оказалось очень популярным: отдельные тома переиздавались вплоть до 1918 года. Ныне оно стало библиографической редкостью...

До революции выходили монографии о Хомякове, потом изучение его наследия переместилось в зарубежье. Можно указать множество западных изданий и переводов его сочинений, не менее двух десятков книг о нем, изданных в Нью-Йорке и Париже, Лондоне и Риме, Мюнхене и Белграде...

У нас в годы «застоя» замечательный ученый Б. Ф. Егоров сумел «пробить» только томик хомяковских стихотворений и сборник избранных литературно-критических статей. Только в прошлом году, после долгих мытарств, появился составленный автором этих строк небольшой двухтомник философского и богословского наследия Хомякова. А обширную биографию Хомякова, которую автор написал, так и не удается до сих пор издать полностью.

Впрочем, речь не об этом. Хомяков фактически стал *первым* в ряду представителей «русской думы» — и он вполне достоин этого первого места.

Дом его на Собачьей площадке давно снесен. Да и самой Собачьей площадки в Москве уже нет. Но та площадь, которую он занял в нашем российском сознании, осталась — и не пустует.

ИТОГИ КОНКУРСА



В том, что уровень наших самых любознательных, самых зрелищных читателей достаточно высок, мы, сотрудники редакции, убедились уже в ходе проведения прошлых конкурсов. А результаты состязания нынешнего стали еще одним тому подтверждением. Но прежде, чем представить победителей, дадим слово самим участникам. Думается, в их письмах сказано главное: и о состоянии культуры в стране, и об интересах читателей «Смены».

В. В. БОРИСОВА, Уфа: ...Хочу поблагодарить редакцию за интересную идею. Конечно, не могу сказать и сейчас, что хорошо знаю русскую литературу, но багаж моих знаний существенно увеличился. Не остались равнодушными и мои домашние. Особенно рада за детей — сыну 14 лет, племяннице — 15. Для них это стало открытием: мой азарт, горы книг, их участие в поисках и, конечно, усилившийся интерес к чтению. У нас общий вопрос: не хотите ли вы предложить нам конкурс по русской поэзии?

Светлана МИШАКОВА, Тула: Мне 23 года, работаю библиотекарем. В по-

следнее время долго и мучительно искала «своего» писателя. Вспоминая с благодарностью И. Тургенева, В. Короткевича, бережно любимого М. Лермонтова, стремилась открыть что-то новое, считая исходной точкой поиска изумительные чеховские рассказы-миниатюры. Кто же еще, думаю, пишет столь же кратко и вместе с тем законченно, ярко и превосходным стилем? И вот в поисках ответа на одно из конкурсных заданий прохожу мимо полки с книгами А. Аверченко, которого раньше не открывала. Вот уж и не рассчитывала попасть «в десятку», случайно наткнуться на клад. Читала Аверченко запоем каждый вечер и чувствовала себя так, будто легко скользила по волнам. Если у автора еще и блестящее чувство юмора, оторваться от его книг невозможно. Так удалось мне «поймать двух зайцев сразу» — и писателя нового для себя открыть, и ответы на вопросы подготовить.

А. И. КОВАЛЕВА, г. Энгельс Саратовской обл.: Я ответила всего на 50 вопросов, но не жалею об участии. Иначе прособираюсь бы еще несколько лет перечитать Аксакова, Герцена (кстати, перечитала с большим удовольствием и одновременно с ужасом: ничего на Руси не меняется, настолько все написанное в прошлом веке современно), Лескова. Впервые прочитала Достоевского.

Большая к редакции просьба: опубликуйте очерк о состоянии провинциальных библиотек. Оно катастрофично!

Н. А. НОВИКОВА, Санкт-Петербург: Мне 40 лет, инженер. Выписываю журнал давно и, несмотря на нынешние материальные трудности, отказаться от него не могу. Правда, теперь выписываю «Смену» вскладчину с коллегами по работе. Конкурс меня сразу заинтересовал, потому что я очень люблю русскую классику, — но знаю ли? Захотелось проверить. И в поисках нужных ответов окунулась в совершенно иной, дивный мир. Разыскивая цитату, ловила себя на том, что давно читаю, а не ищу.

Ирек ШАЙХУЛОВ, Уфа: Я — инвалид, с детства передвигаюсь с большим трудом. Подолгу находился в больницах, вот моя мама и приучила меня читать, чтобы чем-то занять и отвлечь. Конечно, я читал детективы и приключения, а уж совсем не классику.

Жили мы раньше в Таджикистане, но оттуда пришлось уехать. Сейчас с ма-

мой в общежитии как беженцы, и своих книг у меня нет. Но общежитие для учащихся ПТУ, тут есть библиотека. Решив участвовать в конкурсе, в библиотеку стал являться, как на работу, составил список и засел за книги — столько прекрасных я, наверное, за всю жизнь не прочитал. Оказалось, что на многие вопросы ответить нелегко. Но не бросил — во-первых, самому стало интересно, во-вторых, много сил затратил, в-третьих, за меня все болели и подбадривали. Вот комендант нашего общежития печатает мое письмо, потому что сам я пишу с трудом — руки плохо слушаются.

В. И. ПЕРЕВАЛОВ, Нижний Тагил: Жаль, что не смог найти несколько фрагментов с помощью наших тагильских библиотек: в них нет очень многих книг.

Мне довелось в разное время заниматься в библиотеках Нижнего Новгорода и Твери, Кирова и Челябинска, Екатеринбурга, в питерской им. Салтыкова-Щедрина и столичной «Ленинке». Провинциальным за ними не угнаться. В нашей «центральной» к тому же додумались ликвидировать так называемый «фонд книгохранения», отдав книги из него филиалам и на абонемент, где они без следа затерялись.

Л. П. и П. Н. АРТАМОНОВЫ, Нижний Новгород: В поисках ответов мы просмотрели, а увлекшись, и прочитали произведения Мамина-Сибиряка, Короленко, Мельникова-Печерского, Герцена, Чернышевского, Писарева, Белинского, Некрасова, Станюковича, Салтыкова-Щедрина, Лажечникова, Загоскина, Костомарова, Рыльева, Лескова, Успенского, А. К. Толстого, Гиляровского, Крестовского, Мережковского, И. Шмелева и других. Не удалось достать сочинений Писемского, Боборыкина.

От конкурса оторвали лишь работы на садовом участке. А жалы!

О. Г. ТРОФИМОВА, д. Березник Новгородской обл.: Я работаю в сельской библиотеке. Образование 10 классов, мне 25 лет. Читатели в основном просят детективы, любовные романы, «ужасы». Мне приходится уговаривать брать, например, Гончарова или Писемского. Но, если уговорить удастся, в следующий раз этот человек просит уже что-нибудь из русской классики.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ СЛО-

ВЕСНОСТИ, Псков: Наш клуб существует при историко-краеведческой библиотеке. Он не «элитный», мы просто любители литературы — учитель, милиционер, фельдшер, проводник вагонов, экскурсовод, координатор заочного обучения, технический работник, два пенсионера. Клубу 10 лет, мы не только читаем и обсуждаем прочитанное, знакомимся с творчеством писателей, мало известных широкой публике. Мы ходим на выставки, спектакли, даже выступаем свой рукописный альманах «Встречи». В ходе работы над конкурсными вопросами поняли, что знаем далеко не полно наше классическое литературное наследие. Поэтому уже составили список для чтения на два года.

В. М. АДАМЕНКО, Полтава: Жаль, что организаторы конкурса не подумали об участниках из стран ближнего зарубежья, где поклонников журнала множество, а поступает он с опозданием на месяц, а то и больше. К тому же нам стало дорого выписывать российские издания. Например, в нашем городе «Смену» можно найти лишь в двух-трех библиотеках. Было бы справедливо прибавить нам недельки две на нашу отдаленность и нечеткую работу почты.

Писем, подобных этим, мы получили много. Одни из них откликнулись болью в душе: во многих селах, районах, школах зачухали библиотеки, растащены книги, нет денег на обновление фондов. Другие вызывают радость и удивление — жива, жива тяга к родной литературе, к национальному богатству России. Учителя, врачи, работники библиотек, «техническая» интеллигенция, рабочие, пенсионеры, жители маленьких, кажется, Богом забытых деревень показали свои знания и высокий культурный уровень.

Многие из вас, дорогие читатели, просят провести еще один литературный конкурс. Мы обязательно учтем эти пожелания.

А теперь называем победителей:

1-е место — 58 очков: Ю. С. БОРОДОВСКИЙ, инженер, Санкт-Петербург; Л. А. ГЛАЗУНОВА, преподаватель вуза, Санкт-Петербург; И. Е. ГЛУШЕНКОВ, Санкт-Петербург; А. А. КАЧУРА, подполковник в отставке, Санкт-Петербург; Т. В. КЛИМОНТОВИЧ, инженер, Санкт-Петербург; Е. Н. КОБЕЦ, радио-

инженер, Санкт-Петербург; В. В. КОЗЛОВ, инженер-геолог, Санкт-Петербург; В. И. ПОЖАРСКИХ, библиотекарь, Нижняя Тура Свердловской области; В. Л. СТАРЦЕВ, ветеран Вооруженных Сил России, Санкт-Петербург.

2-е место — 57 очков: Л. А. АНДРЕЕВА, библиотекарь, г. Орел.

3-е место — 56 очков: А. П. АНДРИАНОВ, рабочий, Санкт-Петербург; В. И. ПЕРЕВАЛОВ, преподаватель, Нижний Тагил; Е. А. ШЛЕНСКАЯ, Санкт-Петербург.

4-е место — 55 очков: Г. С. КАТЫХИН, научный работник, Санкт-Петербург.

5-е место — 54 очка: Е. Н. АРУТЮНОВ, физик, Санкт-Петербург; Т. И. ДЯДИЧЕНКО, врач, Москва; К. Д. КОТОВА, работник фондов музея, Минусинск; П. Б. НАМ, инженер, Калуга; Н. Л. ПОДМАРЕВА, логопед, Москва.

Все они получают призы и почетные дипломы «Смены».

Благодарим всех участников конкурса и называем наиболее активных: В. М. АДМЕНКО, Полтава; Г. Е. АЛТУНИН, Москва; Е. Д. АНДРИАНОВА, Череповец; Т. В. АНИСИМОВА, Смоленск; Л. П. и П. Н. АРТАМОНОВЫ, Нижний Новгород; О. Н. БАБИНА, п. Кильмезь Кировской обл.; А. С. БАЛАШОВА, Павлоград Днепропетровской обл.; Г. С. БАСКАКОВА, Гаврилов Посад Ивановской обл.; Н. Ю. БАУЗР, Оренбург; В. Е. БЕЗВИКОННЫЙ, Одесса; В. Л. БЕЗГИНА, Челябинск; Л. А. БЛИНОВА, с. Большая Кандава Ульяновской обл.; В. В. БОРИСОВА, Уфа; И. Г. БУГРОВА, п. Ковернино Нижегородской обл.; В. С. БУДИМИРОВА, г. Курган; В. К. БУКРЕЕВА, Мга Ленинградской обл.; Т. Е. БУЛКИНА, Санкт-Петербург; Т. Г. БУНДИНА, Тула; К. Е. БУТУСОВА, п. Березовка Нижегородской обл.; Г. С. БУХОЛЬЦЕВА, п. Гусиное Озеро, Бурятия; А. А. ВАСИЛЕНКО, с. Песчаное Черкасской обл.; Н. Ю. ВАСИЛЬЕВА, Иваново; С. А. ВЛАСОВА, с. Ловозеро Мурманской обл.; А. Я. ГАЛИМОВА, г. Салават; Е. В. ГРАЧЕВА, Тула; Р. М. ГУКОВА, Чистоозерное Новосибирской обл.; А. В. ГУСЕВА, Юрьевец Владимирской обл.; Т. В. ДЕМЧЕНКО, Череповец; В. Н. ДЕНИСЕНКО, Пальмирский сахзавод Черкасской обл.; Н. Н. ЕВМЕНЕНКО, п/о Ваулино Московской обл.; семья ЕМЕЛЬЧЕВЫХ,

ст. Родниковская Краснодарского края; Н. С. ЖИТАРЬ, г. Хмельницкий; В. П. ЗАЙЦЕВА, Тула; Т. ЗАСЯДЬКО, Черкассы; Н. ИВАНОВА, ст. Новосергиевская Оренбургской обл.; Л. Г. ИВАНОВА, Сызрань; Т. П. ИГНАТЬЕВА, Пермь; Т. Ф. КАЛГУШКИНА, Кишинев; Н. Я. КАРГИНА, Москва; В. И. КИЛЬСЕЕВ, Муром Владимирской обл.; А. И. КОВАЛЕВА, г. Энгельс; Е. М. КОНДРАШКИНА, р/п Шилово Рязанской обл.; Т. Ф. КОННОВА, Челябинск; О. КОНОВАЛОВА, Соликамск; О. В. КОПЦЕВА, Уфа; А. И. КОРОЛЬКОВА, с. Кумак Оренбургской обл.; семья КОРОТКИХ, с. Чернолесское Ставропольского края; Г. А. КОТОВА, ст. Новолокская Краснодарского края; И. П. КРАСНОВА, Тула; И. КРИКУНОВА, Москва; Н. С. КРОВЦОВА, г. Серафимович Волгоградской обл.; Н. Г. КУЗИЧЕВА и 10-й класс „А“ школы № 7, г. Тихвин Ленинградской обл.; Л. В. КУЗНЕЦОВА, Харьков; Н. Н. КУЛАГИНА, Бирск; Т. Г. КУНДИНЕ, Тула; семья КУРЕНКОВЫХ, Калининград Московской обл.; З. И. ЛЕВАШОВА, г. Лесной Томской обл.; И. В. ЛЮБУШКИНА, курорт Дарасун Читинской обл.; А. Ю. МАЛАНЬИНА, Краснослободск; А. И. МАРТЫНОВА, с. Пудиново Томской обл.; С. В. МАССОН, Пенза; Б. П. МАКСИМОВ, Еткуль Челябинской обл.; Н. Г. МИНГАЛИЕВА, Норильск; О. Н. МИРОНЕНКО, с. Катарбей Иркутской обл.; С. МИШАКОВА, Тула; Е. Ю. МОРДОВКИНА, Воронеж; В. А. МОХОВА, Уфа; М. Г. МУРАТОВА, Пучеж Ивановской обл.; Р. И. МЫЛЬНИКОВА, Нижняя Салда Свердловской обл.; М. М. НИКИТИН, Саратов; А. А. НИКИТИНА, Уфа; А. А. НИКИФОРОВА, п. Терелесовский Тверской обл.; В. Н. НИКОПОРОВ, Фрязино Московской обл.; Н. А. НОВИКОВА, Санкт-Петербург; Ю. В. НОВОСЕЛОВ, п. Лесной Свердловской обл.; Ф. И. НОСКОВ, Москва; Л. Г. ОСИПОВА, Саратов; С. Д. ОВСЯННИКОВА, Бердичев; Н. В. ПАВЛОВА, Фрязино Московской обл.; Т. М. ПАВЛОВА, Шатура Московской обл.; А. Г. ПАКЛИН, Серпухов; семья ПИЧУГИНЫХ, д. Щетниково Костромской обл.; Е. З. ПЛЕШИВЦЕВА, г. Сатка Челябинской обл.; Н. П. ПОДОБУЛКИН, с. Тасеево Красноярского края; И. К. ПОРИКОВА, Москва; В. Б. ПРОТЧЕНКО, Амурск Хабаровского края; Т. М. ПРО-

ХОРОВА, Новая Губаха Пермской обл.; С. С. РОДИОНОВА, Москва; О. А. РУБАН, Ростов-на-Дону; И. А. РУДЕНКО, Новосибирск; семья РЯБОВЫХ, Москва; А. В. САВЕЛЬЕВА, Снежинск Челябинской обл.; М. САРАЙКИНСКАЯ, Москва; И. А. СЕРДЮКОВА, с. Рыбное Алтайского края; И. Н. СИВЦОВА, Рязань; С. Н. СИНИЦЫНА, п. Волгодонской Волгоградской обл.; А. Н. СМIRНОВ, Москва; В. П. СМIRНОВ, Курган; Е. В. СМIRНОВА, Москва; М. С. СМОРОДИНОВА, Москва; С. Л. СТЕРЛИН, Москва; Е. И. ТИХОНЕНКОВА-ЛОБОДА, Москва; В. П. ТИЩЕНКО, Ишимбай; О. Г. ТРОФИМОВА, д. Березник Новгородской обл.; М. А. ТЮКАЛКИНА, г. Заречный Пензенской обл.; семья УЛАНОВЫХ, п/о Ролша Ленинградской обл.; Р. В. УШАЧЕВ, п. Прямычино Курской обл.; семья ФЕДОРОВЫХ, г. Тихвин Ленинградской обл.; О. К. ФИЛИППОВА («Клуб любителей русской словесности»), Псков; Н. М. ФРОЛОВА, Чебоксары; Е. П. ЦВЕТКОВ, п/о Геологов Тюменской обл.; О. П. ЧУРИЛОВА, с. Новообинцево Алтайского края; И. ШАЙХУЛОВ, Уфа; В. Ф. ШАЛЕННАЯ, Снежинск Челябинской обл.; Н. А. ШЕРЕМЕТЬЕВА, Вичуга Ивановской обл.; Н. И. ЭРГАЛИЕВА, Алатырь; Л. Н. ЯЩЕНКО, Суджа Курской обл.

**Публикуем ответы на вопросы
трех туров конкурса**

«Знаете ли вы русскую литературу?»

ПЕРВЫЙ ТУР

1. А. С. Пушкин. Роман в письмах.
2. Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего.
3. И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева.
4. Н. С. Лесков. Человек на часах.
5. Ю. Казаков. Звон брегета.
6. Л. Н. Толстой. Война и мир.
7. Ф. М. Достоевский. Записки из подполья.
8. И. А. Крылов. Почта духов.
9. И. С. Тургенев. Рудин.
10. А. П. Чехов. Ариадна.
11. А. Н. Толстой. Гадюка.
12. И. А. Гончаров. Фрегат «Паллада».
13. А. К. Толстой. Князь Серебряный.
14. Г. Успенский. Нравы растеряевой улицы.
15. М. Ю. Лермонтов. Княгиня Лиговская.

ВТОРОЙ ТУР

16. И. С. Тургенев. Яков Пасынков.
17. В. П. Астафьев. Царь-рыба.
18. Д. В. Григорович. Антон-горемыка.
19. А. Белый. Петербург.
20. Н. С. Лесков. Чертогон.
21. И. С. Шмелев. Лето Господне.
22. Бор. Пильняк. Штосс в жизнь.
23. А. Бестужев-Марлинский. Ам-малат-бек.
24. Б. К. Зайцев. Голубая звезда.
25. Л. Н. Толстой. Метель.
26. А. Н. Островский. Сказание о том, как квартальный надзиратель пускался в пляс...
27. В. М. Гаршин. Очень короткий роман.
28. В. А. Соллогуб. Тарантас.
29. А. П. Чехов. Агафья.
30. Н. М. Карамзин. Бедная Лиза.
31. Я. П. Полонский. Женитьба Атуева.
32. Ф. М. Достоевский. Подросток.
33. Федор Сологуб. Мелкий бес.
34. М. М. Пришвин. Кладовая солнца.
35. Л. Н. Толстой. Анна Каренина.

ТРЕТИЙ ТУР

36. В. А. Соллогуб. Тарантас.
37. И. А. Гончаров. Обломов.
38. В. М. Гаршин. Надежда Николаевна.
39. Л. М. Леонов. Вор.
40. Н. С. Лесков. На ножах.
41. В. Г. Короленко. Сон Макара.
42. А. И. Герцен. Былое и думы.
43. Ф. И. Тютчев. Россия и революция.
44. Н. В. Гоголь. Невский проспект.
45. С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука.
46. И. С. Тургенев. Первая любовь.
47. И. А. Крылов. Каиб.
48. А. Ф. Писемский. Тысяча душ.
49. А. И. Куприн. Жидовка.
50. А. А. Блок. Сказка о той, которая не поймет ее.
51. И. А. Гончаров. Обрыв.
52. И. С. Тургенев. Накануне.
53. А. П. Чехов. Гусев.
54. А. Н. Толстой. Хромой барин.
55. А. С. Пушкин. Барышня-крестьянка.
56. Л. Н. Андреев. Иуда Искариот.
57. Ф. М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях.
58. А. П. Чехов. Скучная история.
59. Н. В. Гоголь. Мертвые души.
60. А. С. Пушкин. Участь моя решена. Я женюсь...

Глава 1

- Добрый день. Моя фамилия Армистед, — представился Флетч. Сидящий за столом в своем кабинете управляющий отеля «Парк Уорт» не поднялся и не ответил. Его холодный взгляд ясно показывал, что внешний вид Флетча — свитер на голое тело, джинсы, теннисные туфли — вызывает у него лишь отрицательные эмоции. По мнению управляющего, одетый подобным образом человек не годился не только в постояльцы отеля «Парк Уорт», но даже в кандидаты на свободные вакансии среди персонала.

— Ваша фамилия Кавалье? — осведомился Флетч.

Табличка на деревянной подставке извещала гостя, что хозяина стола зовут Жак Кавалье. Кроме стола, в кабинете обращал на себя внимание большой открытый сейф, аккуратная стопка бланков да пластмассовая копия скульптуры Донателло «Давид», украшавшая книжную полку, заставленную томами «Национального регистра светского общества».

Управляющий чуть дернул головой, словно отгоняя надоедливую муху.

— Да.

Флетч уселся в одно из двух кресел. В левой руке он держал бумажник.

— Как я уже говорил, моя фамилия Армистед. — Он указал на лежащий перед управляющим раскрытый блокнот. — Вы можете это записать.

— Вы не снимаете у нас номер. — В голосе управляющего не слышалось вопросительной интонации.

— Джеффри Армистед, — гнул свое Флетч. — Нимбл-драйв, 123, Санта-Моника.

Под его пристальным взглядом управляющий занес имя, фамилию и адрес в блокнот.

— Вы налетели, как ураган, мистер Джеффри Армистед, но нам не требуются ни швейцары, ни коридорные. Если хотите поработать на кухне, обратитесь к шеф-повару.

— Джеймс Сейнт Э. Крэндолл, — сказал Флетч.

— Простите?

— Джеймс Крэндолл. Сегодня утром нашел его бумажник у своей машины. Не совсем обычный бумажник. — Флетч раскрыл его, словно книжку, и показал белую визитку в пластиковом окошке. — Видите? Только Джеймс Сейнт Э. Крэндолл. Ни

адреса, ни кредитных карточек, ни семейных фотографий.
— Это не бумажник, а «корочки» для паспорта, — поправил его управляющий.

— Согласен с вами, — кивнул Флетч.

— И вы думаете, что этот мистер... э... Крэндолл остановился в отеле «Парк Уорт»?

— И да, и нет. В этом маленьком отделении лежит ключик. — Флетч выудил ключ. — На нем указано: «Отель «Парк Уорт», номер 2019».

— Понятно, — покивал Жак Кавалье. — Вы хотите получить вознаграждение за находку?

— Я хочу вернуть бумажник владельцу, — возразил Флетч.

— Нет проблем. — Управляющий потянулся к телефону. — Я только проверю, зарегистрирован ли у нас мистер Крэндолл. Если да, вы можете оставить бумажник здесь, а я позабочусь о том, чтобы он его получил.

— Нет проблем, говорите? — Флетча заинтересовала точка на стене над головой управляющего. — Вы не спросили, что в этом бумажнике.

Вновь Кавалье чуть дернул головой.

— Паспорт?

Флетч во второй раз раскрыл бумажник.

— Десять тысячедолларовых банкнот на этой стороне. — Флетч продемонстрировал банкноты, затем засунул их обратно. — Пятнадцать — на другой.

— Однако. — Теперь управляющий воспринимал Флетча с куда большим уважением. — Я уверен, что мистер Крэндолл будет вам очень признателен.

— Вы так думаете?

— Я бы, во всяком случае, испытывал к вам только самые теплые чувства.

— А вот он нет.

— Вы хотите сказать... — Кавалье откашлялся. — Он отказался обговорить ваше вознаграждение за находку?

Флетч наклонился вперед, оперевшись локтями в стол.

— Я пришел в ваш отель сорок пять минут тому назад. Позвонил в номер 2019. Спросил у поднявшего трубку мужчины, он ли Джеймс Сейнт Э. Крэндолл. Тот ответил утвердительно. Я сказал ему, что нашел его бумажник. Обрадовавшись, он попросил меня

подождать в кафетерии. Пообещал спуститься через пять минут. Я сказал ему, что на мне темно-синий свитер. В кафетерии я прождал полчаса. Выпил две чашки кофе. Кофе, между прочим, у вас хороший.

— Благодарю.

— Он так и не объявился. Через полчаса я вновь позвонил в его номер. Трубку не сняли. Я поднялся наверх и постучал в дверь. Ее не открыли.

— Вы, должно быть, разминулись. Когда люди говорят «пять минут»...

— Особенно, если незнакомый человек ждет, чтобы отдать вам двадцать пять тысяч долларов наличными.

— Ну, не знаю.

— Я подходил к портю. Крэндолл выписался после моего первого звонка.

— Странно, — искренне изумился управляющий.

— Полностью с вами согласен.

Управляющий взялся за телефонную трубку.

— Позвоню-ка я мистеру Смиту. Это наш детектив. Посмотрим, не сможет ли он нам помочь.

— Хорошо. — Флетч встал. — Вы не будете возражать, если я тоже позвоню? Мне надо переговорить с моим боссом.

— Ну, конечно. — Управляющий указал на дверь в смежный кабинет. — Там есть телефон.

— Премного вам благодарен.

Глава 2

— Привет, Джейн. Френк хочет поговорить со мной?

— Кто это?

— Стоит уехать на два дня, и ты уже не узнаешь меня?

— А, привет, Флетч. Как дела на севере?

— Жутко интересно. Где же Френк?

— Я не помню, чтобы он намеревался поговорить с тобой.

— Утром я получил записку: «Позвони главному редактору Френку Джеффу. Крайне срочно».

— Ты же знаешь, что после нескольких стопок для него все становится «крайне срочно».

— Поэтому он такой хороший редактор.

— Пойду узнаю, вспомнит ли он, зачем ты ему понадобился, — хихикнула Джейн.

Она направилась в кабинет шефа, а в трубке послышалась мелодия «Голубого Дуная» — последнее изобретение телефонщиков. Техническая служба редакции очень им гордилась. Репортеры кляли его на все лады. Возможно, вальс Штрауса действовал успокаивающе на того, кто хотел опубликовать в газете рекламное объявление. Но репортера, жаждущего передать сенсационное сообщение, раздражал.

— Привет, Флетч, ты где? — прохрипел Френк Джефф.

— Доброе утро, многоуважаемый вождь. Я в кабинете бухгалтера отеля «Парк Уорт».

— А что ты там делаешь?

— Вчера вечером передал откуда материал для первой полосы. Об открытии дирекцией ипподрома нового ночного клуба. Разве вы не видели этой статьи?

— О да. Ее дали на тридцать девятой странице. Слушай, ты, часом, не остановился в «Парк Уорт»?

— Нет. Просто заглянул в отель, чтобы вернуть двадцать пять тысяч долларов.

— Это хорошо. Только издатель, он же владелец нашей газеты, может позволить себе цены «Парк Уорта».

— Вы просили позвонить. Срочно.

— О да.

Флетч ждал. Френк Джефф молчал.

— Эй, Френк? Вы хотите, чтобы я подобрал материал для другой статьи, раз уж я здесь? О чем пойдет речь?

— Полагаю, суть этой статьи в том, что... ты уволен.

Флетч помолчал. Глубоко вздохнул. Наконец, заговорил.

— А что я такого сделал?

— Процитировал человека, умершего два года тому назад.

— Не может быть.

— Тома Бредли.

— Я знаю, о ком вы говорите. Председатель совета директоров «Уэгнолл-Финнс».

— Он уже два года как умер.

— Глупости. Во-первых, Френк, я не цитировал Бредли. Я даже не разговаривал с ним, просто привел несколько фраз из его служебных записок.

— Недавних записок?

— Разумеется, недавних. Даты я указал в статье.

— Мертвые не пишут служебные записки, Флетч.

— А кто сказал, что он мертв?

— Сотрудники «Уэгнолл-Финнс». Жена покойного. Ты поставил «Трибюн» в глупое положение, Флетч. Получается, что мы даем недостоверные сведения.

Флетч вдруг обнаружил, что сидит на стуле. Хотя и не помнил, что сядился.

— Френк, должно же быть объяснение.

— Естественно. Ты передал непроверенную информацию. Это слабость молодых репортеров. На этот раз тебя поймали за руку.

— Я давал выдержки из недавних служебных записок, подписанных «Ти-би».

— Должно быть, есть другой «Ти-би». Короче, ты дал пустую статью об «Уэгнолл-Финнс, Инкорпорейтед» с неоднократными ссылками на служебные записки Тома Бредли, ее руководителя, а теперь выясняется, что он два года как на том свете. Откровенно говоря, Флетчер, я рассердился. Неужели ты думаешь, что после подобных выкрутасов читатели будут верить даже прогнозу погоды, опубликованному в нашей газете? Я, конечно, понимаю, что бизнес — не твоя сфера, Флетч. Не следовало поручать тебе подготовку этой статьи. Но хороший репортер должен уметь написать о чем угодно. Вот что мы сделаем. Я отстраню тебя от работы. Ты писал неплохие статьи. И ты еще молод.





— Надолго отстраните?

— На три месяца? — В голосе редактора слышалась вопросительная интонация, словно он советовался с Флетчем.

— Три месяца! Френк, три месяца я не протяну. Мне надо платить алименты. Оплачивать купленную в кредит машину. А у меня нет ни цента.

— Может, тебе поискать другую работу? Возможно, мое предложение не получит поддержки издателя. Я еще с ним не говорил. Вдруг он посчитает, что это слишком мягкое наказание?

— Какой ужас, Френк!

— Это точно. Над тобой все смеются. Такие проколы долго не забываются.

— Я не чувствую за собой вины. Вы понимаете?

— Ты у нас не Жанна д'Арк.

— Ладно, Френк, я отстранен от работы, уволен или как?

— Пока считай, что отстранен, а дальше посмотрим. Наш издатель сейчас в Санта-Фе. А финансовый директор требует твоей головы. Возможно, тебя уволят. Позвони мне на следующей неделе.

— Спасибо, Френк.

— Эй, Флетч, если хочешь, я пошлю тебе чек с недельным жалованьем по почте. Джейн его отправит.

— Нет, не надо.

— Я думал, что после происшедшего тебе не захочется приходить в редакцию.

— Ничего страшного. Я приду.

— Мужества тебе не занимать, Флетч.

Глава 3

— «Уэгнолл-Фиппс». Доброе утро.

— Мистера Чарлза Блейна, пожалуйста.

Флетчу удалось изгнать дрожь из голоса. В кабинете бухгалтера отеля «Парк Уорт» он набрал номер «Справочной» междугородных переговоров, а затем, используя редакционную кредитную карточку, позвонил в «Уэгнолл-Фиппс».

— Приемная мистера Блейна.

— Мистер Блейн на работе?

— Сожалею, но он уже ушел.

Флетч глянул на часы.

— Еще половина двенадцатого.

— Я знаю, — ответила секретарша. — У мистера Блейна грипп.

— Мне очень нужно с ним поговорить. Я — Джей Расселл. Мы с мистером Блейном состоим в одном благотворительном комитете. Комитете по сохранению уникальных «серебряных облаков».

Последовала долгая пауза.

— Серебряных облаков? — переспросила секретарша. — И как же вы собираетесь их сохранять?

— «Серебряное облако» — это модель автомобиля, — ответил Флетч. — Что-то вроде «роллс-ройса».

— А-а,— протянула секретарша.— А я уж подумала, что вы занялись чем-то стоящим.

— Вас не затруднит продиктовать номер домашнего телефона мистера Блейна?

— Извините, не могу. Запрещено внутренней инструкцией компании.

— Но дело чрезвычайной важности.

— А инструкции, по-вашему, простые бумажки? Важнее их ничего нет. Вы же не хотите, чтобы меня уволили?

— Я вообще против увольнений. Поверьте, мистер Блейн будет рад моему звонку. Можете не сомневаться, вас не накажут, если вы дадите мне его домашний номер.

— Меня не накажут... Если я не дам вам номер.

Флетч положил трубку на рычаг.

— Черт, черт, черт! — воскликнул он, вновь снял трубку и набрал местный номер. После пяти гудков раздался сонный голос Мокси.

— Слушаю.

— Ты уже проснулась?

— Не знаю. Почему ты звонишь? Почему тебя нет рядом со мной?

— Хороший вопрос.

— Где ты?

— В отеле «Парк Уорт».

— Как тебя туда занесло?

— Случайно. Выйдя из машины, я нашел бумажник. Пришлось отнести его в «Парк Уорт». Это долгая история. Ты все еще хочешь поехать со мной на пляж?

— Конечно. Когда ты должен вернуться в редакцию?

— Примерно через три месяца.

— Что?!

— У нас масса времени. Так что приподнимайся, собирай вещички и готовь еду на ленч, ужин, завтрак...

— Мы будем все время ехать?

— Если и остановимся, то не для того, чтобы поесть.

— У меня только банка орехового масла. Давно не была в магазине.

— Бери масло. А я куплю хлеб и апельсиновый сок. Кстати, по пути можем искупаться.

— У тебя так много свободного времени?

— Время у меня есть,— подтвердил Флетч.— И оно все свободное.

Глава 4

— Извините,— смущенно улыбнулся Флетч.— Не ожидал, что придется столь долго провисеть на телефоне.

Жак Кавалье, как и прежде, сидел за столом, а кресло, которое приглянулось Флетчу, занимал мужчина средних лет с лицом ангелочка. На Флетча он смотрел с любопытством, тогда как Кавалье — с тревогой.

— С вами все в порядке, мистер Армистед?

— Разумеется. Просто в той комнате очень жарко.

— Мистер Армистед, — не унимался Кавалье, — вы так побледнели. Что с вами стряслось?

— О, со мной ничего, — отмахнулся Флетч. — А вот с моим другом... Босс сказал мне, что его уволили.

— Как это печально, — вздохнул Кавалье. — Скажите, мистер Армистед, а где вы работаете?

— Я паркую машины.

— Не такая уж сложная работа, — улыбнулся Кавалье. — А за что же уволили вашего друга?

— Он пытался поставить две машины на одну стоянку. И едва не добился успеха. Чак никогда не отличался хорошей памятью.

— Это мистер Смит, наш детектив. — Кавалье заглянул в блокнот. — Мистер Джеффри Армистед очень честный человек, который зарабатывает на жизнь, паркуя машины.

— Привет, — буркнул мужчина с лицом ангела.

Флетч уселся в свободное кресло.

— Я пересказал мистеру Смиту вашу удивительную историю, мистер Армистед, — продолжал Кавалье. — Он, можно сказать, мне не поверил.

— Покажите бумажник, — повернулся Смит к Флетчу.

Флетч протянул ему бумажник. Детектив пересчитал все двадцать пять банкнот.

— Итак, — он положил бумажник на стол, — я все проверил. Человек, назвавшийся Джеймсом Сейнтом Э. Крэндоллом, зарегистрировался в отеле в четыре часа пополудни три дня тому назад. Выписался этим утром, как раз перед тем, как Жак позвонил мне. Заплатил наличными. — Он посмотрел на счет, который держал в руках. — По утрам заказывал завтрак на одного. Вчера попросил погладить брюки. В день приезда, в половине одиннадцатого вечера, ему приносили в номер пиво, так что мы предполагаем, что он лег спать рано. В бары и рестораны отеля не заходил. Шесть телефонных звонков. Все местные, ни одного междугородного. Оставленный адрес: 47907, Курье-драйв, Урэмрад. Графы «Название компании» и «Занимаемая должность» не заполнены.

Флетч знаком попросил у Кавалье листок бумаги и переписал адрес.

— Я заглянул в его номер, — продолжал Смит. — Ничего особенного. Смятые простыни и мокрые полотенца.

— В регистратуре его запомнили?

— Я спросил кассира, который рассчитывал Крэндолла. Точно он сказать не может, так как желавших выписаться было двое. Один — лысоватый, лет пятидесяти, второй — сутулый, ему где-то под семьдесят.

— Но кто-то наверняка запомнил его.

— С чего вы так решили? — полюбопытствовал Смит.

— Вы сказали, что Крэндолл расплачивался наличными. Когда человек регистрируется в отеле, у него обычно просят кредитную карточку, не так ли?

Смит бросил короткий взгляд на Кавалье.

— Это первоклассный отель, мистер Армистед.
— А разве не бывает первоклассных преступников?
— Мы стараемся причинять нашим гостям минимум неудобств. Разумеется, иногда случаются неприятности... — Кавалье пожал плечами. — Но мы не требуем у наших гостей кредитную карточку. Они нам верят. И мы должны им доверять.
— И многие расплачиваются в отелях наличными? — спросил Флетч.

— Многие, — подтвердил Кавалье. — Во всяком случае, в этом отеле. У нас часто останавливаются старушки, которые не признают кредитных карточек.

— Наличными платят не только старушки, — хохотнул Смит. — В каждом отеле есть такие клиенты. Как мы говорим, приезжают по частным делам.

— Завтрак на одного, — напомнил Флетч. — Означает ли это, что Крэндолл ни с кем не делил номер?

— Отнюдь, — покачал головой Смит. — День-то большой.

— Значит, этот Джеймс Сейнт Э. Крэндолл ничем не выделялся?

— Как же не выделялся? — засмеялся Смит. — Удрать от человека, который принес ему двадцать пять тысяч долларов. Такое для нас в диковинку.

Кавалье пристально смотрел на Флетча.

— Надеюсь, вы извините меня, мистер Армистед, но непохожи вы на парковщика машин.

— А вы знакомы со многими из них?

Кавалье покачал головой.

— Близко — нет.

Флетч поднялся, взял со стола бумажник.

— Спасибо за помощь.

— Бумажник вы берете с собой? — спросил Кавалье.

— Почему бы и нет?

— Ну, не знаю. Правда, не знаю, что и делать. Не сдашь же его в бюро находок. Наверное, надо известить полицию.

— Я совсем не против того, чтобы вы звонили в полицию. — Флетч посмотрел на Кавалье. — Вы же записали мое имя, фамилию и адрес. — Он указал на блокнот.

— Конечно, конечно, мистер Армистед, — закивал Жак Кавалье. — Я все записал.

Глава 5

— Ищу своего дядю, — пояснил Флетч.

Старику-полицейскому потребовалось немало времени, чтобы подняться с вращающегося стула и подойти к перегородке, разделяющей надвое большую комнату, которую занимал полицейский участок города Урэмрада. В левом ухе полицейского Флетч заметил слуховой аппарат.

— Его зовут Джеймс Крэндолл. — Флетч заговорил медленнее, отчетливо произнося каждое слово.

— Живет в этом городе?

— Вроде бы.

— Что значит «вроде бы»? «Вроде бы» здесь никто не живет. Или живут, или нет. У нас свободная страна.

— Мама дала мне этот адрес. — Флетч протянул полицейскому листок, полученный от Жака Кавалье. — А я не могу найти Курье-Драйв.

— 47907, Курье-драйв, Урэмрад, — произнес полицейский.

— Аптекарь не знает, где это.

Полицейский коротко глянул на Флетча.

— Боб не знает?

— Похоже, что нет.

— Этот Крэндолл... Брат вашей матери?

— Да.

— Вы знаете, что у вас на лице песок?

Флетч смахнул с лица несколько песчинок.

— Почему у вас на лице песок?

Флетч пожал плечами.

— Играл в песочнице.

— Вам следовало бы побриться, прежде чем ехать на встречу с вашим дядей.

— Да, вы, несомненно, правы.

Полисмен вновь посмотрел на листок.

— Боб не знает, где находится Курье-драйв, потому что в Урэмраде нет Курье-драйв.

— Нет?

— Ваша мать часто лгала вам, юноша?

— Никогда в жизни.

— Возможно, вы этого просто не знаете. У нас нет Курье-драйв. Стрит, роуд — это по-нашему, а драйв* — уже чересчур.

— А Курье-стрит у вас нет?

— Разумеется, нет.

— Может, есть какая-нибудь другая, с созвучным названием?

Полицейский близоруко уставился в окно.

— Есть Колдуотер-роуд. Да у нас нет и домов с такими большими номерами. Сорок семь тысяч девятьсот семь. Во всем Урэмраде тысяча девятьсот домов.

— Вы знаете человека по фамилии Крэндолл?

— То есть вашего дядю?

— Да.

— Нет. Креншоу знаю, но он не ваш дядя.

Флетч улыбнулся.

— А откуда вам это известно?

— Потому что Креншоу — это я, а моя сестра жива.

— Понятно, — кивнул Флетч. — Сдаюсь. Вы никогда не слышали о Крэндолле, проживающем в Урэмраде?

— Никогда. И второго Урэмрада в Америке нет. Во всяком случае, я такого не знаю. А вы знаете другой город, называющийся Урэмрад?

— Нет.

Полицейский пробежался взглядом по шее и свитеру Флетча.

* Стрит, роуд, драйв — аналоги русских «улица, проезд, проспект».

— Да вы весь в песке, юноша. Хотите принять душ?
— Что?
— Хотите принять душ? Побриться?
— Где?
— Да здесь же. У нас есть душевая. А бритву я вам дам.
— Премного благодарен.
— Вы, похоже, проделали немалый путь, разыскивая вашего дядю. — Полицейский открыл калитку в перегородке, давая Флетчу пройти. — А послала вас мамаша сюда неизвестно за чем. Флетч последовал за полицейским в коридор, ведущий к камерам.

— Почему она вам солгала? Есть ли у вас вообще дядя? Наверное, она сказала, что он богат...

— У тебя мокрые волосы. — Мокси все это время дождалась Флетча в машине. — И ты побрился.

— Я помылся.
— Где?
— В здешней тюрьме. Хочешь принять душ? Познакомлю тебя с милым старичком-полисменом.

— А как там пахнет?
— Ужасно. Просто воняет.
— Нет, благодарю. Я лучше приму душ в твоей квартире. Флетч завел мотор и покатил к автостраде.

— Нет в Урэмраде Джеймса Сейнта Э. Крэндолла. И никогда не было.

Мокси потерлась спиной о спинку сиденья, почесала локоть.

— У меня все чешется. Мы едем к тебе?

— Нет.

— О Господи, Флетч, я понимаю, что тебе не хочется возвращаться в город. Уже отсюда слышится гоготание твоих собратьев по перу. Но я хочу нормально поесть и принять нормальный душ.

— Сначала заглянем к Френку Джеффу.

— А кто он такой? Он жив или тоже умер?

— Он — мой редактор. Мой бывший редактор.

— Ты думаешь, что сможешь найти его дом?

— Я знаю, где он живет. Туда и поедем.

— Флетч, кто-то говорил мне, что ты — великий репортер. А на деле выясняется, что ты не можешь найти человека даже в таком маленьком городке, как Урэмрад. Или он называется иначе?

— Кто тебе говорил, что я — великий репортер?

— Ты.

Они выехали на автостраду, и Флетч с силой вдавил в пол педаль газа.

— Выходит, что я ошибся.

Глава 6

— Мой Бог! — Мокси застыла перед роскошным особняком, словно сошедшим с иллюстрации книги восемнадцатого века. — Главный редактор «Ньюс-Трибюн» живет в таком доме?

— Как видишь.

Флетч уже звонил в колокольчик.

Дверь открыла Клара Сноу. С полупустым бокалом «мартини» в руке.

— Флетч!

— Добрый вечер, Клара. Не ожидал встретить тебя здесь.

Клара не улыбнулась.

— Не уверена, что тебя ждут, Флетч.

— Здесь, когда Френк устраивает вечеринки для сотрудников...

— Сегодня он ничего не устраивает.

— Ну, Френк, должно быть, дома, ты в доме, а ты сотрудник..

— Заходи, Флетч.

— Одну минуту. Я не один.

Из-за ухоженной рожицы выпорхнула широко улыбающаяся Мокси.

— Добрый вечер. Рада познакомиться с вами, миссис Джефф.

— Она не миссис Джефф,— поправил ее Флетч.

Впустив их в холл, Клара закрыла дверь.

— А ты, Флетч, не из слабонервных.

— Меня вдохновляет Мокси.

Френка они нашли в гостиной. В толстом лыжном свитере он подкладывал в камин очередное полено. При этом работал кондиционер.

— Добрый вечер, Френк,— приветствовал босса Флетч.

Френк поглядел на него поверх очков.

— Ты уволен, Флетч. Если раньше в этом были хоть какие-то сомнения, то теперь их не осталось.

— Почему?

— Потому что сегодня пятница, это мой дом, а уволенные подчиненные не должны заявляться сюда без приглашения в пятницу вечером. Или когда-либо еще. Прежде всего это указывает на отсутствие хороших манер.

— Даже если я собираю материал для статьи?

— Какой статьи?

— Вот об этом я и хочу поговорить.

Френк уже смотрел на Мокси.

— Какая же вы красивая.

— Благодарю вас, сэр,— кокетливо улыбнулась Мокси.

— Правда, красивая.

Клара Сноу обошла кофейный столик и села на диван.

— Мокси Муни,— представил Флетч свою даму.— Она актриса. С понедельника начинает репетировать в пьесе, которую ставят в театре «Кэллоуквизл».

— Раз уж ты здесь, можешь что-нибудь выпить,— сменил Френк гнев на милость.— Хозяин дома не должен забывать о гостеприимстве.

— Спасибо, Френк. А где Бетти?

Прежде чем ответить, Френк подошел к бару, наполнил два бокала для Флетча и Мокси, добавил «мартини» в свой.

— Моя жена в Сан-Франциско. Уехала на уик-энд. Повидаться с семьей брата и кое-что купить. Еще есть вопросы, Флетч?

— Конечно. — Флетч искоса глянул на Клару Сноу.

— Клара пришла пообедать и обсудить со мной некоторые редакционные проблемы.

— Обсуждать редакционные проблемы с парламентским репортером? Понятно.

Клара вела кулинарную страницу до тех пор, пока редакцию не засыпали жалобы. От блюд, приготовленных по ее рецептам, людям становилось нехорошо. Появилась даже новая болезнь — «грипп Клары Сноу». И никто не мог понять, как и почему Клару перевели на куда более престижную должность парламентского репортера, освещающего текущие дела законодательного собрания штата.

— Политические проблемы, — уточнил Френк. — Так ты хочешь выпить, Флетчер, или предпочтешь, чтобы я пинком вышиб тебя за дверь?

Флетч сел на другой диван напротив Клары.

— Конечно, Френк. «Мартини» — моя слабость. Извините, что помешал вашему совещанию с Кларой.

Френк подал Мокси бокал, второй, для Флетча, поставил на кофейный столик.

— Садитесь, садитесь, — улыбнулся он Мокси. — Будьте, как дома. Берите пример с Флетча.

Мокси выбрала место рядом с Флетчем, а Френк опустился в кресло.

— Как называется пьеса, в которой вы будете играть? — спросил Френк Мокси.

— «В любви», романтическая комедия.

— Не знал, что где-то еще ставят романтические комедии, — удивился Френк. — Надо бы посмотреть.

— Вы — инженер*? — спросила Клара. В самой Кларе уже не было ничего наивного: зрелая, тридцатилетняя, знающая себе цену женщина.

— Да, — кивнула Мокси. — Вся комедия построена на идее изнасилования.

— Очень весело, — поджала губки Клара.

— Разумеется, не в прямом смысле. Видите ли, героиня, молодая девушка, получившая строгое воспитание, выходит замуж, и каждый раз, когда муж прикасается к ней, думает, что ее будут насиловать. А потому любая попытка приласкать ее кончается вызовом полиции. Понимаете?

— По-моему, очень забавно. — Френк отпил «мартини».

— Но мужья могут насиловать жен, — заметил Флетч.

— При этом молодые люди очень любят друг друга. — Мокси говорила, разглядывая содержимое своего бокала. — Просто они совсем запутались и не могут разобраться, у кого какие права.

— По адвокату в каждую спальню! — воскликнул Френк. — Вот чего нам не хватает.

— «Уэгнолл-Фипс», — напомнил Флетч причину своего неожиданного прихода.

Френк повернулся к нему.

* Амплуа актрисы, исполняющей роли наивных, простодушных девушек.

— Что?

— Только не говорите, что вы закончили на сегодня все дела, Френк. Мы же прервали ваше совещание с Кларой.

— О делах газеты я готов говорить в любое время, — насупился Френк. — Не знаю только, хочется ли мне обсуждать с тобой эту статью про «Уэгнолл-Фиппс». Ошибка, она и в Африке ошибка, Флетч. Ты напортачил. Трудно это признать, но деваться некуда.

— А статья, она и в Африке статья, Френк.

— Не понял.

— Вице-президент и начальник финансового отдела «Уэгнолл-Фиппс» называет руководителя своей компании Томасом Бредли, показывает мне отправленные им служебные записки, датированные недавними числами, а потом кто-то говорит вам, что Томас Бредли давно умер. Мне нужны факты.

— Фактами тебе следовало пользоваться при подготовке статьи, — резонно заметила Клара.

— Ладно. — Френк посмотрел на Клару, потом на Флетча. — Газету я, как обычно, прочитал дома, за завтраком. Твою статью проглядел мельком, правда, подумав, кому взбрело в голову поручить тебе ее подготовку. С босыми ногами и обрезанными джинсами...

— Босоногий мальчишка с румянцем во всю щеку, — промурлыкала Клара.

— Мне всегда казалось, что бизнес — не твоя сфера, — улыбнулся Френк.

— Том Джеффрис сломал спину, неудачно приземлившись.

— Знаю. А когда я пришел на работу, позвонила Энид Бредли и сказала, что она возглавляет «Уэгнолл-Фиппс» после смерти ее мужа. Я вновь раскрыл страницу с твоей статьей, прочитал ее повнимательнее и увидел, что она пестрит ссылками на ее мужа, Томаса Бредли. Недавними ссылками.

— Ссылками на служебные записки, — добавил Флетч.

— У тебя есть копии этих записок? — спросил Френк.

— Нет.

— Я позвонил Джеку Кэрридаину, редактору отдела экономики, который только что вернулся из деловой поездки в Нью-Йорк...

— Я знаю, что Джек — редактор отдела экономики, — вставил Флетч.

— ...но он не смог сразу сказать, жив Томас Бредли или мертв. Наверное, «Уэгнолл-Фиппс» не такая уж крупная компания. Он позвонил президенту «Уэгнолл-Фиппс» и получил ту же информацию, что и я. Бредли мертв. Я говорил тебе об этом по телефону?

— Вы не сказали мне, что вам звонила Энид Бредли, как и о том, что она возглавляет «Уэгнолл-Фиппс». Вы сказали, что смерть Бредли подтвердили сотрудники «Уэгнолл-Фиппс», а не глава фирмы.

Клара, вздохнув, искоса глянула на Френка.

— Мертвый — он все равно мертвый, кто бы этого не подтверждал, — вздохнул тот.

— Я понимаю, что это не мое дело, — вмешалась Мокси, — но мне кажется, что «Уэгнолл-Фиппс» сыграла с Флетчем злую

шутку. Пару лет тому назад «Ньюс-Трибюн» крепко приложила эту компанию...

— Такова репортерская участь,— прервал ее Френк.— Правду не говорит никто. Люди делятся с репортером лишь тем, что им выгодно. Хорошие репортеры это знают и не попадаются на подобные уловки.

— А Флетч попался,— подытожила Клара.— И на этом надо ставить точку.

— Френк, не сможете ли вы сохранить мне жалованье, пока я не размотаю этот клубок?

— А что тут разматывать? — переспросил Френк.— Миссис Фишпс... я хотел сказать, миссис Бредли сказала, что не хочет, чтобы ее дети читали в газете статьи, в которых об их отце говорится как о живом человеке. И винить ее нельзя, не так ли? Она сказала, что душевная рана только-только начала затягиваться.

Флетч покачал головой.

— Что-то здесь не так, Френк.

— Конечно, не так.— Клара Сноу прошла к бару, чтобы наполнить свой бокал.— Ирвин Морис Флетчер готовил статью на скорую руку. А с остальным все в полном порядке.

Френк наклонился вперед.

— Кэрридайн позвонил миссис Уэгнолл... я хочу сказать, миссис Бредли, и постарался все уладить. Вечером он даже подъехал к ней домой и час говорил с детьми, убеждая их, что и репортеры иногда ошибаются. В суд нас не потянут. Но статья, в которой мы цитируем покойника, разошлась по всей стране, Флетч. И это вредит престижу газеты. Наш издатель прочитал ее в Санта-Фе и позвонил мне. Теперь придется ждать, пока он вернется.

— И что он сказал? — спросил Флетч.

Френк вновь откинулся на спинку кресла.

— Я просил ограничиться отстранением от работы. Честное слово, просил.

— А он отказал?

— А как, по-твоему?

— Он отказал.— Флетч поднялся.

— Ты не выпил ни капли,— указал Френк на бокал «мартини».

— А я выпила.— Мокси поставила на кофейный столик пустой бокал.

Френк ей улыбнулся.

— Таким красавицам, как вы, пить совсем ни к чему.

Клара вернулась и вновь села на диван.

— Еще один вопрос, Френк.

— Какой? — Френк посмотрел на Флетча.

— Обед готовила Клара?

— Да. А почему ты спрашиваешь?

— Я позвоню в редакцию и скажу Джейн, что в понедельник вы на работу не выйдете.

Глава 7

— А что ты здесь, собственно, делаешь? — Заместитель заве-

дующего библиотеки «Ньюс-Трибюн» стоял в дверях, сверля Флетча взглядом.

Дело было в субботу утром, без четверти восемь.

Флетч оторвался от дисплея.

— Работаю.

— Я слышал, газета больше не нуждается в твоих услугах.

— Я тоже слышал.

— Тогда тебя следует лишить доступа в редакцию. И уж по меньшей мере отлучить от нашей превосходной картотеки.

Флетч выключил компьютер, собрал исписанные листы.

— Перестань, Джек. Дай мне возможность выплыть.

— Одну минуту.— Широкоплечий заместитель заведующего загородил Флетчу путь.— Давай-ка посмотрим, что ты отсюда выудил.

— Сделал несколько выписок.

— Насчет чего? Я хочу посмотреть.

Флетч протянул Джеку исписанные листы, подождал, пока тот их проглядит.

— Джеймс Сейнт Эдуард Крэндолл. Проживает в Ньютауне. Кто это?

— Не знаю.

Джек коротко глянул на Флетча, вновь вернулся к листкам.

— Чарльз Блейн. Проживает в Бел-Монте. Ты упоминал его в своей замечательной статье, что напечатали в среду. Как ты, наверное, догадываешься, ее выучили чуть ли не наизусть.

— Догадываюсь.

— Томас Бредли. Председатель совета директоров «Уэгнолл-Фипс». Женат на Энид Риордан. Двое детей. Проживает в Саутурте. Ты ссылался и на него, не так ли? — Джек улыбнулся.— Ты просто так не сдаешься?

— С какой стати?

Джек вернул Флетчу записи.

— Полагаю, каждый имеет право спасти собственную задницу... даже после того, как ее уже высекли.

— Могу я воспользоваться твоим телефоном, Джек?

— Немедленно выметайся отсюда, и тогда я не потяну тебя в суд за пребывание в неполюженном месте.

— Ладно, ладно.— У двери Флетч обернулся.— Джек?

— Ты все еще здесь?

— Хочешь узнать интересную новость?

— Да. Кто выиграет сегодня третий заезд на скачках в Хили? Скажи мне, чтобы я мог утереть нос Осборну. Хотя ты скорее всего скажешь, что выиграет Триггер.

— Некролога нет.

— У Триггера был отличный некролог. После того как Рой Роджерс отравил его.

— Возможно.— Флетч указал на компьютер.— Но вот некролога Томаса Бредли я не нашел.

— Некрологи мы даем далеко не на всех умерших. Только на самых выдающихся членов нашего общества. Бредли не числился в капитанах американской промышленности.

— Мне кажется, это интересно.

— Напиши хорошую статью о том, как отравили Тома Бредли. Только опубликуй ее у наших конкурентов.

Стоя у своего стола в отделе городских новостей, Флетч позвонил домой. Трубку сняли лишь после седьмого гудка.

Неподалеку четверо репортеров и фотограф пили кофе у стола Эла. Тот сидел, откинувшись на спинку стула, ноги его покоились на столе. Он постоянно жаловался на боли в ногах и спине, а потому на задание его посылали лишь тогда, когда все остальные были в разгоне. Так что большую часть времени он проводил в редакции, собирая сплетни.

— Доброе утро, Ирвин, — пропел Эл. — Не припомню, чтобы ты появлялся в редакции в такую рань, да еще в субботу. Что случилось? Тебя тоже вытолкали из постели?

— Телефон, — раздался в трубке голос Мокси. — То есть слушаю.

— Доброе утро, солнышко. — Флетч повернулся к репортерам спиной.

— Флетч, почему ты всегда будишь меня по утрам?

— Потому что люди просыпаются в это время. Встают. Делают зарядку.

— Я плохо спала ночью.

— Когда я уходил, ты спала, как младенец.

Мокси зевнула в трубку.

— Я долго лежала без сна, когда ты уже спал. Думала о пьесе. О том, в какую ты попал передрыгу. Флетч, твоя карьера загублена, так?

— Еще не все потеряно.

— Эти люди, к которым мы заехали вчера вечером. Твой редактор и эта ужасная женщина...

— Клара Сноу.

— Если б ты приехал без меня, они не пустили бы тебя на порог. Френк спустил бы тебя с крыльца, а Клара сплясала бы на твоей голове в туфлях с высокими каблуками.

— Если задаешь вопрос, то ответ положительный. Да, я прикрылся тобой. Ты возражаешь?

— Разумеется, нет.

— Френк у нас большой ценитель красоты. Слушай, сегодня мне придется поехать по городу. Хочешь составить компанию?

— Далеко ехать?

— На окраину.

— Я только что провела в твоей машине два дня. Два дня в машине и ночь на пляже. Шесть сэндвичей с ореховым маслом, три бутылки апельсинового сока и мокрые спагетти с кетчупом у тебя дома.

— Ужин при свечах.

— Вот-вот. Фонарь «молния» — просто чудо. Очень романтично. Такое ощущение, что находишься на тонущем корабле. Но по крайней мере мне удалось принять душ. Когда мы сидели у Френка, у меня чесалось все тело.

— Ты держалась мужественно. Никто этого не заметил.

— Мне не хотелось скрестись в присутствии Клары.

- Так ты не хочешь поехать со мной?
- Нет. Я еще посплю, а потом примусь за сценарий.
- Я могу задержаться допоздна.
- Если мне станет скучно, я пойду прогуляться.
- Правильно. Пусть соседи полюбуются тобой. До встречи.
- Слушай, а еда в доме есть?
- До встречи.

Повернувшись, Флетч увидел, что четверка репортеров вкупе с фотографом пристально смотрит на него. Чувствовалось, что они внимательно слушали, пока он говорил по телефону.

— Пытаюсь найти меч для харакири, — пояснил Флетч необходимость поездки на окраину. — Вместе с инструкцией по его использованию.

— Эй, Флетч, — промурлыкал Эл.

— Что, Эл?

— Можно попросить тебя об одном одолжении?

— Конечно, Эл. Проси о чем угодно. Хочешь, чтобы я переговорил с Френком насчет твоей прибавки к жалованью? Сейчас он прислушивается к моему мнению.

— Я хотел бы, чтобы ты взял интервью у одного человека. — Эл подмигнул сгрудившимся вокруг репортерам.

— Нет проблем, Эл. У кого?

— У Дуайта Эйзенхауэра*. Думаю, старине Айку есть что сказать.

— Хорошо, Эл. Я переговорю с ним перед ленчем.

— А как насчет Наполеона? — спросил фотограф.

— Беседовал с ним в прошлом месяце. Я рад, что вы читаете «Ньюс-Трибюн».

— Наполеон сказал тебе что-нибудь новенькое? — полюбопытствовал Эл.

— Да, очень сердился на Жозефину.

— Правда? А почему?

— Она ложилась в постель в бигуди. Потому-то он столько времени проводил на войне.

— Слушай, Флетч, — вступил в разговор еще один репортер, Терри, — а может, тебе перейти в один из спиритических журналов? Там любят статьи типа «Что поведал мне Авраам Линкольн»**.

— Или в профессиональную газету гробовщиков, — порекомендовал фотограф. — Ты мог бы вести у них постоянную рубрику «Вести с того света».

— Смейтесь, парни, смейтесь.

— Ты мог бы вновь процитировать Томаса Бредли, — добавил еще один, ранее молчавший репортер.

Флетч глянул на большие настенные часы.

— Извините, но мне пора бежать, а то не успею на собеседование в «Нью-Йорк таймс». Нельзя заставлять их ждать. Им нужен главный редактор.

* Эйзенхауэр, Дуайт Дэвид (1890—1969) — 34-й президент Соединенных Штатов.

** Линкольн, Авраам (1809—1865) — 16-й президент Соединенных Штатов.

— Мы об этом ничего не слышали, Флетч, — ответил фотограф.

— Едва ли тебе светит эта должность, — усмехнулся Терри. Флетч уже шагнул к двери.

— Эй, Флетч, — крикнул вслед Эл, — а разве ты не забираешь свои пожитки?

— Нет, конечно, — обернулся Флетч. — Я еще вернусь.

— Да, да, — покивал пожилой репортер. — В следующей жизни.

Глава 8

— Господи, как я все это ненавижу! — Том Джеффрис лежал на высокой металлической кровати с колесиками.

Кровать выкатили в маленький дворик за его домом, а лежал он на животе, в одних шортах, с талии до шеи закованный в гипсовую броню, стянутую металлическими обручами. Тина, его подруга, в легком, свободного покроя платье, сидя на стуле, скармливала ему сваренное вкрутую яйцо.

— Что бы ты ни ел, все застревает в горле, — жаловался Том. — Дай мне еще апельсинового сока, Тина.

Она поднесла стакан с соком к его лицу, всунула соломинку в рот.

— Со стороны полеты на дельтапланах смотрятся красиво. — Флетч сидел на столе, поставив босые ноги на скамью.

— Летать на дельтаплане — одно удовольствие. Непередаваемые ощущения. Паришь, словно птица.

— А птицы часто ломают спины? — полюбопытствовал Флетч.

— Иногда посадка бывает жесткой, — пояснила Тина. — Это был последний полет Тома перед нашей свадьбой в следующую субботу.

— Да, — вздохнул Том. — Я намеревался завязать с дельтапланами, потому что этого хотела Тина. Она опасалась, что я могу разбиться. Похоже, предчувствовала.

— Свадьбу перенесли? — спросил Флетч.

— Нет. Только вместо фрака Тина положит красную ленточку на мою задницу.

— Как мило, — пожал плечами Флетч. — По крайней мере она будет знать, за кого выходит замуж. И долго ты будешь пребывать в гипсе и алюминии?

— Недели, — простонал Том. — Месяцы.

— Мы женимся надолго, — успокоила его Тина. — Несколько месяцев не имеют никакого значения.

Она предложила накормить Флетча завтраком, но тот, хоть и был голоден, отказался, резонно предположив, что ей хватает хлопот и с Томом.

— Ты слышал о моих успехах? — спросил Флетч.

— Да, — ответил Том. — Мне позвонил Джек Кэрридайн. Поначалу я подумал, что он рассказывает забавную историю. Потом понял, что он не находит в ней ничего смешного. Кто-то заслал твою статью об «Уэгнолл-Фиппс» на его страницы, пока он был в отъезде. Ты процитировал мертвеца, Флетч.

— За что меня и уволили.

— За что тебя и уволили. А я оказался в выигрышном положении. Ты же пролетел со статьей, готовить которую поначалу поручили мне.

— Том, можешь назвать причину, заставившую Чарльза Блейна подsunуть мне служебные записки, которые он будто бы получил совсем недавно от Томаса Бредли?

— Конечно. Он — подонки. В «Уэгнолл-Фиппс» все подонки. И Томас Бредли был таким же.

— В каком смысле?

— Понимаешь, не было в нем ничего человеческого. Никакой открытости. Его словно окружала стена. Просчитанные заранее слова, выверенные жесты. Слово ему было что скрывать. Потому-то два года назад мы провели расследование финансовой деятельности «Уэгнолл-Фиппс». И уж, конечно, обнаружили и взятки, и тот пансионат в Аспене, где никогда не отдыхали ни он сам, ни другие высокопоставленные чиновники «Уэгнолл-Фиппс».

— Хочешь кофе, Том? — спросила Тина.

— Чуть теплое, без кофеина, еще и через соломинку. — Том поморщился. — Нет, не хочу.

— А ты, Флетч?

— Спасибо, Тина, не надо.

— Тогда я иду мыть посуду. — Она собрала чашки и тарелки и ушла в дом.

— Бредли никогда не ездил в Аспен? — переспросил Флетч.

— Никогда. Спортсменом он не был.

— Откуда ты знаешь?

— Мы тщательно проверяли, кто жил в пансионате, а кто — нет. Только политики и коммивояжеры. Он никогда не привозил туда детей. Иногда там бывал начальник отдела продаж. Если катаешься на лыжах и у тебя есть пансионат на лыжном курорте, ты должен им пользоваться, не так ли?

— В общем-то да.

— У Бредли было другое хобби. Он выкладывал мозаики из кусочков цветной плитки. Некоторые украшали его кабинет. Получалось красиво.

— А каким образом он возглавил «Уэгнолл-Фиппс»? Это семейная фирма?

— Нет. Оптовая компания «Уэгнолл-Фиппс» разорилась, и Бредли купил ее за долги. Думаю, чуть ли не задаром. Потом продал часть складов. По куда более высокой цене. Полагаю, он договорился с покупателем, что вернет ему часть денег наличными. Короче, он получил оборотные средства, закупил товары, и дело у него пошло.

— И когда это было?

— Наверное, лет двадцать тому назад. А потом, когда у какой-либо из компаний-поставщиков возникали финансовые трудности, Бредли покупал всю компанию или ее часть. Так что теперь «Уэгнолл-Фиппс» — холдинг, владеющий акциями многих, никак не связанных друг с другом фирм, производящих все что угодно — от пластиковых бочек до швабр и гвоздей. Надо прямо

сказать, голова у Томаса Бредли варила как надо. Но основной сферой деятельности «Уэгнолл-Фипс» по-прежнему оставалась оптовая торговля. Впрочем, ты, наверное, и так все знаешь, Флетч. Ведь на прошлой неделе написал об этой компании статью. Помнишь?

— Не забуду до конца дней.

— Блейн — типичный неудачник. В свое время я говорил с ним. Начальник финансового отдела компании. Из тех, кто отсживает от сих и до сих, а потом — хоть трава не расти. Вечно во всем путается, не знает, где нужные документы. А вот Коркоран — нормальный парень. По крайней мере смотрит в глаза, когда говорит с тобой.

— Александр Коркоран, президент компании.

— Молодец, Флетч. Ты говорил с ним?

— Нет. Блейн сказал, что он участвует в каком-то турнире по гольфу.

— Значит, ты говорил только с Блейном?

— Выходит, что так.

— Как же ты мог, Флетч? Нельзя писать статью на основе информации, полученной только из одного источника.

— Спасибо за совет.

— Извини, Флетч. Не стоит сердиться на меня. Как-нибудь я расскажу тебе о своих промахах, благо, они случались.

— Как я понимаю, мне поручили написать статью о финансовом положении маленькой компании, которую пару лет назад «Ньюс-Трибюн» уже поджарила на медленном огне. С какой стати мне беседовать с кем-то еще, кроме вице-президента и начальника финансового отдела? Я знал, что все цифры, которые он мне дает, должны фиксироваться где-то еще, может, в отделе промышленных корпораций правительства штата. Я чувствовал себя в полной безопасности. С чего ему врать мне?

— Белые люди врут, — глубокомысленно заметил Том Джеффрис. — Черные, впрочем, тоже.

— И все-таки я этого не понимаю. Том, тебе когда-нибудь говорили, что Том Бредли умер?

— Не знаю. Впрочем, если б кто и сказал, я бы пропустил это мимо ушей. Слушай, в этой компании работают две-три тысячи людей. Это даже не открытое акционерное общество. Уэгнолл-Фипс — название какой-то деревушки. И мы интересовались ею только по одной причине — показать, что не только гигантские корпорации занимаются подкупом чиновников и слуг народа.

— Если «Уэгнолл-Фипс» не открытое акционерное общество, кто ее владелец?

— Думаю, Бредли. Бредли и его жена. Возможно, какая-то часть акций принадлежит Коркорану, но я в этом сомневаюсь. «Уэгнолл-Фипс» не из тех компаний, где руководство — одна семья. Бредли всегда был себе на уме. Он не стал бы делиться с кем-либо своими планами. А Коркоран, пусть и числится президентом, на самом деле обычный продавец. Бредли руководил компанией как председатель совета директоров. А титул президента он скорее всего пожаловал Коркорану, чтобы тот лучше работал.

— А что делал Бредли помимо работы?

- В каком смысле?
- С кем-то же он общался?
- Да. С детьми, женой, сотрудниками. Разве этого мало?
- А увлечения? Благотворительные комитеты, клубы, гольф, теннис? Ты говорил, что спорт он не любил.
- Ну, не знаю, мне он казался мягкотелым. Не из тех, кто следит за здоровьем. Может, он чем-то болел.
- А политика его не интересовала? Неужели он занимался только своей компанией?
- Понятия не имею. Мы виделись с ним в его кабинете. Говорил он спокойно, тщательно взвешивая каждое слово. Показывал мозаики. Красивые, но не более того. Не понимаю, куда ты клонишь, Флетч.
- Я пытаюсь разобраться, с кем имею дело.
- Может, тебе лучше сходить за этим на кладбище?
- Как смешно. Я хочу знать, почему Блейн говорил о нем, как о живом, хотя он мертв.
- Спроси Блейна.
- Именно это я и собираюсь сделать.
- Послушай, Флетч, выставить прессу в глупом свете пытаются с давних пор. Скармливают нам ложную информацию, чтобы потом от всего отказаться и оставить нас по уши в дерьме. Это же обычное дело.
- Говорить о мертвом, как о живом?
- Да, с этим Блейн перегнул палку.
- У Бредли же двое детей. Представь себе, как кто-то скажет им: «На днях я прочитал о вашем отце в газете. Ваш отец очень милый человек». Том, это жестоко.
- Согласен с тобой.
- Так почему он это сделал?
- Наверное, кроме Блейна, никто тебе не ответит.
- Пожалуй, ты прав.— Флетч спрыгнул со стола.— Поздравляю со свадьбой.
- Спасибо. Наверное, я буду единственным, кто женится в лежачем положении.

Глава 9

Джеймс Сейнт Э. Крэндолл, сутулый старичок лет семидесяти, стоял на веранде своего неказистого домишки в Ньютауне, засунув руки в карманы темно-зеленых штанов, сшитых из толстого брезента. Взгляд его не отрывался от лица Флетча с той минуты, как тот вышел из машины.

- Доброе утро,— поздоровался Флетч, подойдя к крыльцу.
- Мне ничего не нужно,— пробурчал Крэндолл.
- В каком смысле?
- Из того, что у тебя есть.
- Но вы же не знаете, что я привез.
- А мне плевать.
- Вы уверены?
- Абсолютно уверен. Так что садись в консервную банку, на которой приехал, и отправляйся в обратный путь.

- Вы Джеймс Сейнт Э. Крэндолл?
- Не твое дело.
- Вы Джеймс Сейнт Э. Крэндолл или нет?
- Хсчешь, чтобы я вызвал полицию?
- Естественно. Я подожду.

Морщинистая кожа под глазами Крэндолла покраснела.

- А с чего ты решил, что у тебя есть право это знать?
- У меня есть право знать все.
- Кто ты, собственно, такой?

Флетч широко улыбнулся.

- А почему вас это интересует?
- Ты бродяга.
- Возможно.

— Даже не носишь башмаки. Стоишь здесь оборванец оборванцем. Откуда ты взялся? Как узнал мое имя?

- Вы Джеймс Сейнт Э. Крэндолл.
- Возможно.
- Если так, то я нашел ваш бумажник.

— Я не терял бумажник.

— Вернее, «корочки» для паспорта.

— У меня никогда не было паспорта*. Тем более «корочек».

— Вы останавливались в отеле «Парк Уорт» несколько дней тому назад?

— Я постоянно живу дома.

Флетч оглядел дом Крэндолла. Облупившаяся краска. Кресло-качалка на веранде.

— Пожалуй, вы никогда не останавливались в «Парк Уорт».

— Даже не слышал о нем.

— Есть ли у вас сын или внук, которого зовут Джеймс Сейнт Э. Крэндолл?

— Не твое дело.

— Послушайте, я нашел этот бумажник. — Флетч продемонстрировал старику бумажник. — В нем деньги. Принадлежит он Джеймсу Сейнту Э. Крэндоллу. Я пытаюсь вернуть бумажник его владельцу.

— Бумажник не мой. Я тебе это уже говорил.

— Вашего сына?

— Не было у меня детей. И жена умерла тридцать лет тому назад. Чтоб ей гореть в аду. И племянников у меня, слава Богу, нет.

— Интересный вы человек. И в церковь ходите?

— Конечно, хожу.

— А нет ли среди ваших знакомых другого Джеймса Сейнта Э. Крэндолла?

— Если и есть, какая тебе разница?

— Извините, что побеспокоил вас. — Флетч отступил на шаг. — Поболтать с вами — одно удовольствие. — И направился к машине.

— Позвольте посмотреть на ваше водительское удостоверение и регистрационный талон на автомашину.

* В Соединенных Штатах паспорт требуется лишь при поездках в другие страны.

Флетч еще не выехал за пределы Ньютауна, когда сзади пристроилась патрульная машина, и водитель-полицейский, взвыв сиреной, приказал ему остановиться.

Он протянул полицейскому документы.

— Ирвин Морис Флетчер, — прочитал вслух полицейский. — Необычное имя, знаете ли.

— Да, вонючее. Мои родители ожидали скунса.

— Дождались?

— Нет, родился очаровательный мальчуган.

— И чем теперь промышляет их очаровательный мальчуган?

— Что-то я вас не понял.

Полицейский все еще держал документы в руке.

— Приезжаете к человеку, говорите, что нашли его бумажник с деньгами. Зачем вам это надо?

— Ага! Старина Крэндолл позвонил-таки в полицию.

— Не важно, кто позвонил.

— Какой же злопамятный тип.

— Не хотите ли проехать в полицейский участок и объяснить?

— Объясниться можно и здесь.

— Слушаю.

— Я нашел бумажник, в котором лежала визитка Джеймса Сейнта Э. Крэндолла. Без указания адреса. Я пытался найти Джеймса Сейнта Э. Крэндолла, которому принадлежит бумажник. Приехал к тому, что живет здесь, а он чуть не вышвырнул меня из дома. И позвонил вам.

— Покажите бумажник.

— Зачем?

— Чтобы не оказаться за решеткой по обвинению в мошенничестве.

— У вас недостаточно улик, чтобы посадить меня.

— Чтобы не оказаться за решеткой за вождение автомобиля босиком.

— За это вы можете лишь оштрафовать меня.

Полицейский выписал квитанцию.

— Штраф двадцать пять долларов.

— Не уходите на пенсию, пока не дождетесь моего чека.

Полицейский протянул Флетчу квитанцию.

— Покажите бумажник.

— Нет.

— Вы уезжаете из Ньютауна?

— Во всяком случае, пытаюсь уехать.

Полицейский вернул Флетчу водительское удостоверение и регистрационный талон на автомобиль.

— Уезжайте, Ирвин, да побыстрее.

— Да, сэр. Будет исполнено, сэр.

Глава 10

Открылась дверь, и ноздрей Флетча достиг дразнящий запах жарящегося гамбургера. За все утро он выпил лишь чашку кофе.

— Привет, красавчик! — Грудастая женщина, открывшая дверь дома Блейнов, оглядела его с босых ног до головы. — Чем могу помочь?

Лет шестидесяти пяти, она была в желтом, под горло, свитере, обтягивающих брючках и теннисных туфлях.

— Как себя чувствует мистер Блейн? — спросил Флетч.

— Откуда мне знать? — Карие глаза женщины смотрели Флетчу в лицо.

— Это дом Чарлза Блейна?

— Совершенно верно.

— Разве он не подхватил грипп?

— Надеюсь, что нет. Болеть в отпуске — это ужасно.

— Он в отпуске?

— В Сан-Орландо. На мексиканском побережье. Они уже ездили туда два года тому назад.

— Извините, я не представился. Это от изумления. Мне сказали, что он заболел гриппом. Моя фамилия Флетчер. Из «Ньюс-Трибюн». На прошлой неделе мистер Блейн помогал мне в подготовке статьи об «Уэгнолл-Фиппс». В статью попали неточности. Вот я и решил еще раз переговорить с мистером Блейном.

— Флетчер, Флетчер, Флетчер, — повторила женщина. — Не вы писали, что в некоторых похоронных бюро грабят покойников?

— Нет.

— Где-то я слышала вашу фамилию. Вы голодны?

— Конечно.

— Вот это правильный ответ. Все хорошие мужчины постоянно голодны. — Она отступила в сторону, приглашая Флетча войти. — Я поджарю вам гамбургер.

— Отлично.

— Вы собираетесь поблагодарить меня?

— Да.

— Это не обязательно. Женщине всегда приятно накормить голодного мужчину. — Дверь за Флетчем закрылась. — Меня зовут Хэпши Франскатти.

— Сразу видно, что вы и впрямь счастливая.

— Да, счастливая. — Через гостиную и столовую она провела его на кухню. — Я потеряла мужа и двух детей в трех автокатастрофах.

— Какой кошмар!

— Кошмар, но я все равно счастливая. Такой уж родилась. — Она положила три гамбургера в гриль. — Подозреваю, тут все дело в обмене веществ. Или в железах. А может, в чем-то еще. Я знаю людей, у которых нет никаких проблем, а они постоянно грустят. Они даже представить себе не могут, что такое счастье. Каждое утро я просыпаюсь в половине шестого, и мне сразу хочется петь. Я подбегаю к окну и смотрю на мир, зная, что он чем-нибудь да порадует меня. А чего вы не садитесь?

Флетч сел за маленький кухонный столик.

— Я — тетя Мэри Блейн, — пояснила Хэпши. — Вы знакомы с Мэри? Миссис Блейн?

— Нет. Я встречался с ее мужем. В его кабинете.

— Я лишь сторожу дом.— Хэпши перевернула гамбургеры.— Они позвонили мне в четверг, сказали, что у них появилась возможность уехать в Мексику, и попросили пожить в их доме. Я тут же согласилась. Видели бы вы мою квартиру. Да нет, не надо вам ее видеть. Она такая маленькая. Если я поправлюсь на десять фунтов, то просто не смогу там повернуться.

— Они не планировали поездку заранее?

— Думаю, что нет. Я ужинала с ними в субботу, и разговора об этом не было. На Чарли это непохоже. Без подготовки он не ходит даже в бакалейную лавку. Составит список, дважды его проверит, сосчитает, сколько у него при себе денег, дважды переоденется. И уходит, когда уже хочется накричать на него. Я сразу же приехала и отвезла их в аэропорт. Они улетели в половине четвертого.

— Понятно. А его секретарь сказала мне в четверг, что у него грипп.

— Может, он и правда заболел. Был такой бледный, все время молчал, хотя обычно любит поговорить.

— Надолго они уехали?

— На две недели. Может, на три. Сказали, что дадут мне знать. А что за неточности попали в статью?

— Вина целиком моя. Я кое-что не проверил.

— И у вас из-за этого неприятности?

— Нет. Меня уволили.

Хэпши положила на тарелку три половинки булочек, на них — поджаренные гамбургеры, сверху накрыла вторыми половинками.

— Если кто-то подложил вам свинью, то только не Чарли.— Она поставила тарелку перед Флетчем.— Он на такое не способен. Я знаю его двадцать лет. Он, конечно, зануда. Хочет все знать до последней мелочи. Иногда сводит меня и Мэри с ума. Сколько стоит это, сколько то, где мы это купили, в каком магазине, кого видели, что они говорили. Дело в том, что мы не можем запомнить все эти мелочи. Никому нет дела, где что покупается. Кроме, конечно, Чарли.

Флетч смотрел на гамбургеры.

— Это все мне?

— Разве вы не сможете их съесть?

— Смогу.

— Я уже поела. Хотите молока?

— Да. Выпью с удовольствием.

Хэпши взяла стакан, подошла к холодильнику, открыла его, наполнила стакан молоком.

— Мэри больше похожа на меня. Умеет радоваться жизни. Разумеется, рядом с Чарли даже статуя Свободы покажется комиком.

— Вкусные гамбургеры,— энергично жевал Флетч.— Чарли двадцать лет работает в «Уэгнолл-Фипс»?

— Нет. Последние четыре года. До того он работал в «Ай-би-эм».— Хэпши поставила стакан с молоком на стол, села напротив Флетча.— Вы не слишком хорошо знаете Чарли?

— Я его совсем не знаю.

— Он из тех людей, которые вместо того, чтобы смеяться над шуткой, начинают ее анализировать, а потом объясняют тому, кто пошутил. Кетчупа добавить?

— Нет, благодарю. Хэппи, а вы знаете чету Бредли?

— Босса Чарли и его жену? Да, конечно. Встречалась с ними два или три раза, когда Чарли только поступил на работу в «Уэгнолл-Фипс». Потом не видела два или три года. Не думаю, что они вели активную светскую жизнь. После того, как Мэри и Чарли пообедали у Тома и Энид, а затем Том и Энид — у Мэри и Чарли, вы понимаете, необходимый ритуал между начальником и новым подчиненным, каждая парочка залезла в собственную норку. Все они такие необщительные. За исключением Мэри.

— Вы были на похоронах Тома Бредли?

— Да разве можно сказать, когда такие люди умирают? — Хэппи рассмеялась. — Они же и не живут. Не подумайте, что я это со зла. Нет, я похоронила младшую дочь полтора года назад. Я знала, что Том Бредли тяжело болел, не вылезал из больницы, а потом отправился на Восток в специализированную клинику. Из-за его болезни Энид Бредли пришлось взять руководство компанией на себя. Не думала, что она справится, пусть даже с помощью Чарли и Алекса. Я имею в виду Алекса Коркорана, президента «Уэгнолл-Фипс». Вот тот обожает хорошую компанию. Знаете, Флетч, — я правильно запомнила ваше имя? — человека, который похоронил близких, а я похоронила троих, стараются не приглашать еще на чьи-то похороны.

Флетч принялся за третий гамбургер.

— Вкусно.

Хэппи улыбнулась.

— Ну до чего приятно смотреть на мужчину с хорошим аппетитом.

— Побольше бы таких женщин, как вы.

— Вы еще не женаты, Флетч?

— Уже развелся.

— В вашем возрасте? Как такое могло случиться? Наверное, ваша жена не научилась повязывать вам сюжачик.

— Что-то в этом роде.

— Она вас не кормила. Ох уж нынешние девушки! Гордость не позволяет им кормить мужчину. Из той же гордости они не могут позволить мужчине заплатить за них в ресторане. А потому все голодают.

— Хэппи, расскажите мне о Томе и Энид Бредли.

— Что тут рассказывать?

— Вы говорили, что он болел. Чем именно?

— Я забыла. Что-то хроническое. Может, вы мне подскажете?

— Я в болезнях ни бум-бум.

— Росточка он небольшого. Не выше жены. Большой любитель неприличных анекдотов. Мне они нравились. Умел он их рассказывать. А вот Энид, я чувствовала, его анекдоты коробили. Она смеялась, но как-то неестественно, вынужденно.

— Может, она слышала их раньше.

— Наверное. Я не могу причислить себя к их близким знакомым. — Хэппи глянула на настенные часы. — Надо бежать.

— Да, конечно. — Флетч допил молоко. — Могу я чем-нибудь вам помочь, Хэпши? Куда вас подвезти?

— Благодарю, нужды в этом нет. Только возьму гитару, и в путь.

— Гитару?

— Да, я всегда беру ее с собой, когда иду в дом престарелых. Я им играю, и мы поем. Некоторые из них поют очень хорошо. У стариков бывают чудные голоса. Жаль, только мир этого не замечает.

Она скрылась в спальне. Флетч дожидался ее в холле.

— А вот и мы. — Хэпши держала в руках гитару и пять или шесть экземпляров «Нэшнл ревью».

Флетч открыл дверь, пропустил ее вперед.

— Просто захлопните ее за собой, — бросила Хэпши через плечо.

— Хэпши, большое вам спасибо за ленч.

— Пустяки.

— Желаю вам хорошо провести время в доме престарелых.

— Проведу, будьте уверены. Перегружу на плечи стариков часть моего веселья. Одной мне тащить его невмоготу.

Глава 11

190 Проехав мимо дома Бредли в Саутгورте, Флетч отметил стоящий на подъездной дорожке «кадиллак». Двумя домами дальше мужчина красил стоящую на прицепе тридцатифутовую яхту. Чувствовалось, что на этой улице живут люди состоятельные. Вновь выехав на автостраду, Флетч свернул налево, остановился на первой же автозаправке, достал из багажника «МС»* чемодан, прошел в комнату отдыха, снял свитер и джинсы, надел брюки, рубашку, пиджак, носки и кожаные туфли.

Вернулся на улицу, где жили Бредли, припарковал машину у третьего от них дома.

Зашагал по тротуару к дому, рядом с которым мужчина в шортах и измазанной краской футболке любовно водил кистью по борту яхты.

— Привет, — поздоровался Флетч. — Хорошая у вас яхта.

Мужчина улыбнулся. Лет под сорок, с веснушками на носу.

— Тут вы не ошиблись. Это моя хорошая яхта, и она никогда не будет вашей хорошей яхтой. Она не продается.

На подъездной дорожке под яхтой лежали тряпки, чтобы краска не выпачкала асфальт.

— Я занимаюсь торговлей недвижимостью, — продолжал Флетч. — Поэтому хотел спросить вас о другом.

— Мой дом тоже не продается.

— Речь пойдет не о вашем доме, а о том, где живут Бредли.

— А, о них. — Мужчина бросил взгляд в сторону дома Бредли.

— Услышав о смерти главы семейства, мы решили поинтере-

* Автомобиль спортивного класса.

соваться у соседей, не намеревается ли вдова продать дом. Во всяком случае, босс дал мне такое поручение.

— А в какой фирме вы работаете?

— «Саут саутуорт риэлти».

— То есть вы работаете у Пола Кранца?

— Совершенно верно.

— Я знаю Пола. Несколько лет назад он помог купить дом моему отцу.

— Пол отличный парень.

— Так вы решили узнать о намерениях вдовы у соседей, а не у нее самой?

— Разве на моем месте вы поступили бы иначе?

— Наверное, нет. А вдруг соседи ничего не знают?

— И все равно ваша догадка будет точнее, чем моя.

Мужчина продолжил свое занятие, нанося на корпус толстый слой кремовой краски.

— Том Бредли умер? — спросил он.

— Так мы слышали.

— И у меня сложилось такое же впечатление. Вернее, я полагал, что он умер. Но на днях прочитал статью в «Ньюс-Трибюн», в которой о нем писали, как о живом. Я прочитал ее дважды, а потом показал жене. Даже спросил ее, не сошел ли я с ума.

— По-моему, нет. — Флетч переминался с ноги на ногу.

— Вы тоже прочитали ее?

— Я никогда не читаю финансовые страницы. А, наверное, следовало бы.

— Экономический раздел «Ньюс-Трибюн» не из лучших. Куда больше мне нравятся их статьи о спорте.

Флетч смотрел на сверкающие чистыми стеклами окна дома.

— Так умер Том Бредли или нет?

— Энид Бредли говорила, что да.

— Когда?

— На рождественской вечеринке. Мы устраиваем ее каждый год для соседей. И всякий раз приглашаем Бредли только потому, что они живут рядом. Они никогда не приходили. А в этом году Энид пришла. И в какой-то момент моя жена подошла ко мне, чтобы сказать: «Ты знаешь, Том Бредли умер. Я только что узнала об этом у Энид». Я, конечно, тут же нашел Энид, поговорил с ней. Нельзя сказать, что на этой улице мы живем одной семьей, но, когда человек умирает в двух домах от тебя, вроде бы ты должен это знать.

— Энид Бредли сказала вам, что Томас Бредли умер?

Мужчина кивнул.

— Энид Бредли сказала мне, что Томас Бредли умер. На прошлое Рождество. А тут я прочитал о нем в газете. Естественно, меня это удивило.

— По-моему, газеты частенько ошибаются.

— Ошибаются — да. Но цитировать покойника — это уже перебор.

— Выходит, случается и такое.

— Каким образом?

— Понятия не имею. Если миссис Бредли говорит, что ее муж умер...

— ...Значит, так оно и есть. Вы со мной согласны?

— У них двое детей, так?

— Да.

Флетч ждал продолжения, но его не последовало. Судя по всему, молодых Бредли в округе не жаловали. Мужчина вновь принялся за покраску.

— Красивая яхта. Вижу, вы ее холите и лелеете.

— Наверное, я могу вам сказать, раз уж вы работаете у Пола Кранца, которого я считаю своим другом... Бредли не самые лучшие соседи.

— Понятно.

— Мягко говоря, они шумноваты.

— Шумноваты?

— Наверное, у них были проблемы. До нас они докатывались шумом. Крики по ночам, хлопанье дверями, рев отъезжающей в два или три часа ночи машины, иногда даже звон разбитого стекла.

Флетч огляделся. Дома стояли на значительном расстоянии друг от друга.

— Неужели вы могли это слышать?

— Верится с трудом, правда? А поговорив с Энид Бредли, увидев ее, вообще придешь к выводу, что спокойнее женщины нет. Но иной раз мы слышали, как она орала. Словно резаная свинья. Истерические вопли, крики. Два или три года назад Том Бредли пытался покончить с собой.

— Вы это точно знаете?

— Бригада экстренной помощи прибыла ранним воскресным утром. Мы видели, как они потащили в дом прибор для промывания желудка, а затем вынесли Тома на носилках. Все соседи это видели. И таблеток он наглотался не случайно. После очередной ночной сцены.

— Может, он болел,— предположил Флетч.— Может, ему сказали, что его болезнь неизлечима. Потому и решил покончить с собой.

— Этого я не знаю. Но мне известно другое: с тех пор, как мы здесь поселились, из того дома постоянно доносились вопли. А мы живем тут уже шестой год. Подозреваю, у этой семьи серьезные эмоциональные проблемы. Такие семьи встречаются всюду, и в кварталах трущоб, и в более зажиточных районах. Жаль их, конечно, но что мы можем с этим поделать?

— А теперь все это прекратилось? Я хочу сказать, после смерти Тома Бредли уже никто не кричит по ночам и не бьет стекла?

— Да, теперь там совсем тихо. Дети приходят и уходят, но никто не хлопает дверями и не уезжает в реве мотора. Она, я имею в виду Энид, каждое утро ездит на работу. Так, во всяком случае, говорит мне жена. Кажется, она руководит компанией мужа... забыл название... а, вспомнил, «Уэгнолл-Фипс». О ней, собственно, и писали в «Ньюс-Трибюн». Разумеется, раз в «Ньюс-Трибюн» написано «Уэгнолл-Фипс», называться она может совсем по-другому, что-нибудь вроде «Смит, Смит и Смит».

— Да,— вздохнул Флетч.— Это же «Ньюс-Трибюн». Бульварная газетенка.

- У них отличный спортивный раздел.
- Миссис Бредли ничего не говорила насчет продажи дома?
- С Рождества я ее не видел. А уже скоро следующее. Живем рядом, а годами не разговариваем. Впрочем, особого желания общаться с ней у меня нет. Мы уже слышали ее криков. Так что не пытаемся сблизиться. Вы меня понимаете?
- Конечно.
- Хорошо бы вам спросить миссис Бредли, а не хочет ли она переехать в другое место. Может, идея ей понравится.
- Спрошу обязательно.

Глава 12

- Хотите что-нибудь выпить, мистер Флетчер?
 - Нет, благодарю.
 - А я, с вашего разрешения, выпью.
- Флетч сидел на широком диване в гостиной Энид Бредли. Через стеклянные двери на террасу он видел, как блестит под солнцем вода в довольно-таки большом бассейне.

Энид прошла к бару, замаскированному под книжный шкаф, налила вино в высокий бокал.

- Учитывая, что мне приходится ездить на работу каждый день, имею я право расслабиться в субботу, не так ли? Разве не под этим предлогом вы, мужчины, пьете по уик-эндам?

— Я вообще предпочитаю не пить.

— Вы моложе, чем я ожидала, мистер Флетчер.

Флетч ясно видел, что никакого расслабления нет и в помине. Энид стремилась лишь создать видимость, что она расслабляется. Слишком уж изучающе смотрела на него, когда открыла дверь. Слишком уж нарочито вздохнула, когда он представился. Сорока с небольшим лет, с избыточным весом, в платье, уже вышедшем из моды, в туфлях на высоком каблучке. Флетч не брался ответить на вопрос, а что она делала перед тем, как звякнул дверной звонок. Почему-то ему представилось, что она стояла в одной из комнат, со страхом ожидая его или другого незваного визитера.

Энид села на стул у кофейного столика с выложенной на его поверхности яркой мозаикой из кусочков разноцветной плитки.

Флетч провел по мозаике кончиками пальцев.

— Работа вашего мужа?

— Да.

— Очень красиво.

— В доме их несколько. В кабинете. В нашей спальне. На столике у бассейна. — Свободной рукой она указала за спину. — И, разумеется, на стене.

Большая мозаика в виде концентрических кругов украшала стену над камином.

— Я не виню вас в том, что вы заглянули ко мне, мистер Флетчер. Пусть я и оскорблена, но мне хотелось повидаться с вами. — Она поставила бокал на кофейный столик. — Я прочитала статью о нашей компании в номере «Ньюс-Трибюн» за среду. Мне пришлось позвонить вашему главному редактору. Статья очень

расстроила моих детей, да и сотрудников компании. С чего вы решили цитировать моего мужа?

Флетч молча смотрел на нее.

— Мы не собираемся подавать на газету в суд. Какой от этого прок? Я даже не стала просить вашего главного редактора, мистера Джеффа, печатать опровержение. Да и что он мог напечатать? «В недавней статье об «Уэгнолл-Фипс, Инкорпорейтед» Ай-эм Флетчер ошибочно цитировал покойного Томаса Бредли?» Нет, от этого все еще больше запутается. Причинит нам всем лишнюю боль.

— Вы могли бы разрешить «Ньюс-Трибюн» напечатать некролог вашему мужу. Они его не печатали.

— Не поздно ли?

— Когда умер ваш муж, миссис Бредли?

— В этом месяце исполнится год с его смерти.

Флетч вздохнул.

— В этом месяце исполнится год с его смерти. А я видел служебные записки, подписанные им три недели назад.

— Такого не могло быть. Просто не могло. Почему вы говорите, что видели их? Это абсурд. Я склоняюсь к мысли, что у вас что-то не в порядке с головой. Вы так жестоко поступили со мной и моими детьми.

— Или?..

— Что, «или»?..

— Вы сказали, что склоняетесь к мысли. Значит, вы рассматриваете два варианта. Какие же? Или у меня не все в порядке с головой, или?..

— Или у кого-то еще. Именно потому и говорю с вами, а не захлопнула дверь перед вашим носом. Сначала я подумала, что ваша статья — продолжение той грязной кампании, что вела ваша газета против «Уэгнолл-Фипс» несколько лет тому назад. Но нет, ваша статья просто... просто смешна. Газете от нее никакого толка. Я даже собиралась спросить мистера Джеффа, не смогу ли увидаться с вами, поговорить, но... поняла из нашего разговора, что делать этого не следует.

— А что же он вам такого сказал?

— Что вы очень молоды, а молодым свойственны ошибки, которые они и допускают.

— И вы склонились к мысли, что у меня не все в порядке с головой.

— И да, и нет. Сомнения у меня остались. — Она поднесла бокал к губам, потом поставила его на кофейный столик. Уровень вина в бокале не изменился. — Я сделала еще один шаг... для достижения поставленной цели. Вы, надеюсь, понимаете.

— Нет, не понимаю.

Энид Бредли пожала плечами.

— Для меня не имеет никакого значения, мистер Флетчер, состояние вашей психики, если более вы не причините вреда мне и моей семье. «Уэгнолл-Фипс» — компания Томаса. Он ее создал, он ею руководил. Последние двадцать лет я занималась только домом и детьми. А вот теперь пытаюсь управлять компанией.

На языке Флетча вертелись сочувственные фразы, но он предпочел промолчать.

— Но ваш редактор, мистер Кэрриузэй, приехал к нам в четверг.

— Кэрридайн.

— Его фамилия Кэрридайн? Я была так расстроена. Он пошел со мной и детьми, Томом и Та-та. Очень по-доброму поговорил с нами. Кое-что прояснил.

— Что же?

Ее глаза сверкнули.

— Он сказал, что вы болван, мистер Флетчер. Вечно творите всякие глупости. В редакции выполняете роль шута. И частенько лжете.— Она отвела взгляд.— Он также сказал, что на следующий день вас уволят и больше вы в газетах работать не будете.

— Это называется «поговорить по-доброму»?

Вновь она подняла на него глаза, уже не горящие злостью.

— Вас уволили?

— Естественно.

— Тогда почему вы продолжаете заниматься этим делом?

— Потому что я — хороший журналист, а в данной истории концы с концами не сходятся, так что я должен во всем разобраться.

— Вы уверены, что ваши действия не продиктованы жестокостью?

— Миссис Бредли, я написал статью, в которой сослался на служебные записки вашего мужа. Никогда раньше я не слышал ни о вашем муже, ни о вас, ни о ваших детях, а название компании «Уэгнолл-Фипс» было для меня пустым звуком. Потом сказали, что ваш муж умер, и меня это потрясло.

— Думаете, что я вам лгу? — Она поджала губы.

— «Ньюс-Трибюн» не печатала некролог о вашем муже. Я еще не успел заглянуть в Бюро статистики естественного движения населения. Сегодня суббота, а в город я вернулся вчера вечером. Но я это сделаю в понедельник.

— Там вы ничего не узнаете. Мой муж умер в Швейцарии.

— Однако.

— Я думала, это все знают. Его там и кремировали.

— Понятно.

Миссис Бредли резко встала, пересекла гостиную, сняла с каминной доски небольшую металлическую шкатулку и, вернувшись, поставила ее на кофейный столик перед Флетчем.

— Вот его прах.

Флетч смотрел на массивную крышку.

— Откройте ее. Не стесняйтесь, открывайте.

— Это не обязательно.

Энид Бредли откинула крышку. Шкатулку заполняла зола.

— Еще вопросы есть?

— Да, — откашлялся Флетч. — Да.

Она вновь села.

— Я расскажу вам все, если после этого вы больше не будете докучать нам.

— Согласен.

— У моего мужа был рак крови. Остаться в живых он мог лишь одним способом — регулярно заменяя кровь. То есть его собственная кровь выкачивалась из тела и заменялась кровью донора. Можете представить себе, какой это был ужас.

— Да. — Флетч закрыл крышку шкапулки.

— Вам придется меня выслушать. Со временем состояние его здоровья все ухудшалось. Бедный Томас. Руководя компаниями, он не хотел, чтобы кто-либо знал о его болезни. Алекс Коркоран, президент, по существу, начальник отдела продаж, крупный, цветущий мужчина, думал только о гольфе. Вот и сейчас он участвует в каком-то турнире в Саутуортском загородном клубе. Чарли Блейн, вице-президент и начальник финансового отдела, превосходный специалист, но неспособен принять самостоятельно мало-мальское решение. Если возникает нестандартная ситуация, он сразу теряется и может наломать дров. И Томас не хотел, чтобы дети волновались из-за него. У нас очень хорошие, благополучные дети. Та-та, наша дочь, Роберта — учительница в начальной школе. Ее любят дети и ценят коллеги. Том заканчивает медицинский колледж. Все у них в полном порядке. Мой муж очень хотел жить. Но ему приходилось все чаще ложиться в больницу на переливание крови. Болезнь наступала, мистер Флетчер. А Том слабел и слабел.

И тут мы узнали о новом методе лечения этой болезни, разработанном в Швейцарии. Я, конечно, не могу объяснить, в чем он заключается. Суть в том, что при переливании не допускается смешение старой и новой крови. Вы ведь тоже ничего не смыслите в медицине?

— Нет.

— Короче, происходит полная очистка сосудов. Я не уверена, что этот метод применяют только в Швейцарии, но его изобретатель практикует там и считается лучшим специалистом. Так что Том оставил компанию на меня, а сам полетел в Швейцарию, чтобы пройти курс лечения. Поначалу все шло хорошо. А потом мы получили известие о его смерти.

Энид, до того не отрывавшая взгляда от лица Флетча, поднесла руку к глазам и закрыла их.

— Мистер Флетчер, не могли бы вы оставить нас в покое и прекратить это безумие?

Флетч откинулся на спинку дивана. Глубоко вдохнул и медленно выдохнул.

— Миссис Бредли, почему ваш вице-президент и начальник финансового отдела Чарльз Блейн на прошлой неделе говорил о вашем муже, как о живом человеке? Почему он показывал мне служебные записки, полученные от вашего мужа и датированные недавними числами?

Энид Бредли вскинула голову, уставилась в пересечение стены и потолка над головой Флетча и медленно заговорила:

— Потому-то я и приняла вас сегодня, мистер Флетчер. Теперь я убеждена в вашей невинности... вы не хотели причинить нам боль. Боюсь, мы оба стали жертвами жестокости кого-то третьего.

— Почему он это сделал, миссис Бредли?

— Чарли — очень нервный, суетливый человек. Я уже гово-

рила, все экстраординарное выводит его из себя. Он просто обожал, буквально поклонялся моему мужу. Мог смеяться весь вечер над далеко не остроумной шуткой Тома. О смерти Тома я старалась никому не говорить. Не сообщала в газеты. Даже не заказывала службу в церкви. Возможно, напрасно. Если бы я пошла самым прямым путем, не было бы и вашей статьи в «Ньюс-Трибюн». Видите ли, я возглавила компанию лишь на время отсутствия Тома. Никто не сомневался, что он вернется. А потом Томас умер. Я не знала, что делать. Слава Богу, у меня осталась Франсина. Она так мне помогла. — Энид вновь принялась разглядывать свои колени. — Именно она предложила, чтобы я сообщила о смерти Тома не всем сразу, а каждому в отдельности. Так я и поступила. Причем несколько месяцев, до осени, вообще никому ни о чем не говорила. Тем самым надеялась смягчить удар, который могло вызвать известие о кончине Тома. Я не думаю, что Чарли примирился со смертью моего мужа. Он не видел, как Том умирал, поэтому не верит, что он умер.

— Кто такая Франсина?

— Сестра Тома. Живет в Нью-Йорке. Они с Томом души друг в друге не чаяли.

— Миссис Бредли, что за служебные записки показывал мне Чарлз Блейн?

— Если вы видели служебные записки, подписанные моим мужем, мистер Флетчер, значит, вам подсунули подделки. Другого объяснения я не нахожу. Раз или два в разговоре со мной Чарли отозвался о Томасе, как о живом, в настоящем времени. Тогда я подумала, что он просто оговорился. А после публикации вашей статьи... в среду... я наконец все поняла. У Чарли, должно быть, случился нервный срыв. А потому в четверг утром я вызвала Чарли к себе и сказала ему, что Том уже с год, как умер. После чего отправила его с женой в длительный отпуск.

— В Мексику.

— Они поехали туда? О, да, они и раньше отдавали предпочтение Мексике. Когда он вернется, будем разбираться. Если он действительно решился на подлог... Ну, не знаю. У вас нет копий этих служебных записок, мистер Флетчер?

— Нет.

— Жаль. Сами видите, я не знаю, что делать. Все очень запутано.

— Вы намерены и дальше руководить компанией, миссис Бредли?

— Нет! Упаси Бог! — На ее лице отразился ужас.

— Вы продаете компанию?

— Нет. По отношению к детям это было бы несправедливо. Франсина придет сюда, как только уладит все свои дела в Нью-Йорке. Она куда умнее меня, знаете ли. С Томом они очень схожи. Мне всегда казалось, что они и мыслят одинаково. Она у нас деловая женщина. — Энид Бредли рассеянно оглядела комнату. — Франсина придет через полтора-два месяца.

Наступила неловкая пауза.

— Даже не знаю, что и сказать, — прервал молчание Флетч.

— Не надо ничего говорить. Я вижу, вы не хотели причинить

нам вреда. Так уж получилось, что вы попали к человеку, временно тронувшемуся умом. Вы же не могли этого знать. Если хотите, я позвоню вашему главному редактору. Скажу ему о нашем разговоре. Расскажу о Чарли, о его собачьей привязанности к моему мужу...

— Большое спасибо, но толку от вашего звонка не будет. Я уже прославился тем, что процитировал человека, отошедшего в мир иной. И об этом будут помнить до конца моих дней.

— Мистер Флетчер, чем я могу вам помочь? Репортеры много не зарабатывают, а теперь вас еще и уволили. Боюсь, в этом есть и наша вина.

— Спасибо за предложение, но мне ничего не надо. Позвольте поблагодарить вас за то, что приняли меня, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

— Все это очень печально.

Энид Бредли поднялась и проводила Флетча до двери.

Глава 13

— Холодного пива, — заказал Флетч. — Если оно у вас есть.

Бармен «Девятнадцатой лунки», так назывался бар в Саутортском загородном клубе, поначалу хотел спросить, а как тот попал на территорию клуба, но передумал, налил в кружку пива и поставил ее перед Флетчем.

— Благодарю, — улыбнулся Флетч.

Во время турнира незнакомцы в клубе так и кипели: многие участники приезжали с болельщиками.

В дальнем конце бара, у окон, выходящих на поле для гольфа, толпились небрежно одетые, громко разговаривающие между собой мужчины.

— Пибл-Бич, — вещал один из них. — Никто не верит тому, как я сыграл в Пибл-Бич. Даже я теперь этому не верю!

Говорили по одному и все разом, сопровождая чуть ли не каждую фразу взрывами хохота. Флетч потягивал пиво.

Кружка его почти опустела, когда кто-то из них обратился к высокому, крепко сложенному мужчине в очках.

— Алекс, я думал, тебе не удастся уложиться в положенное число ударов на седьмой лунке.

— Однако мне это удалось, — улыбнулся Алекс.

Флетч подхватил кружку, направился в дальний конец бара, смешался с мужчинами, смеясь вместе с ними. Вскоре он уже стоял рядом с Алексом. А еще через какое-то время, дождавшись паузы в общем разговоре, обратился к нему.

— Вы — Алекс Коркоран, не так ли?

— Вы не ошиблись, — подтвердил мужчина.

— Второй призер не самого большого, но самого гостеприимного турнира в Соединенных Штатах Америки, — добавил кто-то из мужчин чуть заплетающимся языком.

— Поздравляю, — отсалютовал кружкой Флетч.

— А сейчас наступает время молодых. — Алекс поднес ко рту бокал джина с тоником. — Я-то уже выдохся, думаю только о том,

как добраться до постели, а вам хоть бы что. Свеженькие, как огурчики.

— Мы с вами уже встречались. Как называется тот клуб... — Флетч описал полукруг, охватив всю восточную часть страны, подразумевая, что где-то там находился гольф-клуб, название которого выпало у него из памяти.

— Юстон.

— Да. Юстон.

— Вы вышли со мной в финальную часть?

— Нет, я выбыл из борьбы на предварительном этапе. Но наблюдал за вашей игрой. Потом мы поболтали в баре.

Алекс Коркоран рассмеялся.

— Извините, не припоминаю.

— Мы говорили об «Уэгнолл-Фишс». Вы работаете в «Уэгнолл-Фишс», так?

— Нет! — воскликнул стоящий рядом мужчина. — Он не работает в «Уэгнолл-Фишс». Он — президент компании!

— Он вообще не работает, — добавил второй.

— Я работаю в «У-эф» уже семь лет, — внес ясность Коркоран. — А президентом стал после того, как компания отказалась от обслуживания любителей горных лыж.

Все дружно рассмеялись.

— Джерри выдрали, как мальчишку. Обслуживание любителей горных лыж, — покачал головой один из гольфистов. — Внезапно этот бизнес стал противозаконным и антиамериканским.

— Все зависит от того, кого обслуживаешь.

— Вернее, кого подкупаешь.

Турнир окончился, так что теперь гольфистов веселила любая фраза.

— Алекс, а что случилось с Джерри?

— Посвятил остаток дней горным лыжам, — ввернул кто-то.

— Да. Ушел на пенсию. И поселился в Аспене.

— Экс-президент «Уэгнолл-Фишс» сейчас живет в Мексике, — внес ясность нынешний президент, — и его пенсия больше моего жалованья.

— Правда? — удивился один из гольфистов. — Грехи, выходит, высоко оплачиваются.

— Пенсия у него очень большая, — подтвердил Коркоран. — А тот скандал ни в коей мере не повредил ему. Я бы с радостью устроил себе такой же. Тогда мне не пришлось бы ходить на работу.

— Да тебя и не бывает в кабинете, Алекс.

— Сидя за столом, не продашь и гвоздя, — назидательно заметил Алекс. — Волка ноги кормят.

— А Томас Бредли, — продолжил Флетч, — ваш босс. Разве он умер?

Мужчины расхохотались.

— Все зависит от того, какую газету читаешь, — выразил один общее мнение. — Всем еще по бокалу, Майк, — добавил, обращаясь к бармену. — А вы что будете пить? — спросил он, уставившись на пустую кружку Флетча. — Не знаю, как вас зовут.

— Майк, — ответил Флетч. — Майк Смит.

- И пиво для Майка, Майк.
- Майк Смит. Вы играли за команду Беркли?
- Так умер Томас Бредли или нет? — Флетч старался не отвечать, а спрашивать.
- Для всех, кроме «Ньюс-Трибюн».
- Да, умер, — ответил Алекс Коркоран уже без улыбки. — Примерно год назад. Вы его знали?
- Я знаком с его сестрой. Из Нью-Йорка. Франсиной.
- Правда? — В голосе Коркорана прозвучал искренний интерес.
- Да, встречались однажды.
- И как она выглядит? — спросил Алекс.
- Неужели вы никогда не видели ее?
- Нет. Она скоро приезжает, чтобы возглавить компанию, а я ни разу с ней не встречался. Том, бывало, говорил, что она очень умна. Насколько я знаю, это будет ее первая поездка на Запад.
- А от чего умер Том? — полюбопытствовал Флетч.
- Поехал во Францию, чтобы пройти какой-то лечебный курс. Насколько я понял, лечение не пошло на пользу, а свело его в могилу.
- Во Францию?
- Я даже не знал, что он тяжело болен. Конечно, иной раз он пребывал в отвратительном настроении, но кто мог подумать, что причиной тому — неизлечимая болезнь.
- Но вы знали, что он болел?
- Нет. Можно сказать, что нет. Я, правда, говорил моей жене, что он вроде бы ссыхается, уменьшается в размерах. Плечи становились уже. Он худел. Впрочем, толстым он никогда не был. Бедный Том. За тебя. — Алекс ополовинил бокал, и глаза его увлажнились. — Я любил этого парня. Настоящий джентльмен. Если б не его глупые, похабные анекдоты, которые все уже слышали. Прекрасный был человек. Такие не должны умирать молодыми. В то время как всякое дерьмо доживает до глубокой старости... Вроде меня!
- Ну, мне пора. — Флетч протянул руку Алексу Коркорану. — Беседовать с вами — одно удовольствие. Жаль, конечно, что Том Бредли умер.
- Да, жаль. Я тоже пойду. Жена, должно быть, уже ищет меня. — Коркоран взял со стойки свой кубок. — Иди сюда, моя прелесть. — И он поцеловал его.

Глава 14

Флетч приехал домой уже в темноте. В окнах его квартиры горел свет, и Мокси поспешила к двери, как только он сунул ключ в замок. Кроме фартука, на ней ничего не было.

— Хо-хо, — улыбнулся Флетч. — Прямо как жена.

— Не как жена, — поправила его Мокси. — Как Мокси Муни.

Флетч поцеловал ее в губы.

— Звонила твоя бывшая жена, — продолжила она. Флетч снова поцеловал Мокси. — Звонил Том Джеффриз. Просил перезвонить.

Еще один поцелуй.

— И что хотела старушка Линда?

— Мы так долго говорили. Она сказала, что ты — нимфоманка мужского рода, что веры тебе нет ни на цент, что с тобой бывает очень весело. Вспомнила, как однажды ты позвонил ей из редакции, сказал, что едешь домой, а улетел на Гавайи.

— Куда только не полетишь ради хорошей статьи.

— Еще ты жестоко обращался с ее котом. Мне кажется, она до сих пор любит тебя.

— И что ты ей сказала?

— Заверила твою бывшую жену, что ты, по моему убеждению, до сих пор любишь ее.

— Премного тебе благодарен. Особенно мне нравится платить ей алименты.

— Она сказала, что ты ей ничего не платишь. Что она не получила от тебя ни цента. Я ответила, что меня это удивляет. Ты же купаешься в деньгах, только что купил шестидесятифутовую яхту, так что, если у нее возникнут денежные проблемы, пусть сразу приезжает к тебе.

— Потрясающе! Чем еще порадуешь?

— Я сказала, что наемни ты подарил мне бриллиантовую тиару и норковую шубу.

— Она, несомненно, тебе поверила.

— Боюсь, что нет. А теперь звони тому парню. С переломанной спиной.

— Том? Это Флетч. Как идет жизнь на уровне земли?

— Флетч, я понятия не имел, что у нас так много муравьев. Я наблюдал за ними весь день.

— Наверное, с дельтаплана муравьев не разглядеть.

— Между прочим, наблюдать за ними очень интересно. Они совсем как люди.

— Хочешь составить конкуренцию Дарвину?

— Слушай, я звонил тебе не потому, что умираю от скуки. Хотел рассказать забавную историю. Чтобы хоть как-то подбодрить тебя. Историю с названием «НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, КОТОРЫХ НЕ УВОЛЬНЯЮТ ИЗ «НЬЮС-ТРИБЮН».

— А такие есть?

— После твоего ухода мне позвонил Джек Кэрридайн. Насчет Клары Сноу.

— Что она сотворила на этот раз?

— Она нынче парламентский корреспондент, словно действительно умеет писать. Будучи аккредитованной при законодательном собрании штата, она не удосужилась сообщить, что брату пресс-секретаря губернатора принадлежит автосалон, который продает машины полицейскому управлению.

— Клара об этом не сообщила?

— Задрала носик, скорчила гримаску, ты знаешь, как она это делает, и заявила, что это личный вопрос.

— Для кого?

— Наверное, для пресс-секретаря. Семейные отношения не

представляют для читателей никакого интереса. Да и вообще, должно же полицейское управление где-то покупать машины. Можешь ты в это поверить?

— Зло берет, когда слышишь такое.

— Точно. Вот я и подумал, что тебя это подбодрит. Ты, конечно, знаешь, что Клара спала с пресс-секретарем.

— Я думал, что она спит с Френком Джеффом.

— И с ним тоже. Клара спит со всеми, кто может поспособствовать ее карьере. Так что нельзя сказать, что она не отдается работе. Потому-то подобные промахи и сходят ей с рук.

— Ты хочешь сказать, что Френк не собирается дать этот материал?

— Джек говорит, что Френк позвонил губернатору и потребовал в течение месяца пресечь коррупцию, пригрозив, что в противном случае обнаружит известные ему сведения. Как тебе это нравится?

— Губернатору понравилось наверняка. Надеюсь, что наши конкуренты воспользуются медлительностью «Ньюс-Трибюн».

— Можешь позаботиться о том, чтобы воспользовались.

— Нет. Я за это не возьмусь. Такие методы не по мне.

— Как настроение, Флетч?

— Отвратительное. А у тебя?

— Такое же. До встречи.

— Пока.

Флетч позвонил в «Ньюс-Трибюн».

— Отдел частных объявлений, — ответил женский голос. — Могу я чем-нибудь вам помочь?

— Да, пожалуйста. Я хотел бы дать объявление в вашей колонке «Потери и находки».

— Да, сэр. Какой будет текст?

— «Найден бумажник Джеймса Сейнта Э. Крэндолла. Писать абонементный ящик номер...» Какой вы мне дадите номер?

— Двести тридцать шестой.

— Двести тридцать шестой.

— Джеймс Сейнт Э. Крэндолл. Под Э. подразумевается Эдуард, так?

— Да.

— Кейт-Рональд-Эдуард-Ник-Дон-Огден-дважды Лео?

— Да.

— Кому и по какому адресу я должна послать счет за объявление?

— Ай-эм Флетчеру.

— Вы шутите!

— Отнюдь.

— Так это ты, Флетч?

— Да.

— Слушай, я так жалею, что тебя вышибли. А что ты сделал, поджег брюки Френку?

— Я думал, все и так знают.

— Да, я знаю. Прочитировал покойника.

— А с кем я говорю?

— Мэри Пейтуч.

— Мэри, ты запишешь мой адрес?

— Я всегда хотела знать твой адрес. Тебе это известно.

Флетч продиктовал ей адрес, позвонил по межгороду в «Сан-Франциско кроникл» и дал точно такое же объявление.

Шагая по тротуару в три часа утра, Флетч заметил, что яхта все еще стоит на подъездной дорожке. В лунном свете блестел ее свежевыкрашенный корпус. В домах не светилось ни огонька. Горели лишь уличные фонари.

Он свернул на подъездную дорожку дома Бредли, вошел в открытый гараж. Но дверь в дом была заперта. Он обошел дом, попытался войти через черный ход. Но и тут потерпел неудачу.

А вот стеклянную дверь, ведущую из гостиной на террасу и к бассейну, запереть не удалось. Открылась она со скрипом. Где-то залаяла собака.

В гостиную свет предзвездной луны почти не проникал. Переступив порог, Флетч постоял, привыкая к темноте. Затем двинулся вперед, осторожно переставляя ноги. Добрался до камин. Но шкатулки с золой на каминной доске не обнаружил.

Проследовал к кофейному столику, наклонился над ним. Медленно ощупал его поверхность. Сначала нашел стакан, из которого пила вино Энид Бредли. Потом — шкатулку.

Достал щепотку золы и пересыпал ее в конверт. Закрыв крышку, заклеил конверт.

Повернувшись, наткнулся на стул, в котором сидела Энид Бредли. Стул не упал, но сдвинулся по ковру на несколько сантиметров.

Когда он закрывал за собой дверь на террасу, собака не загавкала.

Глава 15

В ярком солнечном свете воскресного утра группа девочек-подростков бежала трусой вокруг зеленой лужайки на территории школы Саутуорта. Флетч ждал их у двери в опустевшее общежитие.

Когда они подбежали ближе, Флетч отметил разительное сходство между старшей по возрасту девушкой, уже не подростком, и Энид Бредли. Разумеется, девушка эта не страдала полнотой и ее шорты с разрезами по бокам и кроссовки нельзя было назвать старомодными.

— Роберта?

Остальные девушки, тяжело дыша, сгрудились у крыльца, не торопясь уйти в дом.

— Все в душ! — скомандовала Роберта. — Через полчаса идем в церковь! — И посмотрела на Флетча.

— Роберта Бредли?

— Мы с вами встречались? — спросила она ровным голосом. Пробегка не утомила ее. Она даже не запыхалась.

— Это наша первая встреча. Скорее всего и последняя. Я — Флетчер.

— И что?

— Ай-эм Флетчер.

— Вы это уже сказали.

— Тот мерзавец, что написал статью об «Уэгнолл-Фишпс», опубликованную в среду.

— Теперь поняла. Вы хотите поговорить. Но в этом нет нужды.

— Я подумал, что мне следует...

— Я хотела бы пробежать еще пару миль, пока мои крошки нежата под горячим душем. Составите компанию?

— С удовольствием.

Бежала она быстрее, чем могло показаться со стороны. Большими шагами, легко выбрасывая вперед длинные, без лишнего жира, ноги.

Они свернули на тропинку, уводящую за здание школы.

— Я бегаю, чтобы хоть несколько минут побыть в одиночестве.

— Извините. Если хотите, считайте, что я часть ландшафта.

Валун, дерево, перекасти-поле.

— Девочки не дают мне возможности покататься на Мелани.

Ей бы тоже не повредила прогулка. Это папина лошадь.

— Вы все еще держите лошадь отца?

Минуту или две Роберта бежала молча.

— Наверное, еще никто не решил, что с ней делать. Так чего вы от меня хотите?

— Прежде всего хочу извиниться перед вами. Должно быть, вас очень огорчила моя статья.

На ее лице отразилось раздражение.

— Почему из мухи раздувают слона? В мире случаются куда более странные вещи... Вы написали статью об «Уэгнолл-Фишпс» и назвали моего отца председателем совета директоров. Что из этого? Вы просто отстали от жизни, и ничего более.

— Однако...

— На днях к нам приходил господин в костюме-тройке. Из редакции. Посидел со мной и Томом, извинился за «Ньюс-Трибюн». Сказал, что бывают досадные ошибки. Как будто мы не знаем этого сами. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

— Я должен был проверить все факты, прежде чем сдавать статью в набор. Видимо, Кэрридайн дал мне нелестную характеристику.

Роберта улыбнулась и покачала головой.

— Если вы хотя бы наполовину такой, каким описывал вас этот человек, вы просто чудовище! Некомпетентный, глупый, самовлюбленный, лживый. — Она перепрыгнула через лежащий на тропинке булыжник. — Хорошо, конечно, что вы пришли.

— Не могу объяснить, как такое случилось.

— И не нужно. Вы напортачили. И что? На прошлой неделе я дала тест по французскому классу, изучающему испанский. Так, поверите ли, две или три девочки начали отвечать на вопросы. Нельзя верить ни газетам, ни учителям.

— Ваш отец уезжает на лечение в Швейцарию... Ваша мать берет на себя руководство компанией в его отсутствие... Потом он

умирает... Ваша мать греет место для вашей тети Франсины...

— Невозможно осознать всего, что происходит вокруг. Я постоянно говорю это своим ученикам. Можно делать вид, что вам это по силам. Но есть такое...

— О чем вы?

— Я слышала, что бег — лекарство для души. Настраивает на философский лад.

— Особенно утром в воскресенье, — подкинул Флетч.

— Здесь мы поворачиваем назад, — не стала развивать затронутую тему Роберта.

Какое-то время они бежали молча.

— Хорошо, что вы заехали ко мне, — повторила она. — Но нужды в этом не было. Вы намереваетесь повидаться и с Томом?

— Да.

— Напрасно. Он готовится к экзаменам, знаете ли. Грызет гранит науки. Очень ответственный парень. Работает, не щадя себя. Давайте считать инцидент исчерпанным. Согласны?

— Я пытался заглядеть свою вину.

— Вы ее загладили. Скажу Тому, что вы заезжали. Хорошо?

— Неужели мы пробежали две мили? — удивился Флетч.

— Ровно две мили. Если хотите, можете повторить.

Они остановились у крыльца.

— Нет, с меня хватит.

Роберта оглядела его.

— Похоже, у вас из кармана сейчас выпадет конверт. — Она указала на задний карман джинсов Флетча.

— О, большое вам спасибо. — Флетч затолкал запечатанный конверт с золой поглубже.

Общежитие вибрировало от смеха и криков.

— Хорошо, что вы не потеряли его. Иначе вам пришлось бы пробежаться вновь, чтобы найти конверт. — Она взлетела на крыльцо. — Спасибо, что нашли время заглянуть ко мне. С Томом я переговорю сама.

— Вы хотите увидеть Тома? — Открытое, внушающее доверие лицо соседа Томаса Бредли-младшего было почти таким же широким, как и дверь в комнату общежития. — Он есть, но его нет.

На лице Флетча отразилось изумление.

— Мы держим его в ванне, — пояснил сосед.

И провел Флетча в ванную.

В ванне, на подложенных под спину и голову подушках, лежал двадцатилетний парень. С растрепанными волосами, с заросшими щетиной подбородком и щеками, с закрытыми глазами.

— Мы решили, что здесь ему самое место, — продолжил объяснения сосед. — Он не причинит себе вреда. Из ванны ему не выбраться. Слишком высоко надо подняться.

— Он напился таблеток или сидит «на игле»?

— «Колеса», только «колеса».

Сосед наклонился и большим пальцем правой руки приподнял веко одного из глаз Тома Бредли.

— Привет. Есть тут кто-нибудь?

Флетч сказал соседу по комнате, что хочет видеть Тома Бредли

по «семейному делу», а сосед ответил: «Слава Богу, что наконец кто-то пришел».

— Послушайте, но нельзя же так жить, — воскликнул Флетч.

— А вот он живет. Иногда встает, едет домой, привозит деньги. А потом вновь отключается.

— И когда это началось?

— В пятницу. Два дня тому назад. Позавчера была пятница?

— Кошмар. А мне сказали, что он корпит над учебниками, не поднимая головы.

— Никогда не корпел. В прошлом году едва сдал экзамены. Осенью, однако, вернулся в колледж. Несколько недель от случая к случаю бывал на лекциях. Последний раз появился в аудитории в ноябре. Не знаю, зачем, он уже не мог наверстать упущенное.

— Но почему он до сих пор живет в общежитии?

— А что нам с ним делать? Мы пытались переслать его домой, но на почте сказали, что посылки таких габаритов они не отправляют. Такие вот дела. Однажды мы на руках отнесли его в лазарет. На следующий день он сбежал.

— Когда это было?

— Перед Рождеством. Потом появился через две недели после Нового года. Весь избитый. Казалось, он провел это время в джунглях Борнео. Мы вновь уложили его в ванну. Я не считал за труд съездить к нему домой. В Саутуорт. Там живет его мать. Сказал, что ее ждут тяжелые дни. И причина тому — Том. Поначалу она словно обезумела от страха. Отказывалась верить тому, что я говорю. Утверждала, что Том появлялся дома раз в неделю, максимум — в две. Наверное, так оно и было. Сказала, что он просто переутомился от занятий, что в последнее время на его долю выпало много переживаний.

— Переживаний? — переспросил Флетч.

— Упомянула о смерти его отца.

— Вроде бы он умер год назад.

Сидевший у ванны на корточках сосед поднял голову.

— Что значит «вроде бы»?

— У него очень милая сестра, — ушел от прямого ответа Флетч. — Не жалующаяся на здоровье.

— Та-та? Да. С ней я тоже виделся.

— И что она сказала?

— Что в этом мире каждый должен сам выбрать себе дорогу. Она, словно заводная игрушка, и полагает, что остальные ничем от нее не отличаются. Говорит, что не все в жизни поддается осознанию. Тут я с ней согласен. Никак не могу понять ее реакции. — Наклонившись над ванной, сосед несколько раз легонько шлепнул Тома Бредли по щекам. Тот приоткрыл глаза. — Эй, Том! К тебе гость. Говорит, что его звать Сатана. Хочет взять тебя на работу кочегаром.

Затуманенный взгляд Тома Бредли устремился к потолку. Затем переместился на лицо соседа по комнате.

— Том, ты проснулся?

Взгляд Тома пробежал по Флетчу и зафиксировался на точке в полуметре от его левого плеча.

Сосед по комнате встал.

— Приведите кого-нибудь, чтобы что-то сделать с этим парнем. У меня такое ощущение, словно я унаследовал аквариум. И должен заботиться о его обитателях и смотреть на них, не имея на то ни малейшего желания. Понимаете?

— Не знаю, что смогу сделать. Во всяком случае, прямо сейчас.

— Кроме того, мне тоже хочется полежать в ванне. Естественно, наполненной водой.

После того как за соседом закрылась дверь, Флетч присел на краешек ванны, рядом со смесителем.

— Том, люди зовут меня Флетч. Я говорил с вашей матерью и вашей сестрой. Решил, что должен поговорить и с вами.

Вместе с Флетчем переместилась и точка, в которую уставился Том. Она по-прежнему находилась в полуметре от левого плеча репортера.

— Я упомянул вашего отца в статье, опубликованной в среду в «Ньюс-Трибюн». Допустил ошибку. Не знаю, может, эта статья и стала причиной вашего теперешнего состояния. Во всяком случае, она не способствовала улучшению вашего настроения.

— Моего отца? — Том приподнял голову. Говорил он громко и отчетливо, совсем не шепотом, как ожидал Флетч. — Вы собираетесь сказать мне, что мой отец снова умер?

— Перестаньте.

— Вы разговаривали с моим отцом в последнее время?

— А я мог?

— Конечно. — Губы Тома медленно изогнулись в улыбке. — Для этого надо подойти к каминной доске, открыть шкатулку и сказать все, что вам хочется. Или... — Улыбка стала шире. — Вы можете воспользоваться телефоном.

— Том, ваш отец умер?

— Конечно. Все так говорят. Даже он сам.

— Это что, шутка? Объясните, что к чему.

Ответил Том после долгой паузы.

— Мой отец умер. Хуже, чем умер. Вы знаете?

— Нет, не знаю. Что может быть хуже смерти?

— Он покончил с собой. — Том взмахнул рукой, словно воткнул нож себе в живот, а затем вспорол его.

— Понятно. Он и раньше пытался покончить с собой, не так ли?

Теперь Том уставился в стену над головой Флетча.

— Где он умер?

— В весеннем Саутуорте. В Вене*.

— Во Франции?

— Нет, не во Франции.

— В Швейцарии?

— Да. Именно там. Он умер в Швейцарии. От рака крови. Много, много операций.

— Том, почему ты винишь отца за его смерть?

Взгляд Тома медленно обошел маленькую ванную.

— Ему не нравилось.

* По-английски столица Австрии Вена и город Вьен во Франции произносятся одинаково.

Флетч подождал, пока взгляд Тома остановится слева от его головы.

— Что ему не нравилось?

Глаза Тома Бредли закрылись.

— Нет. Не нравилось, — пробормотал Том. — Удивительно, не правда ли? И что теперь остается мне?

— Что теперь остается тебе?

Глаза Тома открылись, взгляд упал на смеситель между его ног. Глаза закрылись вновь.

— Лежать в ванне.

— Еще один вопрос.

— Не хочу больше слышать ни одного вопроса, — ответил Том, не открывая глаз.

— Где родился твой отец?

— Он не рождался. По-моему, он не рождался. Люди только думали, что он родился.

— Где он вырос?

— Он говорит, в чистилище. Вам знакомо это слово — «чистилище»?

— Да.

— Вот там он и вырос.

— В каком городе? В каком городе он вырос, Том?

— Дайте подумать.

Флетч ждал долго, затем поднялся, решив, что Том снова в отключке.

— Даллас, штат Техас, — неожиданно произнес Том.

Флетч наклонился над ванной.

— Том? Ты меня слышишь?

— Нет.

— Я постараюсь тебе помочь. Совсем необязательно уходить от реальности таким способом. Возможно, моя помощь не доставит радости, а причинит боль. Но я все равно помогу.

— Прощайте, — после долгой паузы ответил Том Бредли-младший.

— Уверен, мы еще увидимся, Том.

Глава 16

— Виски? Пиво? Травку?

Олстон Чамберс, сотрудник окружной прокуратуры, в пять шагов пересек гостиную и выключил телевизор.

— Воскресный день, а ты сидишь перед телевизором и наливаешься пивом. — Флетч покачал головой. — Кто бы мог подумать, что ты дойдешь до такой жизни? Почему не ухаживаешь за дворцом? Не красишь, не забиваешь гвозди, не косишь лужайку, не поливаешь кусты?

Олстон искоса глянул на Флетча.

— Паршивый маленький домишко. Кому он нужен?

— Ты же платил за него свои деньги, приятель.

Диван, кресло, торшер, кофейный столик и старый телевизор практически не оставляли в гостиной свободного места. Были еще

спальня и кухня. Соседние дома находились на расстоянии вытянутой руки.

— Я платил их не за дом, — горячо возразил Олстон. — За закладную. Дом этот я ненавижу. Но мне нужны налоговые льготы. Мне нужен кредит*. В нашем возрасте без него не обойтись. Тебе, кстати, тоже. Увидишь сам, как только начнешь. Мы все ждем этого торжественного момента. Пора уж тебе присоединиться к гонке, в которой участвует вся Америка.

Олстон Чамберс, несомненно, уже присоединился к этой гонке, и соответственно расплата не заставила себя ждать. Теплым днем, в воскресенье, в длинных брюках и мокасынах, в рубашке, обтягивающей наметившийся живот, двадцатипятилетний парень сидел в гостиной, пил пиво и смотрел по телевизору бейсбол. В будние дни Олстон, получивший диплом юриста, с девяти до пяти пахал в окружной прокуратуре.

Флетч и Чамберс вместе служили в морской пехоте — с первого дня в тренировочном лагере до демобилизации.

— Я пытался, Олстон, честное слово, но ничего не выходит. Стоит мне выйти на старт, как что-то случается. Прямо-таки какой-то заговор.

— Ты платишь Линде алименты, как распорядился судья? Ведешь себя, как порядочный джентльмен?

— Нет, сэр.

— Другого я от тебя и не ожидал, — вздохнул Чамберс.

— Каждый месяц я сажусь за стол, чтобы выписать ей чек, Олстон, но я же должен платить за квартиру, воду, телефон, электричество. Плюс взнос за машину, продукты, так что...

— Линде ничего не остается. Я знаю. Но ты по крайней мере можешь пользоваться кредитной карточкой.

— Нет у меня никаких кредитных карточек. Была одна, полученная в редакции, для текущих расходов, но в четверг я ее потерял.

— Как это, потерял?

— Точнее, потерял право пользоваться ею.

Олстон в изумлении уставился на Флетча.

— Ты потерял работу?

— Можно выразиться иначе. Я вновь обрел свободу.

Олстон хохотнул. Повернулся к спальне и позвал жену.

— Одри! Пришел Флетч.

— Я уже надеваю платье, — ответила она из спальни.

— Специально для меня могла бы и не одеваться, Одри. Ты и без платья хороша.

— Я знаю. — Одри зашла в гостиную, обняла Флетча. — Но мы ведь в доме Олстона и не хотим смущать его, так?

— Так.

* Дома в США покупаются за мизерную, по сравнению с полной стоимостью, сумму, а разница выплачивается в течение нескольких (до двадцати) лет. С этих денег не берется подоходный налог, домовладельцу предоставляются и другие налоговые льготы, побуждающие американцев строить индивидуальные дома. Кредит (ссуда) практически всегда выдается под залог. Наиболее часто в качестве последнего выступает дом.

— Так, — откликнулся Олстон. — Что-нибудь выпьешь? — спросил он жену. И взял с телевизора оловянную пивную кружку. Кружку эту Олстон купил в Токио, когда их подразделение вывели из района боевых действий на кратковременный отдых.

— Нет, благодарю. — Одри села на диван.

— Мокси заставляет меня идти вечером в ее театр. Будут угощать коктейлями. — Флетч плюхнулся в единственное кресло.

— Мокси? — улыбнулась Одри. — Мокси возвращается на сцену?

— Да. Похоже на то. Точно возвращается. Наткнулся на нее у лотка, где продавали булочки с сосиской. Она, как обычно, прикинулась, что впервые меня видит.

— Ну и Мокси, — рассмеялся Олстон.

— Вот-вот.

— Она повела себя так, будто никогда раньше тебя не видела? — рассмеялась и Одри.

— Именно так. Такая уж у нее манера.

— Мокси, Мокси, — пропел Олстон, разглядывая содержимое кружки.

— Может, мы действительно встретились первый раз в жизни, — надулся Флетч. — Мокси — это множество разных людей.

— И все они — женщины, — добавила Одри.

— Мокси — актриса, — продолжал Флетч, — и играет всегда, хочет она того или нет. Входит в лифт и превращает стоящих в кабине в зрителей. Однажды, когда народу набилось больше, чем сельдей в бочку, она повернулась ко мне и сказала: «Джек, почему я забеременела, если ты говорил, что такого не случится, ты же мой брат и все такое? Почему ты говорил, что это невозможно, если на самом деле все было не так? Ты слышал, что сказал нам доктор — это не важно, брат ты мне или нет. Ты обманул меня, Джек».

— И что ты сделал? — смеясь, спросила Одри.

— Знаешь, атмосфера в лифте мгновенно накалилась. Меня буквально испепелили взглядами. Я уж подумал, что живым мне не выйти.

— Так что ты сделал? — повторила вопрос Одри.

— Ответил: «Не уверен, что это был я, Стелла. Может, папаша расстарался».

Олстон так смеялся, что пиво выплеснулось из кружки ему на рубашку.

— А почему вы расстались в последний раз? — спросила Одри.

Флетч на мгновение задумался.

— Ее отец, рыдая, позвонил из Мельбурна. Требовал, чтобы она летела в Австралию играть Офелию, а не то ему придется отменять турне. Она собрала вещи и пятнадцать минут спустя выскочила из дома.

— Я не помню, чтобы Мокси играла Офелию в Австралии, — заметила Одри.

— Она и не играла. Когда она прилетела, оказалось, что роль уже занята. Фредди даже не помнил, что звонил ей. «Как хорошо, что моя малышка прилетела на край земли повидаться с папоч-

кой!» — приветствовал он ее. Старый мерзавец даже не оплатил ей дорогу хотя бы в один конец. Она шесть месяцев проработала на овечьем ранчо. Наслаждаясь каждой минутой. Говорит, что более счастливых дней она еще не знала.

— А теперь делает вид... — Одри запнулась, — что вы раньше не встречались?

— Да. Притворяется, что видит меня впервые, но при этом по разговору чувствуется, что знает меня давным-давно. Странное сочетание, знаете ли.

— Вы оба одного поля ягоды, — резюмировал Олстон.

— Чокнутые, — конкретизировала его мысль Одри. — Почему бы вам не пожениться? Я уверена, что лучшего мужа или соответственно жены ни одному из вас не найти.

— Мокси никогда не выйдет замуж, — возразил Флетч. — Ей необходимо влюбиться в своего партнера по пьесе или фильму. И потом, она винит Фредди в том, что ее мать угодила в дурдом.

— Она опасается, что и ты благодаря ей окажешься в аналогичном заведении? — Олстон хмыкнул. — Как бы не так.

— Трахаться с ней — одно удовольствие. Никогда не знаешь, кто лежит с тобой в постели.

Олстон откашлялся.

— Наверное, вдвоем вам в спальне тесно.

Флетч вытащил из заднего кармана конверт.

— Я приехал, потому что хочу тебя кое о чем попросить.

— Сделаю все, что в моих силах.

— В этом конверте зола. Надо сделать ее химический анализ.

— Нет проблем. — Олстон взял конверт и сунул в карман своих брюк.

— Далее, позволяет твоя должность в прокуратуре позвонить в посольство Соединенных Штатов в Женеве?

— Никогда туда не звонил. Думаю, сначала позвоню, а потом узнаю, имею ли я на это право. Как принято в морской пехоте.

— Хорошо. Меня интересуют подробности смерти американского гражданина Томаса Бредли. Он умер год назад. То ли в больнице, то ли в специализированной частной клинике. Возможно, покончил с собой.

— Житель Калифорнии?

— Да.

— Год назад?

— Его вдова говорит, что в этом месяце исполнился ровно год. Здесь его смерть не афишировалась. По меньшей мере шесть месяцев полностью скрывалась. У Бредли семейная компания. «Уэгнолл-Фипс». Сейчас ее возглавляет его жена, но вскоре ее должна сменить его сестра. Надо сказать, все очень запутано.

— В каком смысле?

— К сожалению, пока я ничего не понимаю. Кроме одного — запутывали все сознательно.

— Самоубийство, — протянул Олстон. — Ты говорил, что возможно самоубийство. Разве этим все не объясняется?

— Боюсь, что нет.

— Ты бы изумился, сколь часто моя контора идет навстречу людям, пытающимся скрыть факт самоубийства. В этом, кстати, я

полностью согласен с руководством. Я сочувствую этим беднякам.

— Олстон, мне кажется, Флетч подозревает убийство, — заметила Одри.

— Подозрительная смерть, — вставил Флетч. — Вроде бы этот человек уже с год, как умер. Но у меня такое ощущение, что детям сказали об этом лишь через шесть месяцев. Соседям и президенту компании — через восемь. И у меня есть все основания полагать, что вице-президент и начальник финансового отдела узнал о смерти босса лишь в этот четверг.

— Будет нелишне заглянуть в реестр завещания.

— А оно было?

— Конечно. Ему же принадлежала собственность на территории штата.

— Буду тебе очень признателен.

— На первый взгляд, причина таинственности такова, — продолжил Олстон. — Кто-то пытается отложить, а то и вообще избежать выплаты налога на наследство. Сколько ему было лет?

— Меньше пятидесяти.

— Смерть наступила неожиданно. Каково финансовое состояние его компании, как там ты ее назвал?

— «Уэгнолл-Фипс». Не знаю.

— Подозреваю, тут-то и зарыта собака. Люди не собираются умирать молодыми. Он умер в Швейцарии. Полагаю, наследники пытаются этим воспользоваться, дабы привести оставшуюся собственность в надлежащее состояние и свести к минимуму налог, взимаемый государством.

— Я даже не думал об этом, — признался Флетч.

— Потому что ты не учился на юридическом факультете.

— Понятно. Не потому ли у меня нет ни закладной, ни кредитной карточки?

— Именно поэтому, — кивнул Олстон.

— Меня ждут все эти люди, которых зовут Мокси. — Флетч встал. — Могу я позвонить завтра, Олстон?

— Конечно. Анализ проведу по категории «Сверхсрочно». Разговор со Швейцарией закажу из дома. И, возможно, еще до полудня буду знать все, что тебя интересует. В отдел регистрации завещаний позвоню, как только приду на службу.

Одри посмотрела на мужа.

— Разве тебе больше нечем заняться? Своих дел у тебя нет?

— Я все еще помню, как в прошлом Флетч раз или два бросал все, чтобы помочь мне, — ответил Олстон. — Наверное, я уже говорил тебе, Одри, что морской пехотинец я был неважнецкий.

— До свидания, Флетч. — Одри поцеловала Флетча в щеку. — Спасибо, что спас шкуру моего мужа.

— Какая, к черту, шкура, — отмахнулся Флетч. — Я спасал его чувство юмора.

Когда Флетч сел за руль, провожавший его Олстон наклонился к окошку.

— Флетч, у меня на банковском счету чуть больше пятисот долларов. Если тебе нужны деньги, только скажи.

— Фу! — скорчил гримасу Флетч. — Что есть деньги? Туалетная бумага. Кому они нужны? Спасибо, Олстон. Завтра позвоню.

— Где тебя носило?! — прошипела Мокси, забравшись в темноте на переднее сиденье. — Даже Фредди Муни на столько не опаздывал.

— Можешь не показывать мне дорогу. Я знаю, где находится «Кэлоуквиэл».

— Никогда в жизни не встречался мне такой странный человек, как ты.

— Через мост?

Она даже не посмотрела, куда они едут.

— Святой Боже! Я знакома с тобой три дня, и все это время ты лишь жалеешь себя. Какой я несчастный! Я потерял работу! За три дня ты не купил мне ни крошки еды.

— Апельсиновый сок. Я покупал апельсиновый сок.

— Мне пришлось открывать в магазине счет ради какого-то бифштекса. И бутылки вина. Пришлось притворяться, что я только переехала сюда, выйдя замуж за банковского служащего.

— Это ты умеешь.

— «У тебя есть пятьдесят долларов... и у меня примерно столько же — до конца жизни», — передразнила она Флетча. — Ты уезжаешь из дома, чтобы носиться по округе в своем спортивном автомобиле, — Мокси хлопнула рукой по приборному щитку «МС», — а я нахожу бумажник, выпавший из кармана твоих грязных джинсов, спрашиваю себя: «Что это?», раскрываю бумажник, и перед моими глазами, словно гора Эверест в пустыне Сахара, возникают двадцать пять тысяч долларов, наличными, банкнотами по одной тысяче каждый.

— Это не мои деньги, Мокси. Я тебе уже говорил.

— А ты даже не мог купить нам ленч по кредитной карточке!

— Деньги принадлежат Джеймсу Сейнту Э. Крэндоллу.

— Мелочевка!

— Двадцать пять тысяч долларов — мелочевка?

— Мистер Флетчер, позвольте указать вам, что любой, кто может позволить себе выронить двадцать пять тысяч долларов и даже не оглянуться, знает, где найти курицу, которая снесет ему очередное золотое яичко.

— Одно другого не касается.

— Вот, значит, почему ты проехал сто пятьдесят миль, добираясь до того Богом забытого городка?

— Урэмрада.

— Плевать мне, как он называется. Нет, вы только посмотрите на человека, который хочет отдать двадцать пять тысяч долларов, когда сам голодает. Я тебя спрашиваю, ты в своем уме?

— Я не голодаю.

— Ты даже не сказал мне, что у тебя так много денег. Мы спали на пляже!

— И прекрасно провели ночь. А об этих деньгах я тебе говорил.

— Да. «Поэтому я взял двадцать пять тысяч долларов». Неужели все, что ты говоришь, — шутка? Ты у нас шутник, Ирвин Флетчер?

Въехав на мост, Флетч заметил, что справа от него, примерно на середине моста, что-то полоскалось на ветру.

— Ты пилишь меня, словно жена.

Мокси улыбнулась.

— Я надеялась, что ты так скажешь. Я репетировала.

Флетч притормозил.

На ветру полоскалась юбка. Пониже ее Флетч заметил ногу, очень белую, над ней — руку.

Флетч нажал клавишу на приборном щитке, включив фонари-мигалки, предупреждающие водителей попутных машин, что остановившийся автомобиль неисправен, и как можно ближе прижался к правому парапету моста.

— Вылезай из кабины, Мокси, и встань у парапета. А лучше залезь на него. Только не оставайся перед машиной.

— Мы останавливаемся на мосту?

— Поэтому я прошу тебя вылезти и отойти от машины. Ее могут ударить сзади.

— А что случилось?

— Я сейчас вернусь.

Флетч выскользнул из-за руля и побежал по мосту. Увидел, что одна из приближающихся к ним машин — такси, и встал на пути, размахивая руками. Такси остановилось.

— Подонок! Совсем оборзел? — проорал через окно водитель. — Сукин сын! У тебя что, крыша поехала?

Флетч наклонился к окну.

— У вас есть радиотелефон? Или рация?

— Да. Кто ты такой?

— Позвоните в полицию. Самоубийца.

— О! — Водитель все понял и потянулся к висевшему под приборным щитком микрофону.

— Там. — Флетч махнул в сторону парапета, затем указал на свою машину. — Поставьте свой автомобиль за моим, ладно? У вас задние фонари побольше. И есть фонарь на крыше.

— Да, конечно, — кивнул водитель.

Такси медленно двинулось с места.

— А вы полезете туда?

— Постараюсь подобраться поближе и отговорить.

— И откуда берутся такие психи, — покачал головой водитель, имея в виду самоубийцу.

Флетч наблюдал, как такси подъехало и встало в затылок его машины. Замигали фонари над задним бампером. Фары осветили бледную Мокси.

Флетч поднялся на ограждающий парапет. С него спрыгнул на полку несущей тавровой балки. Далеко внизу увидел темную гладь реки, какие-то огни. По обоим берегам светились окна домов. Цепочка фонарей выстроилась вдоль моста. С неба светила луна. Флетч решил, что вниз лучше не смотреть.

Вдоль моста тянулся толстый, как канализационная труба, кабель. Крепился он на массивных кронштейнах, отходящих от балки под прямым углом. Флетч одной ногой ступил на кронштейн. Дул легкий, едва заметный ветерок. Он посмотрел на женщину, стоящую на кабеле, чуть впереди.

— Флетч? — раздался сзади голос Мокси. По интонации чувствовалось, что она хочет его о чем-то спросить.

Теперь обе его ноги стояли на кронштейне. Он покачивал руками, чтобы сохранить равновесие. Затем повалился вперед, схватился руками за кабель, потеряв щекой о его оплетку.

— Флетч! — крикнула Мокси. — Я лучше закрою глаза.

Флетч подтянул себя к кабелю. Его желудок конвульсивно сжался, показывая, что текущая далеко внизу маслянистая вода едва ли придется ему по вкусу. Сгруппировавшись, Флетч перебросил одну ногу через кабель. На мгновение она осталась без опоры.

А потом он уже сидел на кабеле верхом, упираясь ногами в кронштейн по обе его стороны, крепко держась руками за оплетку. На мосту непрерывно гудели проезжающие автомобили, недозвольные возникшей пробкой. Над парашютом виднелись силуэты Мокси и водителя такси.

Женщина стояла на кабеле в паре метров от него. В развевающей юбке, в одной зеленой туфельке без каблука. Вторая, похоже, свалилась в реку. На ее полных белых ногах темнели жгуты варикозных вен.

— Привет, — непринужденно поздоровался Флетч.

Женщина повернула голову. Два больших черных глаза уставились на него из темных запавших глазниц.

— Что вам нравится?

Она продолжала молча смотреть на него.

— Вы любите шоколад?

Она отвернулась от Флетча и что-то сказала, но слова отнесло ветром.

— Что? — переспросил Флетч. — Я вас не слышу.

Женщина повернулась к нему. В голосе звучало раздражение.

— А вам что нравится? Скажите мне.

— Я люблю шоколад. Мне нравится смотреть на пташек, прыгающих по подстриженной травке. А вам нравится смотреть на пташек?

Вновь ее слова отнес ветер.

— А что еще вам нравится? Какая ваша любимая телевизионная передача? Кто из ведущих вам наиболее симпатичен?

Ответа не последовало.

— Майк Уоллес? Мерв Гриффин? А как насчет «По странам и континентам»? Смотрите или переключаетесь на другой канал?

Никакого ответа.

У Флетча пересохло в горле.

— А вы любите запах выпекающегося хлеба? Лучше, по моему, ничего нет.

Женщина молча смотрела на него сверху вниз.

— Какие вы предпочитаете музыкальные инструменты? — не унимался Флетч. — Аккордеон? Скрипку? Гитару?

Никакого ответа.

— А знаете, что мне нравится? Я люблю смотреть на порванную газету, которую ветер тащит вдоль улицы. Я люблю слушать дождь, особенно сильный дождь, когда сам лежу в постели. Тявканье щенка. Щенки так забавно тявкают, не правда ли?

- Эй, парень, — обратилась к нему женщина.
- Да?
- Возьми меня за руку, а? Я сама не своя от страха.
- Я тоже, — признался Флетч.

Женщина наклонилась к нему и едва не потеряла равновесие.

— Подождите, — остановил ее Флетч. — Сейчас мы что-нибудь придумаем.

Он не мог добраться до женщины, не сдвинув ноги с крошечной.

— Вы садьте. Прямо там, где стоите. Медленно, осторожно.

Медленно, осторожно, она села на кабель, лицом к мосту. Зеленая туфелька без каблука слетела с ее ноги.

— Возьмите меня за руку, — повторила женщина.

Флетч потянулся вперед, взял ее за руку.

— А теперь подождем полицию. Спокойно посидим и подождем полицию.

— А что мы тут делаем, черт побери? — спросила женщина.

— Не знаю, — ответил Флетч. — Иногда нас просто заносит в такие вот места.

Ее уже била дрожь.

— Это не моя вина, знаете ли. Не моя.

— Я в этом не сомневаюсь, — заверил ее Флетч. — Так что вам нравится? Какая книга запомнилась вам больше других?

— Что за странный вопрос.

— Так все же, какая книга вам больше всех запомнилась?

— «Черная красавица».

— Расскажите мне, о чем эта книга.

Женщина задумалась.

— Я ничего о ней не помню, кроме того, что она мне понравилась.

— Вот и ладненько. Значит, вам придется прочитать ее еще раз.

— Это не моя вина, — прошептала женщина. — Поверьте.

— Я вам верю. — Флетч крепко сжал ее руку. — Отчего же мне не поверить.

И тут в мерцании «маячков» на мост въехали две патрульные, пожарная и аварийная машины. Полисмен и пожарный по очереди переговорили с Мокси и водителем такси. Мужчина в пожарной каске склонился над парашютом, крикнул Флетчу и женщине: «Не будете возражать, если я спущусь к вам?»

— Нет, конечно, — ответил Флетч.

— Спускайтесь, — подтвердила женщина.

Между ними на кабель шлепнулась нижняя ступенька веревочной лестницы, по ней спустился пожарный, помог женщине встать, вместе с ней, направляя ее ноги и руки, держа на себе ее вес, полез вверх. Флетчу он напоминал гигантского ребенка, заставляющего ходить матерчатую куклу.

На полпути пожарный оглянулся.

— Если хотите, я спущусь и за вами.

— Дайте мне минуту прийти в себя, — ответил Флетч, — и я управляюсь сам. Если можно, приготовьте кофе.

Как только пожарный и женщина освободили лестницу, Флетч ухватился за нее и вскарабкался на мост.

Глава 18

— Знаешь, Мокси, это уже чересчур, — возмущался режиссер в двубортном, из тонкой ткани, блейзере. — Если ты опаздываешь на вечеринку, можно ли ожидать, что ты будешь вовремя приходить на репетиции и спектакли?

— Нас задержал мост, — попытался защитить ее Флетч.

— Всех задерживает мост, — покивал режиссер. — Для того мосты и созданы.

— Нам пришлось задержаться на мосту, — поправила Флетча Мокси.

«Кэлоуквизл», как и большинство театров в период между спектаклями, являл собой нечто среднее между грязным складом и обедневшей церковью. На одной половине сцены лежал штабель досок. На второй стоял длинный стол с наполовину съеденными головками сыра и полупустыми бутылками. От сцены уходили вдаль ряды печальных, просиженных кресел, свидетели бесчисленных слез и смеха, трагедий и комедий.

Когда Мокси и Флетч появились на сцене, остальные актеры и технический персонал впились в нее взглядами, профессионально оценивая, как она идет, как останавливается. Только режиссер поспешил ей навстречу.

— По крайней мере ты жива, — подвел он итог. — И ты здесь. Мы должны благодарить судьбу за ее маленькие подарки.

— И я выучила свою роль, — словно маленькая девочка, просюсюкала Мокси. — Пол, я думаю, это прекрасная пьеса.

— Насколько мне известно, автора ты увидишь только завтра, — ответил режиссер. — Он уже прилетел из Нью-Йорка, но заявил, что валится с ног от усталости. Я же подозреваю, что сейчас он на телевидении. Пытается заполучить работу. — Режиссер, вскинув брови, повернулся к Флетчу. — Это тот парень, которого ты хотела мне показать?

— Это Флетч, — представила Флетча Мокси. — Ты же сказал по телефону, что не в восторге от Сэма...

Режиссер отступил на шаг, брови его все еще не спустились с середины лба. Он оглядел Флетча с головы до ног, потом с ног до головы, словно намеревался заказать ему костюм.

— Симпатичный мальчик. Естественный. Полагаю, ваши тела подходят друг другу.

— Подходят, — подтвердил Флетч.

— А нагота тебя не смущает? — спросил режиссер.

— Я таким родился.

— Но не на сцене. В отличие, к примеру, от Мокси. Как поживает драгоценный Фредди Муни, твой нестареющий папаша?

— По-прежнему не стареет.

— Но, клянусь Богом, разве он не моется? — Режиссер вновь смотрел на Флетча. — Я понимаю, некоторых грязь возбуждает, но их не хватает, чтобы заполнить зал, да еще при таких ценах за билеты.

— Я грязный? — спросил Флетч Мокси.
— Грязный, — подтвердила Мокси. — И потный.
— Клянусь, что приму душ осенью.
— По правде говоря, он фанат чистоты, — пояснила Мокси. — Но так уж вышло, что по пути в театр он...

— Он что? — переспросил режиссер. — Прополз по городской свалке?

— Он спас жизнь женщине, — ответила Мокси. — Дело нелегкое, ему пришлось попотеть.

— А играть он может? — забеспокоился режиссер.

— Нет, — твердо ответил Флетч. — Абсолютно.

— Как приятно это слышать. Наконец-то я услышал в Калифорнии новую для меня фразу: «Нет, я не могу играть». Если вы серьезно претендуете на главную мужскую роль в пьесе «В любви», мистер Флетч, или как там вас звать, вы должны знать, что вам придется появиться на сцене обнаженным не один раз, а два. И я прослежу, чтобы вы мылись перед каждым спектаклем. А уж потом делайте все, что хотите.

Флетч повернулся к Мокси.

— Мокси, дорогая, как все это понимать?

— Расскажи ему, какой ты великий актер, Флетч.

— Я вообще не умею играть.

— Чепуха, — отмахнулась Мокси. — Ты играешь всю жизнь.

— Никогда.

— Тебе нужна работа, Флетч.

— Только не такая.

— Будет очень забавно. Ты и я.

— Это будет ужасно.

— Все равно тебе больше нечем заняться.

— Чем заняться, у меня как раз есть.

— Чем? Брать интервью у других покойников?

— Мокси!

— Как бы то ни было, — вмешался режиссер, — тебе надо познакомиться с Сэмом, Мокси. Твоим нынешним партнером. Скажи мне, что ты о нем думаешь. Эй, Сэм!

Черноволосый молодой парень поднялся со штабеля досок и направился к ним.

— Обезьяна, — перешел на шепот режиссер. — Он ходит как подхвятивший гонорю орангутанг. Массивные бедра. Нынешней аудитории они не по вкусу. Сэм, это Мокси Муни.

— Привет, — кивнул Сэм.

— Привет, — чуть улыбнулась Мокси.

— Почему бы вам не поприветствовать друг друга поцелуем?

Вы будете работать вместе.

Мокси и Сэм наклонились вперед, подставив щеку для поцелуя, ни один не хотел целовать сам. В конце концов после некоторого замешательства их губы едва коснулись друг друга.

— Вот так пишется театральная история, — саркастически прокомментировал режиссер.

— Я уверена, что мы отлично сработаемся, — вновь улыбнулась Мокси.

— Да, — согласился Сэм. — Я видел твоего отца в «Короле

Лире». Слушай, в молодости он действительно работал в цирке метателем ножей?

Глаза Мокси превратились в щелочки.

— Сейчас полетят искры, — прокомментировал ее реакцию режиссер. — Мне надо спешить домой и занести этот факт в дневник. Для потомков.

— До встречи, — кивнул Сэм.

— В десять утра, — уточнил режиссер.

Сэм удалился за кулисы.

Режиссер вздохнул.

— Так что ты думаешь? — спросил он Мокси.

— Я не думаю, — ответила та. — Я играю.

— По крайней мере тебе хватает ума это понимать, дорогая. Как бы мне хотелось, чтобы и другие актеры не думали, что они могут думать. — Режиссер повернулся к Флетчу. — Загляните к нам через пару деньков. Мне кажется, Сэм с этой ролью не справится. Не хочется выгнать кого-то за массивные бедра, но...

— Никогда, — отрезал Флетч.

— Ладно, он зайдет, — пообещала Мокси.

— Вдвоем вы отлично смотрите. И смотрелись бы еще лучше, если б один из вас помылся. Получится очень сексуальная пара.

— Извините, что заявился на вашу вечеринку с грязной физиономией, — пробормотал Флетч.

— У грязи есть свои достоинства, — признал режиссер. — Особенно если использовать ее для выращивания тюльпанов.

— Мы можем идти, Мокси? — спросил Флетч.

— Мы только что пришли. Я не успела познакомиться с другими актерами.

— Мне надо принять душ.

— Ему действительно надо принять душ, Мокси. А с актерами познакомишься утром. Постарайся приехать к десяти часам. Опозданий я не потерплю. — Режиссер указал на Флетча. — Отвези этого мальчика домой и хорошенько вымой его!

Глава 19

Флетч открыл дверь в коридор и оказался лицом к лицу с собственной физиономией, грязной и потной, смотревшей на него с первой страницы «Ньюс-Трибюн».

— О, только не это!

Аршинный заголовок над фотографией гласил:

«АВТОМОБИЛИСТ ПРЕДОТВРАЩАЕТ САМОУБИЙСТВО».

В полотенце, обернутом вокруг бедер, он наклонился, поднял газету, закрыл дверь и, прошестввав в гостиную, уселся на диван.

«Наблюдательный водитель автомобиля, готовый, рискуя собственной жизнью, спасти жизнь другого человека, прошлым вечером после наступления темноты вылез на силовую балку моста на Гилден-стрит и уговорил женщину средних лет отказаться от попытки броситься в реку.

— В этой жизни мы все в одном автомобиле, — прокомментировал свой поступок двадцатичетырехлетний Ирвин Морис Флетчер.

До прошлой пятницы Флетчер был корреспондентом «Ньюс-Трибюн».

Флетчер сказал, что, въезжая на мост, случайно заметил полощущуюся на ветру юбку потенциальной самоубийцы...»

Зазвонил телефон. Не отрываясь от статьи, Флетчер взял трубку.

— Слушаю.

— Флетч? Это Джейн. Френк хочет поговорить с тобой.

— Какой Френк?

— Привет, Флетч! — Для понедельника голос Френка Джеффа звучал очень уж бодро. — Ты попал на первую полосу.

— Не первый раз, высокоуважаемый господин главный редактор.

— «Ньюс-Трибюн» не пожалела на тебя места.

— Я как раз читаю вашу газету. Как мило с вашей стороны отметить уже в третьем абзаце, что на прошлой неделе меня уволили. Посодействовали, можно сказать, процветанию и благополучию Ирвина Мориса Флетчера.

— Мы не могли не написать. Для журналиста главное — честность.

— Но почему писать об этом в самом начале?

— Да, тут ты прав, переборщили. Наверное, причина в том, что многие в редакции очень сердиты на тебя. Один наш маститый репортер полагает, что тебе не следовало отговаривать женщину от рокового прыжка, а вот потом взять у нее интервью. После того как она утонула бы.

— Намек понял, Френк.

— Некоторые, сам видишь, признают только черный юмор.

— Передайте им, что я не буду брать у них интервью после их смерти, если они не изменят своего отношения ко мне.

— У тебя нет желания услышать заголовок, который они предлагали поместить над фотографией?

— Разумеется, нет.

— А может, выслушаешь?

— Не хочу.

— Но у тебя-то с чувством юмора всегда был полный порядок.

— Хорошо, Френк. Выкладывайте. Я еще не завтракал, так что едва ли меня вывернет наизнанку.

— Заголовок предлагался следующий: «ГЕРОЙ МОСТА НА ГИЛДЕН-СТРИТ УВОЛЕН ИЗ ГАЗЕТЫ, КОТОРОЙ ВЫ ВЕРИТЕ».

— Для заголовка слишком длинно. А чего вы звоните, Френк? Хотели поздравить меня?

— Да нет же. Я всегда знал, что ты и испуганного котенка уговоришь спуститься с дерева. Не такой уж великий подвиг — убедить женщину не прыгать с моста. Во всяком случае, для тебя.

— Так чем вызван ваш звонок?

— Наступил понедельник. И я в кабинете.

— И что?

— Ты сказал, что в понедельник я на работу не приду. Откушав стращину Клары Сноу.

— У вас, оказывается, козлийный желудок, Френк. Насчет рогов я знал и раньше.

— У меня возникла интересная мысль, Флетч.

— Надеюсь, у вас не перегрелись мозги.

— Ты очень хорошо пишешь.

— Когда у меня есть такая возможность.

— Возможность у тебя есть. Я предоставляю ее тебе. Я думаю о большой статье. Так сказать, информация из первых рук.

— С названием «КАК Я УГОВОРИЛ ЖЕНЩИНУ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ САМОУБИЙСТВА» и подписью «И. М. ФЛЕТЧЕР»?

— Попал в самую «десятку».

— Нет, благодарю, Френк.

— Почему нет? Разве у тебя есть сегодня другие дела?

— Да, есть.

— Мы тебе заплатим. По ставке внештатного корреспондента. Внештатники получали супшие гроши.

— Еще раз благодарю, Френк. Но я больше на вас не работаю, не забывайте об этом.

— Этот материал мог бы немного подправить твою репутацию.

— Популярность газеты могла бы возрасти.

— И это тоже.

— Знаете, Френк, вы неплохой главный редактор, хотя и похоронили статью о том, как брат пресс-секретаря губернатора продавал машины полиции штата.

— Знаешь, Флетч, а ты неплохой парень, хоть и берешь интервью у покойников.

— До встречи, Френк.

— До встречи, Флетч.

Глава 20

— Вы управляющий банка? — спросил Флетч сухопарого мужчину в поношенном костюме, который сидел за большим столом по другую сторону перегородки, разделяющей зал.

— Совершенно верно, — тепло улыбнулся управляющий. — Чувствуется, что вы хотите взять ссуду на автомобиль. Мы как раз специализируемся на подобных ссудах.

— Нет, благодарю. Ссуду на автомобиль я уже взял. — Флетч помахал тысячедолларовым банкнотом. — Я хочу знать, настоящий он или фальшивый.

Управляющий знаком пригласил Флетча подойти к его столу, благо в перегородке имелась дверца. Взял банкнот обеими руками, потер пальцами, словно купец, щупающий сукно. Пристально рассмотрел, уделив особое внимание изображению Гровера Кливленда*.

* На тысячедолларовых банкнотах изображен Стивен Гровер Кливленд (1837—1908), 22-й и 24-й президент США.

- У вас есть основания сомневаться в подлинности банкнота? — спросил управляющий.
- Конечно. Раньше я таких не видел.
- Действительно, фотографии Гровера Кливленда встречаются в наши дни нечасто.
- Так вот он какой. А я думал, что это Карл Маркс.
- Управляющий в ужасе отпрянул.
- Карл Маркс?
- Флетч пожал плечами.
- Его фотографии тоже большая редкость.
- Управляющий хохотнул.
- По-моему, банкнот подлинный.
- Флетч вытащил из кармана второй банкнот.
- И этот тоже?
- Второй банкнот управляющий осмотрел более тщательно.
- А где вы их взяли?
- Мой работодатель — человек довольно-таки странный. Ненавидит выписывать чеки.
- Вам, должно быть, хорошо платят. — Управляющий взгляделся в лицо Флетча. — Где-то я вас уже видел.
- Неужели?
- Ваш снимок. И совсем недавно.
- А, вы об этом. Я изображен на пятидолларовой купюре*.
- Может, на плакате «Разыскивается»? — Управляющий рассмеялся. — Как вам их разменять?
- На сотни, пятидесятки, двадцатки, десятки и пятерки.
- То есть на купюры, которыми можно расплачиваться?
- Вот именно.
- Подождите минутку.
- Пачка денег, которую принес управляющий, оказалась больше, чем ожидал Флетч.
- Благодарю. — Он с трудом рассовал деньги по карманам джинсов.
- Никак не могу вспомнить, где я видел вашу фотографию. — Управляющий вновь всмотрелся в лицо Флетча. — А ведь видел совсем недавно. Буквально этим утром.
- Вы любите комиксы? — спросил Флетч.
- Да, — кивнул управляющий. — Всегда просматриваю их в автобусе.
- Наверное, вы спутали меня с одним из персонажей.
- Когда будет готов костюм?
- Через десять дней.
- Не скоро.
- А когда он вам нужен?
- В среду.
- Сегодня у нас понедельник.
- Тогда в четверг утром.
- Мы постараемся вам помочь.

* На купюре достоинством в пять долларов изображен Авраам Линкольн (1809—1865), 16-й президент США.

В очень дорогом магазине, торгующем товарами для мужчин, Флетч купил, помимо строгого синего костюма, сорочки, туфли, галстуки, кроссовки, шорты, рубашки спортивного покроя и чемодан.

- Собираетесь в отпуск? — спросил продавец.
- Да. Я хочу взять с собой все, кроме костюма.
- Конечно, мистер Флетчер. Как будете платить? По чеку?
- Я заплачу наличными. — Флетч достал из кармана смятые

купюры.

- Очень хорошо, сэр. Распожусь, чтобы все завернули.
- В этом нет нужды. Я положу все в чемодан.
- Как пожелаете.

Пока продавец подсчитывал общую сумму, Флетч запаковал чемодан. Потом расплатился, получил сдачу и убрал деньги в карман.

— Мистер Флетчер, — смущенно зашнулся продавец. — Не согласитесь ли вы принять от магазина подарок?

- Подарок?
- Вчера вечером вы совершили такой благородный поступок... спасли женщину на мосту.
- Вы знаете об этом?
- Об этом все знают. — Продавец не отрывал глаз от ковра. — Наша кассирша в прошлом году тоже едва не покончила с собой. Про это, конечно, мы никому не рассказываем...

— Значит, люди читают газеты.

— Мы гордимся тем, что вы — покупатель нашего магазина. Только теперь Флетч заметил, что его обступили и другие продавцы.

Продавец протянул Флетчу коробку с щеткой для волос и расческой.

- Однако, — выдохнул Флетч.
- Сделано в Англии, — пояснил продавец.
- Большое вам спасибо. — Флетч пожал продавцу руку. — Я очень тронут.
- Люди так редко помогают другим... — Продавец зарделся от смущения.

— Еще раз благодарю.

С чемоданом в одной руке и подарком в другой Флетч зашагал к выходу. Продавцы проводили его улыбками и аплодисментами.

— Не могу поверить, что вы хотите поехать в Сан-Орландо. — Сильно накрашенная женщина в облегающем пиджаке покачала головой. Стены туристического бюро украшали плакаты с видами Акапулько, Афин, Ниццы, Неаполя, Эдинбурга, Амстердама, Рио-де-Жанейро. Флетч с радостью отправился бы в любой из вышеназванных городов.

— Я должен.

— Никто не должен ехать в Сан-Орландо. Вы знаете, где это находится? Мексиканская глубинка. Будете добираться туда целую вечность. И курортную зону там только начали строить. Функционирует лишь один отель. Там жарко, пыльно. Поездка туда — сущее мучение. Такими деньгами можно распорядиться и

получше. Вот через несколько лет, когда строительство закончится... — Наклонившись над конторкой, она рассказала Флетчу, как туда лететь, со сколькими пересадками и во что это обойдется.

— Отлично, — кивнул Флетч. — Закажите билеты на одного.

— На одного? — ужаснулась женщина.

— Да, — подтвердил Флетч.

— О Боже, неужели так плохо быть героем? — Она присела за маленький столик, что стоял за конторкой. — На какой день заказывать билет из Сан-Орландо?

— На среду.

— На среду? Сегодня же понедельник.

— Надо получить новый костюм. В четверг утром.

Женщина вставила бланк авиабилета в каретку пишущей машинки.

— Наверное, у каждого свое представление об отдыхе. Мне без разницы, если потом во всех бедах не винят туристическое бюро.

Глава 21

— Эй, Флетч, — воскликнул Олстон Чамберс, взяв трубку, — ты у нас опять безработный герой.

Флетч вернулся домой и удобно устроился на диване, поставив кружку с кофе на собственную физиономию, отпечатанную на первой странице «Ньюс-Трибюн». Мокси оставила газету на кофейном столике.

— Я начинаю склоняться к мысли, что это твое естественное состояние, — продолжал Олстон. — Героический безработный.

— Перестань издеваться, Олстон.

— Я бы не полез на этот кабель даже за миллион долларов. И за миллион с хвостиком. Особенно в темноте.

— Откровенно говоря, я и не собирался этого делать. Сделал, и все.

— Видать, ты и подумать не успел, к чему может привести твое безрассудство.

— Не слишком ли рано я звоню? — Часы на руке Флетча показывали половину третьего.

— Нет. Я связался с посольством США в Швейцарии перед уходом из дому, и они отзвонились мне перед самым полуднем. Правильно я продиктовал им фамилию: Боб — Рональд — Евгения — Джон — Лорд — Ингрид? Томас Бредли?

— Абсолютно верно.

— Так вот, ни один американец, которого звали Томас Бредли, в Швейцарии не умирал.

— Никогда?

— Никогда.

— Томас Бредли никогда не умирал в Швейцарии? — Флетч восхищенно взглянул на свой новый чемодан, стоящий у двери. — А они знают о тех, кто умирает в частных клиниках?

— Говорят, что да. Заверили меня, что у них отмечены все американцы, когда-либо закончившие свой жизненный путь в Швейцарии. Я склонен им верить.

— А если этого парня кремировали?

— Я попросил их проверить все смерти и похороны. Как ты знаешь, у швейцарцев с бумагами всегда полный ажур. Тут они кому хочешь дадут сто очков вперед. Если этот человек и умер, то не в Швейцарии. Слышал дневной выпуск новостей? Мэр присвоил тебе звание Лучшего гражданина месяца.

— Месяц еще не закончился. А что скажешь насчет золы, Олстон?

— О, да. Я передал образец в полицейскую лабораторию по дороге на работу.

— Каков результат анализа?

— Результат таков, что добрые господа в белых халатах позвонили, когда я вернулся с ленча, и поинтересовались, а действительно ли «О-пи»* хочет знать химический состав этой золы. Я заверил господ, что у «О-пи» есть такое желание. Разумеется, не упомянув, что под «О-пи» я подразумевал первостатейного олуха по фамилии Флетч.

— Олстон...

— Ковер...

— Что?

— Ковер. Ты знаешь, такая вещь, которую стелят на пол. Это зола от сгоревшего шерстяного ковра очень высокого качества. Возможно, персидского.

— Ковер?

— Есть следы горючей жидкости, предположительно керосина, древесная зола, немного земли и песка.

— Эти парни не ошибаются?

— Послушай, Флетч, эти парни — эксперты по пожарам. Они проводят анализы всего, что сгорело в штате. И уж золу от сгоревшего ковра видят не впервые. Теперь их разбирает любопытство, а каким поджогом мы занимаемся. Между прочим, Флетч, какой мы расследуем поджог?

— Понятия не имею.

— Мокси сожгла семейные реликвии, чтобы получить роль в «Die Walkure»***?

— Что-то в этом роде.

— Флетч, Одри права?

— Возможно. Насчет чего?

— Ты расследуешь убийство?

— На текущий момент я этого не знаю.

— А что ты знаешь на текущий момент?

— На текущий момент... — Флетч на мгновение задумался, — ...я знаю, что Томас Бредли был ковром.

«Дорогая Мокси!

Уехал в Мексику пообщаться с человеком насчет ковра. Постарайся пообедать сама. Рассчитываю вернуться в среду вечером.

Ф.»

* О-пи (С. ...) — окружной прокурор (сокр.).

** «Валькюрия» (нем.).

В лучах утреннего солнца ослепительно блестел белый песок пляжа Сан-Орландо. После ночи, проведенной в аэропортах, Флетчу приходилось щуриться. В отель он прибыл без четверти три утра, выяснил, что кормить его не будут, проспал три часа, проснулся от голода, поплавал в бассейне, пока в семь часов не открылся зал завтраков, съел бифштекс, яичницу с ветчиной, жареную картошку, затем пошел на пляж и снова заснул.

Дама в туристическом бюро его не обманула. Дорога оказалась ужасной. Ему пришлось добираться тремя рейсами, причем в залах ожидания он провел больше времени, чем в полете. Полностью соответствовала действительности и ее характеристика Сан-Орландо. Строительство шло полным ходом. На пляж Флетч проник, лавируя между бетонными блоками. Вокруг ревели бульдозеры, грохотали отбойные молотки, визжали пилы. В воздухе стояло густое облако пыли. Сказала она правду и насчет жары.

Ближе к полудню, проснувшись, Флетч уселся за столик на двоих под навесом из пальмовых листьев и заказал в баре пиво. Если его и держали в холодильнике, то в выключенном. Пиво он выпил маленькими глотками и заказал «кока-колу». К сожалению, и безалкогольный напиток принесли теплым.

А перед самым полуднем он увидел Чарлза Блейна. В длинных шортах и желтой рубашке, в очках в тяжелой оправе и сандалиях на босу ногу, он вышел из отеля и направился к бару.

Войдя в тень пальмовых листьев, Блейн остановился и огляделся. Взгляд его скользнул по Флетчу, сидевшему за столиком в одних плавках. Блейн мигнул, вновь уставился на журналиста. Нахмурился, словно заметил ошибку в гроссбухе, повернулся, чтобы уйти, но передумал и после короткого колебания подошел к столику Флетча.

— Из вас получился бы хороший бухгалтер. Вы не привыкли сдаваться, — прокомментировал Чарлз Блейн появление Флетча в Сан-Орландо.

Флетч отвел взгляд от океана.

— Из меня получился бы и хороший репортер. Жаль только, что обе эти профессии для меня недоступны.

Блейн положил руку на спинку свободного стула.

— Вы не будете возражать, если я сяду?

— Я прилетел в Пуэрто де Сан-Орландо не для того, чтобы пить воду. Чего желаете? Теплого пива или теплой «кока-колы»?

— Джин с тоником. С ломтиком лимона.

— Разумно, — кивнул Флетч. — Пожалуй, и я составлю вам компанию.

— В Мексике превосходные лимоны, — поделился Блейн своими наблюдениями.

— Я в этом не сомневаюсь.

Подошла юная официантка, покачивая пышными бедрами. Приняла заказ, прошествовала к стойке бара.

— Хорошо отдыхаете? — спросил Флетч Блейна.

— Да, благодарю.

— Необычное место вы выбрали для отдыха.

— Зато здесь все дешево. — И Чарлз Блейн перечислил стоимость всех товаров, продающихся в Сан-Орландо, в песо и долларах, включая продукты, напитки, одежду и сувениры.

— А как ваш нервный срыв? Идет на поправку?

— А он у меня был?

— Энид Бредли утверждает, что да.

— Правда? Наверное, у кого-то из нас действительно не все в порядке с нервами, то ли у меня, то ли у Энид.

— Она полагает, что у вас. Вы были без ума от ее мужа, а потому не можете примириться с тем, что он мертв. И продолжаете говорить о нем в настоящем времени.

— Я? Без ума от Томаса Бредли?

— Разве не так?

— Томас Бредли был моим боссом. Я воспринимал его, как мой стол, стул, бюро, калькулятор. Босс — неотъемлемая часть конторского оборудования. И его замена ни у кого не вызывает никаких эмоций.

— Однако у меня есть доказательства обратного. Вы уверовали, что Томас Бредли жив, и ради поддержания этой иллюзии пошли даже на подлог: показали мне служебные записки, вроде бы полученные от него.

Блейн коротко улыбнулся.

— Что привело вас сюда, Флетчер? О чем вы хотели меня спросить?

— Томас Бредли был ковром?

Брови Блейна изумленно поползли вверх.

— Что-то я вас не понимаю.

— Ничего удивительного. И я вас не понимаю.

Блейн осушил свой бокал и дал знак официантке принести второй.

— Отпуск в Мехико может кого угодно превратить в алкоголика. Жара, духота, а пить местную воду — себе дороже. Везде только и пишут, что ее потребление гарантирует расстройство желудка. Из-за плохого качества воды спиртного в Мексике пьют в три раза больше, чем могли бы.

— Цинизм — неотъемлемое качество хорошего бухгалтера.

— Совершенно верно, — кивнул Блейн. — Как и хорошего репортера.

— Если мы оба такие классные специалисты, как вышло, что мы сидим у черта на куличках, а наши работодатели любят нас не больше, чем зубную боль?

Блейн пригубил второй бокал.

— Вы потеряли работу?

— Я потерял работу. Потерял карьеру. Теперь меня не возьмут даже в «Ливенуортский левитатор».

— А разве есть такая газета?

— Тетя вашей жены сказала, что вы начисто лишены чувства юмора.

— Хэпши? Вы общались с Хэпши?

— Конечно. Благодаря ей я вас и нашел.

— Тетя моей жены...

— ...Счастливая женщина?

— Да.

— Очень милая дама. По классификации Флетча это означает, что она накормила меня.

— Я удивлен, что вы смогли найти меня здесь. Мне казалось, что таких денег у вас нет.

— Разумеется, нет. А ваш так называемый отпуск оплачивает «Уэгнолл-Фипс»?

— Да, — признал Блейн.

— Я рад, что Энид Бредли не отправила вас приходить в себя от нервного срыва на остров Макдональда.

— А где он находится?

— Почему бы нам не закончить со светской болтовней, мистер Блейн, и не перейти к делу?

Чарльз Блейн кивнул, словно соглашаясь после длительных переговоров на не слишком выгодные условия.

— Полагаю, я должен перед вами извиниться.

— Наконец мы куда-то приплыли.

— Действительно, я вас использовал. Сознательно. Разумеется, не вас лично. За это и извиняюсь. Я использовал прессу. Мне казалось, что я вправе это сделать. К сожалению, я упустил из виду, забыл, что пресса состоит из конкретных людей, которым мои действия могут причинить немалый урон.

— Черт побери! Я сейчас заплачу. Будем считать, что вы прощены. Пока. А теперь, пожалуйста, переходите к фактам.

— Фактов у меня нет. Я сам хотел выяснить, что к чему. Едва ли можно ставить мне это в вину.

— Разберемся и с этим.

— Итак, я работал... работаю... В «Уэгнолл-Фипс». Не самая большая компания в мире, но эффективный, слаженно работающий концерн, приносящий немалую прибыль. Томас Бредли, его основатель, занимает пост председателя совета директоров. Благоразумный, спокойный человек, опытный бизнесмен. Все в нем хорошо, кроме длинных похабных анекдотов, которые он так любил рассказывать.

— Вам не нравились его похабные анекдоты?

— Я не понимал, в чем, собственно, соль. Моя жена и я... мы — самая обычная супружеская пара. И в семейной жизни не признаем экстравагантности.

— Понятно.

— Он женат на Энид больше двадцати лет. У них двое детей.

— Это я знаю.

— Любил ездить верхом. Для удовольствия или... может, на лошади ездят для чего-то еще?

— Говорят, верховая езда полезна для пищеварения.

— Потом пошли разговоры, что он болен.

— Кто вам сказал? Когда?

— Алекс Коркоран, занимающий, если вы этого еще не знаете, пост президента «Уэгнолл-Фипс».

— Знаю.

— Разумеется, рядом с Алексом все кажутся больными. Он — крупный, пышущий здоровьем мужчина, чуть ли не каждый день играющий в гольф. И это хорошо. На поле для гольфа он зараба-

тывает для «Уэгнолл-Фипс» больше денег, чем все другие коммивояжеры вместе взятые.

— Когда Алекс упомянул, что, по его мнению, Бредли болен?

— Примерно два года назад. Точно сказать не могу. Возможно, я сам это заметил.

— Что вы заметили?

— Насчет Тома? Он похудел... стал спокойнее. Ушел в себя.

— То есть вы поняли, что с ним что-то происходит.

— Да. А потом нам объявили, что он уезжает в Европу на лечение. Длительное лечение. Ничего конкретного сказано не было. Уезжает, и все. Мы, естественно, подумали о самом худшем. Решили, что у Томаса Бредли рак.

— Но никто не пожелал выяснить, чем именно вызван отъезд в Европу?

— Нет, конечно. Одновременно нам сообщили, что исполнение обязанностей председателя совета директоров возлагается на Энид Бредли.

— И как она справлялась с этими обязанностями?

— По-моему, хорошо. Если она не могла сразу ответить на мой вопрос, то брала тайм-аут и отвечала на него следующим утром, причем ее решение всегда оказывалось оптимальным.

— Как вы объясняли себе подобные ситуации? Полагали, что вечером она обсуждала возникшую проблему с Томасом Бредли?

— Да. Поначалу. Тем более что по утрам, раз или два в неделю, я получал от Бредли служебные записки с подробным анализом тех или иных вопросов. Разумеется, от Томаса Бредли. Личные отношения в них не затрагивались. Речь шла только о функционировании «Уэгнолл-Фипс».

— Что значит, вы их получали? Они приходили по почте? Откуда?

— Нет. Я всегда находил их на своем столе. Мне представлялось, что их приносила Энид Бредли.

— Ладно. Посмотрим, что у нас получается. Этот парень лежит в больнице, возможно, в Европе, поддерживает связь с женой по телефону и держит руку на пульсе своего бизнеса, посылая начальнику финансового отдела подробные служебные записки.

— Все правильно. А потом, в конце ноября, в пятницу, прошел слух, что Томас Бредли умер. Напрямую никто ничего не говорил. Но атмосфера в конторе изменилась. Все как-то погрузтели. Лица стали печальными. Вы меня понимаете?

— Конечно. Но вы не из тех, кому достаточно одних слухов. Вероятно, вы захотели выяснить их первопричину.

— Захотел. Естественно, это сообщение взволновало меня. Около восьми вечера я позвонил Алексу Коркорану. По голосу чувствовалось, что он очень расстроен. Алекс подтвердил мои подозрения.

— То есть прямо сказал, что Томас Бредли умер?

— Да. Голос его дрожал, язык заплетался. Он сказал, что Энид сейчас очень тяжело. И попросил не говорить с ней о смерти мужа. У нее, мол, сильный характер. Ей не нужны ни соболезнования, ни цветы. Она не собирается заказывать церковную службу.

— Это не показалось вам странным?

— Да нет. Бредли — люди спокойные, предпочитали уединенные веселой компании. Друзей у них, насколько мне известно, было мало. Тесных отношений с сослуживцами Томас Бредли не поддерживал. Короче, Алекс попросил меня не докучать Энид в связи со смертью мужа.

— И вы не докучали.

— Нет. К моему удивлению, в понедельник она пришла в контору. А в Швейцарию улетела лишь во вторник.

— Вы точно знаете, кто она улетела в Швейцарию?

— Дайте-ка вспомнить... Да, Алекс Коркоран сказал мне, что она улетела в Швейцарию.

— Потому что Томас Бредли умер там?

— Да. Я, во всяком случае, понял его именно так.

— И долго она отсутствовала?

— Энид вернулась в конце следующей недели. В четверг или пятницу.

— То есть примерно десять дней.

— Да, десять дней. С этим, как говорится, все в порядке. Насторожило другое. Меня, естественно, мучил вопрос, как отразится смерть Томаса на благополучии и внутренней политике компании.

— И как же она отразилась?

— Да никак. Если не считать того, что Коркоран сказал мне о смерти Томаса Бредли, это событие более не упоминалось.

— Но сомнений в том, что он умер, у вас не возникало?

— На тот момент нет. Тем более что Энид продолжала числиться исполняющей обязанности председателя совета директоров.

— Как я понимаю, Франсина...

— Компания функционировала, как и прежде. Я ожидал изменения финансовых приоритетов, уменьшения расходов, перераспределения акций, покупки новых активов за счет продажи старых. Ничего этого не случилось. Разумеется, контрольный пакет акций принадлежал не лично Томасу Бредли, но «Бредли фамили компани».

— Вы говорите о необходимости уплаты налогов. На наследство, на недвижимость и так далее?

— Я полагал, что Бредли достаточно богаты, чтобы заплатить налоги, не трогая основного капитала.

— Вы уверены?

— Да. Бредли не из тех, кто сорит деньгами. Насколько я знаю, семье принадлежали один дом, четыре автомобиля и одна лошадь. Много ли денег уходит на покупку овса для одной лошади? Был у них еще один источник расходов — на обучение сына.

— С тем же успехом они могли спустить эти деньги в унитаз.

— Почему вы так думаете?

— Пока, мистер Блейн, все звучит вполне логично.

— Не совсем. Я же сказал вам, на фирме ничего не изменилось. По-прежнему возникали вопросы, на которые Энид Бредли не могла ответить сразу. А на следующий день я получал ответ, и

опять же предлагалось оптимальное решение возникшей проблемы.

— Хотя на этот раз она не могла поговорить с мужем по телефону.

— Нет. Если только телефонная компания не наладила связь с потусторонним миром.

— Вам что-нибудь известно о сестре Томаса Бредли, Франсине?

— Да. Они были очень близки. Она сведуща в бизнесе. И Том часто советовался с ней.

— Так что Энид, ища ответы на ваши вопросы, могла проконсультироваться с Франсиной?

— Да. Полагаю, что могла.

— Вы знаете, что Энид лишь временно исполняет обязанности председателя совета директоров? И вскорости «Уэгнолл-Фипс» возглавит Франсина?

Чарльз Блейн улыбнулся.

— У меня складывается ощущение, что сейчас вы знаете о нашей компании несколько больше, чем на прошлой неделе, при нашей первой встрече.

— Я делаю на этой неделе то, что следовало сделать две недели назад. Но, откровенно говоря, до сих пор не уверен, что статья в двенадцать абзацев о крошечной, никому не известной компании вроде «Уэгнолл-Фипс» стоит таких усилий.

— Так почему вы это делаете?

— Должен докопаться до сути. Я хороший репортер.

Блейн поправил сползающие со вспотевшего носа очки.

— Ваше предположение о том, что Энид консультируется с Франсиной, вполне логично.

— Благодарю.

— Но оно не объясняет служебных записок.

— Наконец-то мы добрались до служебных записок.

— Записки продолжали приходить. Поначалу я подумал, что причиной тому — медлительность почты. И они просто задержались в пути.

— Еще одно логичное предположение.

— Оно оставалось логичным, пока в служебных записках не начали затрагиваться проблемы, возникшие после смерти Томаса Бредли.

— После?

— После, черт побери. После!

— Материализация духов?

— Поневоле задумаешься над этим.

— Я вас понимаю.

— А в конце каждой стояли инициалы. Не подпись. Подделать инициалы не составляет труда. Вы видели эти записки. Видели инициалы.

— Да. Видел. Это точно. Вы их мне и показывали.

— Нельзя же винить меня за любопытство. Не только инициалы остались прежними, не изменился и стиль. Конечно, я не эксперт, чтобы выносить квалифицированное заключение. Я специально показывал вам служебные записки, датированные как

до смерти Томаса Бредли, так и после. Вы заметили разницу?

— Меня не предупредили о том, что я должен ее заметить. Вы говорили кому-нибудь об этих записках?

— Да. Алексу Коркорану. Но он, похоже, даже не понял, о чем речь. Он никогда не понимал меня. То ли я говорю с ним недостаточно громко, то ли причина в чем-то еще.

— Но как-то он должен был отреагировать? Вы показали ему служебные записки, не так ли?

— Он едва глянул на них. Пропустил мои слова мимо ушей. Я приходил к нему дважды, пытаясь разъяснить, что меня тревожит. Наконец он сказал: «Слушай, оставь Энид в покое, а?»

— И вы оставили?

— Я же подчиненный, мистер Флетчер.

— С этим все ясно, мистер Блейн. А теперь давайте выслушаем вашу версию. Если только вы не верите, что некоторые люди имеют устойчивые каналы связи с адом, раем или чистилищем.

— Я не хочу гадать. Я хочу знать.

— Итак, вы получали эти служебные записки несколько месяцев.

— Совершенно верно.

— И как вы объясняли для себя их появление?

— Или Энид Бредли писала их сама, а подписывала инициалами мужа, чтобы к ним отнеслись с должным уважением, или... — Блейн пожал плечами.

— Я весь внимание.

— ...Или их писала его сестра, Франсина, подделывая его инициалы, или...

— Не вижу особой разницы в этих двух вариантах.

— ...Или Томас Бредли не умер.

— Вы забыли четвертый вариант.

— О чем вы?

— Инициалы подделывали вы.

— С какой стати?

— Потому что тронулись умом.

— Полагаю, с вашей точки зрения, возможен и такой вариант.

— А какой из вариантов выбрали бы вы?

— Вы упустили еще один, мистер Флетчер. Тот, что более всего волнует меня. Возможно, вы этого и не поймете. Я считаю себя серьезным бизнесменом. Я — дипломированный бухгалтер. Мне выдана лицензия на ведение бухгалтерской деятельности. А вариант, упущенный вами, не дает мне спать по ночам.

— Что же вас пугает?

— Возможность того, что компанией, через Энид Бредли, управляет абсолютно безответственная личность, не имеющая на это никакого права. Энид не первая вдовушка, попавшая в цепкие когти честолюбивого, не имеющего ни стыда, ни совести жиголо.

— Ваши подозрения подтверждаются служебными записками? От них веет невежеством, безответственностью?

— Нет. Но среди этих мошенников встречаются умные люди. Такой человек может оказаться прав в девяти случаях из десяти.

А вот в десятом порекомендует решение, которое пустит корабль ко дну.

— Согласен, мистер Блейн, о таком варианте я не подумал.

— И напрасно. Потому что мне он представляется наиболее реальным. Происходило что-то странное, и я считал себя обязанным во всем разобраться.

— А тут под руку подвернулся репортер из «Ньюс-Трибюн»...

— И я честно показал вам инструменты, посредством которых управляется компания «Уэгнолл-Фипс».

— Служебные записки от покойника.

— Да.

— Однако вам не хватило честности сказать мне об этом. Вы не упомянули, что Томас Бредли умер.

— За это я приношу свои извинения.

— «Извините за беспокойство», — сказал палач, опуская топор.

— Я же не ожидал, что вас уволят. Признаю, я использовал вас. Пытался привлечь внимание к занимавшей меня проблеме. Просьба прояснить ситуацию. Я должен знать, кто руководит «Уэгнолл-Фипс».

— Мистер Блейн, кому выгодна смерть Томаса Бредли?

— Не знаю. Не могу никого назвать. Акции «Уэгнолл-Фипс» принадлежат семейному фонду. Страховки, по-моему, у Бредли не было. И мне не известен человек, у которого смерть Томаса Бредли вызвала бы прилив положительных эмоций.

— Это вы тонко подметили, прилив положительных эмоций.

— Предполагаете, что его убили?

— Мистер Блейн, я приготовил для вас сюрприз. Вы готовы к сюрпризу?

— Я бы с большим удовольствием выслушал ответы на поставленные вопросы.

— Ответов пока нет. Есть сюрприз.

— Какой же?

— Томас Бредли не умер в Швейцарии. Я проверил.

Чарлз Блейн долго смотрел на репортера.

— Скорее это вопрос, чем ответ, не так ли?

— Абсолютно верно.

Блейн наклонился вперед, оперся локтями о стол.

— Пожалуй, я могу сказать вам, кому более всего выгодна смерть Томаса Бредли. Департаменту налогов и сборов министерства финансов Соединенных Штатов Америки.

— И вы говорите, что по сию пору не уплачены налоги на собственность.

— Да. Это еще один источник моих тревог. Я не хочу участвовать в уклонении от уплаты налогов. Не хочу, чтобы у кого-либо даже возникла мысль о том, что я помогаю уклоняться от уплаты налогов.

— Понятно, — кивнул Флетч. — Лучше порушить мою карьеру, чем свою.

Покраснев, Блейн откинулся на спинку стула.

— Сожалею, что вы воспринимаете происходящее под таким углом. С другой стороны, иного и быть не может. Я поступил дурно.

— После драки кулаками не машут. Нефть на перышках утки. Блейн разглядывал пустой бокал.

— Что вы хотите сказать последней фразой? Что происходит, если нефть попадает на перья утки?

— Утка тонет.

— Ясно. — Блейн обвел взглядом пустынный в полдень пляж. — Похоже, мы не продвинулись ни на шаг и знаем столько же, что и в начале нашего разговора.

— Энид Бредли сама говорила вам, что ее муж умер?

— Да. В прошлый четверг. После публикации вашей статьи. Перед тем, как сказать, что у меня не все в порядке с головой и мне с Мэри следует отдохнуть в мексиканском раю. — Блейн чихнул и невесело рассмеялся.

— Пуэрто де Сан-Орландо выбрала Энид Бредли?

— Да. Она платит.

— Но вы и раньше отдыхали в Мексике?

— Да, — снова чихнул Блейн. — В Акапулько.

— Понятно.

— Тут очень пыльно, знаете ли. Когда вы возвращаетесь?

— Самолет завтра в полдень.

— А что будете делать до этого?

— Поваляюсь на берегу.

— Вы позволите Мэри и мне пригласить вас к обеду?

— Конечно. Очень мило с вашей стороны.

— У меня такое ощущение, что я, сам того не желая, причинил вам много вреда. Девять часов подойдет?

— До вечера, — кивнул Флетч.

— Ресторан на веранде отеля. — Блейн протянул руку. — И давайте обходиться без «мистера Блейна» и «мистера Флетчера». Подозреваю, что мы оба — жертвы одной интриги, хотя я и вовлек вас в эту историю.

Флетч поднялся, пожал протянутую руку.

— Согласен, Чарли.

— Могу я звать вас Ирвин?

— Нет, если хотите дожить до обеда. Я откликаюсь на имя Флетч.

Блейн чуть наклонился вперед. Очки увеличивали в размерах его глаза.

— Флетч, я сошел с ума или весь мир обезумел?

— Вполне разумный вопрос.

Глава 23

Домой Флетч вернулся в среду, поздним вечером. На кофейном столике, среди счетов и присланных по почте рекламных проспектов, его ждали записка и три письма.

«Ф.

Звонила твоя бывшая жена, Линда. Я сказала ей, что ты отправился в Мексику на своей яхте.

М.»

«Дорогой мистер Флетчер!

Мэр принял решение присвоить Вам звание «Лучшего гражданина месяца», отметив тем самым Ваш героизм, проявленный на мосту Гилден-стрит в воскресную ночь, когда, рискуя собственной жизнью, Вы спасли жизнь другого человека.

Церемония награждения состоится в мэрии, в пятницу, ровно в десять утра.

Вы должны прибыть к миссис Голдовски, в канцелярию мэра, в половине девятого. Миссис Голдовски расскажет Вам, что Вы должны делать и говорить во время церемонии и после нее. Опоздание на встречу с миссис Голдовски недопустимо.

Церемония будет совмещена с пресс-конференцией, то есть будет проводиться в присутствии репортеров, фотокорреспондентов и телевизионщиков. Просим прибыть в строгом деловом костюме.

Искренне Ваш,
Канцелярия мэра».

«Дорогой мистер Флетчер!

Я прочитал о том, как вы спасли женщину на мосту. Я тоже нуждаюсь в спасении. Родители ужасно меня третируют. Они ни разу не свозили меня в «Диснейленд». Пожалуйста, приезжайте и спасите меня».

Томми, адрес указан выше».

«Дорогой мистер Флетчер!

Хотя я и присоединяюсь к миллионам тех, кто воздает Вам должное за проявленный в воскресенье героизм, когда Вы спасли женщину от самоубийства, только я и мой помощник, мистер Смит, знаем, что Вас нельзя назвать абсолютно честным человеком. Я прочитал статью о Вашем деянии в утреннем номере «Кроникл». По помещенной в том же номере фотографии мы узнали человека, заглянувшего к нам в прошлый четверг и назвавшегося Джеффри Армистедом. Вы показали нам бумажник, сказав, что нашли его неподалеку от отеля. Бумажник, вместе с находящимися в нем двадцатью пятью тысячами долларов, принадлежал, по Вашим словам, некоему мистеру Джеймсу Сейнту Э. Крэндоллу. Именно эти фамилии, Армистед и Крэндолл, мы сообщили полиции. Вы также заверили нас, что зайвте о находке в полицию. Похоже, Вы этого не сделали. Более того, как явствует из статьи, с прошлой пятницы Вы уже не работаете в «Ньюс-Трибюн» (нам Вы сказали, что зарабатываете на жизнь парковкой автомобилей). Все вышесказанное указывает на то, что Вы не намерены возвращать деньги законному владельцу. Мистер Смит и я полагаем справедливым предупредить Вас, что мы этого так не оставим и поставим в известность полицию о Вашем настоящем имени и месте жительства. Несомненно, они свяжутся с Вами и потребуют передать деньги им, чтобы потом, после получения соответствующего заявления, вернуть все двадцать пять тысяч тому, кто их утерял.

Искренне Ваш, Жак Кавалье,
Управляющий отеля «Парк Уорт».

Мокси заявила около полуночи. Переступив порог, бросила на пол дорожную сумку. «Молния» была сломана, и из сумки торчали сценарий, каблук кроссовки и кончик полотенца.

— Привет. — Флетч не поднялся с дивана.

— Привет.

— Похоже, ты совсем вымоталась.

— Я действительно вымоталась. Репетировала с полудня. А ты, я вижу, сгорел.

— Да, сгорел. Заснул на пляже.

— Весь сгорел?

— В каком смысле?

— Все тело?

— Нет. Кое-что осталось.

— Ладно, это неважно. До премьеры все пройдет. Завтра, конечно, ты будешь выглядеть довольно-таки странно. На репетиции.

— ?..

— Флетч, ты должен.

— Должен?

— Сам не подходит для этой роли. Он слишком тяжеловесен. Слишком увлечен собой.

— Ты забыла упомянуть про его массивные ляжки.

— Глядя на него, можно подумать, что мы репетируем «Трамвай «Желание»^{*}. Он не понимает, что наш спектакль — комедия. Я сказала Полу, что завтра ты обязательно придешь.

— Пол — это режиссер?

— Пол — это режиссер. Он согласился попробовать тебя, хотя и знает, что ты никогда не играл. Естественно, в театре.

— Завтра меня в театре не будет. Ни завтра, ни послезавтра, ни в любое другое завтра. По-моему, последняя фраза вполне годится для какой-нибудь пьесы.

— Конечно. Я же говорила тебе, что ты прирожденный актер.

— Сегодня я уже исполнял стриптиз. Причем без музыки.

Мокси вынимала вещи из дорожной сумки и выкладывала их на пол.

— Тебя похитила и изнасиловала банда мексиканских герл-скаутов^{**}?

— Не совсем. Таможня. По пути домой. Таможенная служба Соединенных Штатов Америки. Они завели меня в маленькую комнату, заставили раздеться, а затем поковырялись во всех отверстиях. Спасибо, что не вспороли живот.

— Серьезно?

— Еще как серьезно. Мне это не понравилось. Они прорентгенили мои башмаки, чемодан, зубы.

— Это ужасно.

— Два часа возились со мной. Или во мне.

^{*} Пьеса американского драматурга Теннесси Уильямса, написанная в 1947 г. и поставленная во многих странах мира, в том числе и в России.

^{**} Девочки-подростки.

— Ради чего?

— Не могли поверить, что мужчина моего возраста будет добираться до Пуэрто де Сан-Орландо на трех самолетах, чтобы провести на пляже лишь тридцать часов. Я сказал им, что у меня появилось немного свободного времени, и я использую его, как мне того хочется.

— Они приняли тебя за контрабандиста. Искали наркотики или что-то еще.

— Что-то еще. — Флетч подхватил с кофейного столика письмо из канцелярии мэра. — Разве можно так обращаться с Лучшим гражданином месяца?

— Ах ты мой бедненький. В конце концов они извинились перед Лучшим гражданином?

— Они пообещали поймать меня в следующий раз.

На кухне Мокси мазала горчицу таким тонким слоем, что колбаса даже не прилипала.

— Ты хочешь растянуть эту банку до тех времен, когда все люди станут свободными? — спросил Флетч.

— Что растянуть? — не поняла Мокси.

— Горчицу. — Он взял у нее нож и банку с горчицей, от души намазал ее на хлеб.

— А что ты делал в Мексике? — полюбопытствовала Мокси. — Помимо контрабанды наркотиков и алмазов и прогулок на яхте?

— Я поехал повидаться с Чарлзом Блейном. Вице-президентом и начальником финансового отдела «Уэгнолл-Фипс».

— Однако.

— И он сказал мне, — Флетч осторожно накрыл приготовленный сэндвич верхним куском хлеба, — что получал служебные записки от покойника.

— Кажется, я читала об этом в газете.

— Ты, как всегда, права.

— Так что ты узнал нового?

— Очевидно, их писал не покойник.

— Как приятно это слышать. А то мне уже стало как-то не по себе.

— Так от кого, по-твоему, он получал служебные записки?

— Должно быть, от мадам Палонки.

— Должно быть. — Флетч протянул Мокси сэндвич. — А кто такая мадам Палонка?

— Медиум из Сан-Франциско. Передает послания от умерших. Горчицы ты переложил.

— Кто мог ставить на служебных записках подпись «Томас Бредли» после смерти Томаса Бредли?

— Секретарь, привыкшая к установившемуся порядку.

— Кто управляет «Уэгнолл-Фипс»?

— А кого это волнует?

— Полагаю, и они думали, что всем наплевать.

— Они были правы. А кто «они»?

— Великие «ОНИ». Понятия не имею.

— Но тебе-то не наплевать.

— Я должен с этим разобраться или придется признать, что я — ничтожество.

— Фу! Ну и выбор! Быть кем-то или не быть никем... Что бы это значило? Быть кем-то или чем-то... Боже мой! Ты меня совсем запутал.

— Неладно что-то в Датском королевстве. Это из той же пьесы?

— В Датском королевстве все ладно, — возразила Мокси. — Я там была. И, уж конечно, в Датском королевстве мне никто не дал бы бутерброд с таким слоем горчицы.

— Чарлз Блейн хочет узнать, кто же руководит «Уэгнолл-Фипс».

— Флетч, а ты не думаешь, что это дело превратилось для тебя в навязчивую идею?

— Не так уж часто доводится видеть служебные записки от покойника.

— Согласна с тобой.

— И еще реже, по моему разумению, эти загадочные записки ставят крест на карьере человека, не имеющего к ним ни малейшего отношения.

— Поэтому ты упорствуешь в стремлении выяснить, кто написал эти бумажонки и почему они продолжают появляться в «Уэгнолл-Фипс»?

— Упорствую.

— А почему бы тебе не выбросить все это из головы, поехать завтра на репетицию, попытаться получить главную роль в пьесе «В любви», вместе со мной пролить на сцене семь потов, а потом насладиться грандиозным успехом? Возможно, в театре тебя ждет новая карьера.

— Возможно. Но даже в этом случае в меня будут тыкать пальцами, как в журналиста, который ссылаясь на покойника, как на живого.

— Ну хоть завтра приди на репетицию.

— Не могу.

— Почему?

— Лечу в Нью-Йорк.

— Летишь в Нью-Йорк? Нельзя этого делать!

— Можно. Дожидаясь тебя, я заказал билет на утренний рейс.

— Зачем тебе понадобилось лететь в Нью-Йорк?

— Потому что там живет человек, которого я еще не видел — сестра Томаса Бредли, Франсина.

— А что она может знать о служебных записках? Она живет на другом конце страны.

— Я понимаю. Но она единственная, кому выгодна смерть Бредли. Если не учитывать версию, что и миссис Бредли испытывает огромное эмоциональное облегчение, избавившись от муженька, который доставал ее похабными анекдотами.

— Я готова не учитывать эту версию. Но когда-то же надо остановиться! И тебе следовало сделать это давным-давно.

— Франсина Бредли в скором будущем должна приехать из Нью-Йорка и возглавить «Уэгнолл-Фипс», — пояснил Флетч. — Том Бредли многие годы постоянно советовался с ней. Энид Бредли советуется и сейчас. Неужели тебе не кажется, что я

обязан по крайней мере посмотреть ей в глаза и постараться понять, каково ее участие в этой истории?

— Подозреваю, что она посмотрит тебе в глаза и скажет, что ты псих. Все это можно объяснить секретарской ошибкой, Флетч.

— Я так не думаю. И Чарлз Блейн так не думает.

— И потом в утреннем номере «Ньюс-Трибюн» объявлено, что в пятницу утром пройдет церемония, связанная с присуждением тебе звания «Лучший гражданин недели».

— Позволь поправить: «Лучший гражданин месяца».

— Ты не можешь лететь в Нью-Йорк. У тебя назначена встреча с мэром.

— Мэр назначил встречу с прессой. Меня там не ждут.

— Но почему, скажи на милость? Если мы сможем объявить к пятнице, что ты сыграешь главную роль в пьесе «В любви», которую в скором времени можно будет увидеть в театре «Кэлоук-визл»...

— Каждый ищет свою выгоду.

— Естественно.

— В пятницу я буду в Нью-Йорке. Почему ты не ешь сэндвич?

Мокси отодвинула тарелку.

— С твоими кулинарными способностями, Флетч, тебе рано замахиваться на сэндвичи с колбасой. Пока твой предел — бутерброды с ореховым маслом.

Глава 25

Швейцар высокого, многоквартирного дома в престижной части нью-йоркского района Ист-Сайд зажал рукой микрофон телефона и с изумлением посмотрел на Флетча.

— Мисс Бредли говорит, что она вас не знает, мистер Флетчер.

Флетч протянул руку.

— Позвольте мне сказать ей пару слов.

— Разумеется, сэр.

Он отдал трубку Флетчу и отступил на полшага. Широкоплечий, подтянутый, с цепким взглядом, скорее телохранитель, чем швейцар, золотые галуны на его униформе смотрелись так же нелепо, как спинакер* на авианосце.

— Мисс Бредли?

— Да? — Голос глубокий, чуть хрипловатый.

— Моя фамилия Флетчер. Мне необходимо поговорить с вами о компании вашего брата, «Уэгнолл-Фипс». Я специально прилетел из Калифорнии.

Последовала долгая пауза.

— Кто вы, мистер Флетчер?

— Я — репортер, бывший репортер, который написал статью для финансовой полосы «Ньюс-Трибюн», чего мне делать не следовало. Надо уточнить некоторые детали.

— И чем я могу вам помочь?

— Не знаю. Но я поговорил с вдовой вашего брата, Энид

* Добавочный треугольный парус из легкой парусины, который ставится на яхтах при попутном ветре.

Бредли, с вашей племянницей Робертой, с вашим племянником Томом...

— Вам нужно поговорить с Алексом Коркораном. Он — президент...

— С ним я тоже говорил. Как и с Чарлзом Блейном... несколько дней тому назад.

Вновь долгая пауза.

— Вы говорили с Чарлзом Блейном несколько дней тому назад?

— Для этого пришлось слетать в Мексику.

— Вижу, вы не из тех, кого не оторвешь от стула. Коркоран и Блейн не смогли вам помочь?

— К сожалению, нет.

— Честно говоря, не понимаю, какой помощи вы ждете от меня. Но поднимайтесь. Не могу же я дать вам от ворот поворот после того, как вы потратили столько денег, чтобы приехать сюда.

— Спасибо, — кивнул Флетч. — Я передаю трубку швейцару.

— Действительно, мистер Флетчер... Я правильно произношу фамилию?

— Да.

— Вы могли бы сэкономить время и деньги, просто позвонив мне из Калифорнии. Я наверняка сказала бы вам, в моих ли силах...

Франсина Бредли открыла дверь квартиры 21М, обежала Флетча удивленным взглядом и продолжила разговор, начатый по телефону внутренней связи.

И Флетч не упустил возможности внимательно разглядеть свою собеседницу. Светлые, тщательно уложенные волосы. Кожа, не чуждая дорогой косметики и массажа. Золотое ожерелье. Серезки, составляющие с ним единый гарнитур. Отлично сшитое зеленое платье с глубоким вырезом на груди. Очень стройная для ее возраста (сорок пять плюс-минус два года) фигура.

— ...О компании Тома мне известно не так уж и много. — Она провела Флетча в просторную гостиную, обставленную дорогой мебелью. Через большое окно ее заливал солнечный свет. — Из сотрудников я никого не знаю. Конечно, я в курсе производственных и финансовых дел. После смерти Тома Энид частенько обращается ко мне. Энид, как вам, должно быть, известно, не сведуща в бизнесе.

Франсина встала спиной к окну, лицом к Флетчу, помолчала, словно гадая, на все ли возможные вопросы Флетча она уже ответила. Молчал и Флетч. Чтобы заполнить паузу, Франсина указала на диван.

— Присядьте, пожалуйста. Меня ждут к обеду, но несколько минут у меня есть, так что давайте посмотрим, вдруг я действительно смогу вам чем-то помочь.

Сев, Флетч расстегнул пиджак и подтянул брючины, чтобы не помять свой новый костюм.

На кофейном столике лежали перчатки и сумочка Франсины.

— Я рад, что вы согласились встретиться со мной. Возможно, вам сначала показалось, что я не в своем уме, но, надеюсь, вы

поймете, чем вызвано мое, пусть и несколько странное, поведение.

— Ваше поведение не кажется мне странным, — улыбнулась Франсина. — Просто... когда вы сказали, что вы репортер, бывший репортер, я подумала, что, открыв дверь, увижу перед собой... более зрелого мужчину, старше возрастом... которому пришлось многое повидать.

Улыбнулся и Флетч.

— Все дело в моем румянце во всю щеку. А причина тому — ежедневный завтрак из овсянки с апельсиновым соком.

Франсина Бредли добродушно рассмеялась.

Теперь, когда его глаза привыкли к яркому свету, Флетч разглядел фотографии на книжной полке. Роберта Бредли, Томас Бредли-младший, школьные фотографии разных лет, две фотографии Энид Бредли, молодой и постарше, большая семейная фотография. Флетч догадался, что черноволосый мужчина, обнимающий Энид Бредли за талию, ее муж, Томас. Стену перед Флетчем украшала черно-коричневая мозаика. На низком столике у окна лежала другая, незаконченная.

— Мозаику на стене сделал ваш брат? — спросил Флетч.

— Да. — Франсина с грустью посмотрела на мозаику. Затем вздохнула и указала на вторую, незаконченную. — А над этой он работал. Том всегда останавливался у меня, когда приезжал в Нью-Йорк, чтобы проконсультироваться у врачей. Эту мозаику он начал перед отъездом в Швейцарию. Я не стала убирать ее. Глупо, конечно. Но, знаете, иногда прихожу домой вечером и буквально вижу его, в халате и шлепанцах, склонившегося над мозаикой.

— Боюсь, мои вопросы покажутся вам необычными.

— Это ничего. — Она глянула на часы. — За мной должны приехать...

— Я помню. Мое появление у вас вызвано тем, что при подготовке статьи об «Уэгнолл-Фипс» мне показали недавние служебные записки вашего брата, которые я и процитировал. В результате меня, естественно, уволили.

Сначала Франсина смотрела на Флетча так, будто тот неожиданно заговорил на языке, которого она не понимает.

— Что значит «недавние»?

— Датированные если не этим, то прошлым месяцем.

— Том уже с год как умер.

— Потому-то я здесь.

— Как странно.

— Согласен с вами.

— Есть ли какое-нибудь объяснение?

— У меня — нет.

— Кто показывал вам эти служебные записки?

— Чарльз Блейн. Вице-президент и начальник финансового отдела «Уэгнолл-Фипс». Мне представлялось, что такой человек — надежный источник информации.

— А, Блейн. С ним и раньше были проблемы. Энид упоминала об этом. Возможно, специалист он толковый, но... Энид говорит, что он все воспринимает слишком серьезно. Своих подчиненных

просто затретировал. У него все расставлено по полочкам, а если что-то не ставится, он впадает в истерику.

— Дело не в полочках, мисс Бредли. Речь идет о документах, подписанных инициалами человека, который не мог их подписать, поскольку отошел в мир иной.

Франсина пожала плечами.

— Тогда это чья-то злая шутка. Порезвился кто-нибудь из секретарей. Из тех, что работал с Блейном. Блейн мог достать кого угодно. Вот с ним и поквитались.

— Такое возможно.

— А как на этот вопрос ответила Энид?

— Она полагает, что у Блейна нервный срыв. И отправила его в отпуск в Мексику.

— Так, наверное, и есть.

— Я слетал в Мексику. С нервами у него все в порядке. А вот жара и духота допекают.

— Ваша квалификация позволяет вам судить о психическом состоянии человека, мистер Флетчер? У вас есть диплом психиатра?

— Я оставил его в другом костюме.

— Не подумайте, что я вхожу в роль прокурора, но... Многие люди скрывают свое истинное лицо под маской. И под ней происходит совсем не то, что мы видим.

— Чарлз Блейн заверил меня, что он не подделывал инициалы на служебных записках.

Вновь Франсина Бредли пожала плечами.

— Тогда кто-то сыграл с ним злую шутку. В конторах такое далеко не редкость.

— Мисс Бредли, когда умер ваш брат?

— Я же сказала... Год назад.

— Энид говорит то же самое. А Коркоран и Блейн полагают, что он умер в прошлом ноябре, то есть шесть месяцев назад.

— Ах, вы об этом. Я понимаю, тут действительно имеет место некоторая путаница. Том умер год назад. Неожиданно для нас. Уезжая, он оставил за себя Энид. Не могу сказать, что ей удалось справиться с работой. Скорее наоборот, ее терпели только потому, что надеялись на скорое возвращение Тома. По существу, ее поддерживал лишь его авторитет. Она прекрасно это понимала. И мы решили никому не сообщать о смерти Тома, пока Энид не освоится с ролью руководителя компании. Логичное решение?

— Полагаю, что да.

— Была и другая причина. Касающаяся не бизнеса, а эмоций. Энид очень любила моего брата. Насколько мне известно, к нему очень хорошо относились и сотрудники «Уэгнолл-Фипс», те же Блейн и Коркоран. Энид хотела скорбеть в одиночку. Она не желала видеть на работе печальные лица, выслушивать соболезнования от подчиненных. Надеюсь, это ясно?

Флетч предпочел промолчать.

— Была и масса других соображений. Молодые сотрудники могли уйти из компании, прослышав о смерти Тома, так как еще не верили в Энид... И многое, многое другое.

— Ваш брат умер год назад. В «Уэгнолл-Фипс» об этом узнали

через шесть месяцев, в одну из ноябрьских пятниц. А Энид улетела в Швейцарию во вторник на следующей неделе. Так?

Взгляд Франсины задержался на настенной мозаике.

— Вроде бы так. Вы спрашиваете, почему мы не полетели в Швейцарию сразу же, шесть месяцами раньше, получив известие о смерти Тома?

— Мне хотелось бы получить ответ на этот вопрос.

— Мы сознательно приняли такое решение. Том умер. Внезапно. Энид об этом сообщили через двадцать четыре часа после смерти. Порекомендовали кремировать покойника. Энид телеграфировала, что согласна. А шесть месяцев спустя мы улетели в Швейцарию, заказали мемориальную службу, привезли домой останки Тома.

— Вы летали в Швейцарию с Энид?

— Разве я только что не сказала об этом?

— Куда именно?

— Том умер в клинике под Женевой.

Флетч глубоко вздохнул и покачал головой.

— Мисс Бредли, ваш брат не умер в Швейцарии.

Брови Франсины взлетели вверх.

— Что вы такое говорите?

— Я связывался с посольством Соединенных Штатов в Швейцарии. Ни в прошлом году, ни когда бы то ни было в этой стране не умирал американский гражданин, которого звали Томас Бредли.

На лице Франсины отразилось изумление.

— Они так сказали?

— Да, сведения из американского посольства в Женеве.

— Но это невозможно, мистер Флетчер.

— И я уверен, что они не пытались сыграть злую шутку.

— Однако... Не знаю, что и сказать.

— Я тоже.

— Полагаю, причиной всего бюрократическая ошибка. Я попрошу своих адвокатов с этим разобраться.

— Посольство гарантирует, что их информация, касающаяся смерти американцев в Швейцарии, достоверна на сто процентов.

— О, мистер Флетчер, если вы покажете мне чиновников, которые не допускают ошибок, я, подпрыгнув, достану Луну.

Флетч наклонился вперед.

— Как видите, мисс Бредли, у меня много вопросов.

В прихожей загудел аппарат внутренней связи.

— Извините. — Франсина вышла в прихожую, взяла трубку. — Слушаю... Да, пожалуйста, скажите мистеру Савенору, что я спущусь через несколько минут.

Когда Франсина вернулась в гостиную, Флетч стоял у окна.

— Можем мы встретиться еще раз? — спросил он.

— Конечно. Я вижу, что вами движут добрые побуждения.

— Подозреваю, мне удалось вас удивить.

— Уверена, что всему найдется разумное объяснение, — ответила Франсина. — И конторской шутке... И свидетельству о смерти, затерявшемуся в посольстве.

- Возможно.
- Вы сможете пообедать со мной завтра?
- Конечно. Где, когда?
- Любите французскую кухню?
- Есть я люблю.
- Так давайте встретимся в восемь вечера в ресторане «У Клер». Это в двух кварталах отсюда. — И она указала на юг.
- В восемь вечера, — повторил Флетч.
- Франсина проводила его в прихожую.
- Жаль, что должна уходить. Вы разожгли мое любопытство. Уверена, что совместными усилиями мы сможем во всем разобраться.
- В вестибюле компанию швейцару составлял седовласый пятидесятилетний мужчина в строгом сером костюме.

Глава 26

В пятницу утром, без четверти восемь, Флетч стоял под дождем напротив дома Франсины Бредли в Ист-Сайде, на другой стороне улицы. Дождевик, шляпу и темные очки он купил прошлым вечером, на Таймс-сква. Из кармана плаща торчал номер «Нью-Йорк пост». Оделся он так для того, чтобы привлекать к себе минимум внимания.

Флетч ожидал, что Франсина Бредли выйдет из подъезда, но, к его удивлению, десять минут девятого она выскочила из остановившегося у дома такси и нырнула в подъезд. В коротком плаще и высоких сапогах.

На улицу она вышла в двадцать минут десятого, в другом плаще, подлиннее, из-под которого выглядывала темная юбка. По ее просьбе швейцар начал ловить такси.

Тем же занялся и Флетч, на своей стороне улицы, и преуспел в этом больше швейцара.

— Развернитесь и остановитесь у тротуара, — распорядился он, забираясь в кабину.

Водитель в точности выполнил полученные указания.

— Видите женщину, которая хочет поймать такси?

— Да.

— Я хочу знать, куда она поедет.

Водитель посмотрел на него в зеркало заднего обзора.

— Это что, новый вид извращений?

— Департамент налогов и сборов, — сурово представился Флетч.

— Подонок, — пробурчал водитель. — Лучше б ты был извращенцем.

Они последовали за такси, на котором в конце концов уехали Франсина. В центре города такси остановилось у «Беннетт Бавк Билдинг».

— Видите? — ухмыльнулся Флетч. — Дама привела меня к своим деньгам.

— Жаль, что я не могу взять с вас больше. — Водитель посмотрел на счетчик. — Я тоже плачу налоги, знаете ли. А те, кто

работает в департаменте налогов и сборов, дают чаевые или нет?

— Да, конечно. И записываем в соответствующую графу сумму, дату, место, чтобы проверить, будут ли они указаны в налоговой декларации.

Водитель обернулся.

— Не нужны мне ваши паршивые чаевые. Выметайтесь из моей машины!

— Как скажете.

— Держите! — Водитель сунул Флетчу сдачу. — Везде эти госслужащие. Мало, что на улицах полно полиции, так они теперь норовят залезть на заднее сиденье.

— У меня получается, что вы недодали мне десятицентовик. Или у вас совсем не осталось мелочи?

— Вон из кабины!

Флетч погулял несколько минут по улице, прежде чем войти в «Беннетт Банк Билдинг». В перечне фирм, арендующих помещения в этом административном здании, значилась компания «Бредли и К°. Инвестиции».

К «Беннетт Банк Билдинг» Флетч вернулся в полдень и проследовал за Франсиной Бредли в ресторан Уэйна. Ее сопровождал мужчина лет двадцати, который нес «дипломат». В поношенном костюме, нечищенных ботинках, без плаща, но «дипломат» был новенький. В ресторане они провели пятьдесят минут. Флетч проводил их до «Беннетт Банк Билдинг», еще с час слонялся по вестибюлю. За это время молодой человек не покидал административного здания.

Вновь Флетч появился у «Беннетт Банк Билдинг» около пяти часов. Десять минут шестого из подъезда вышла Франсина и тут же поймала такси. Еще через четверть часа в дверях мелькнул уже знакомый Флетчу молодой человек. В отличие от Франсины он обошелся без такси и зашагал по улице.

Следом за ним Флетч спустился на станцию подземки и уже на платформе подошел к нему.

— Простите, пожалуйста, не вас ли я видел сегодня в ресторане Уэйна с Франсиной?

Молодой человек, поначалу весь подобранный, улыбнулся.

— Вы знаете мисс Бредли?

— Конечно. Она консультировала меня насчет инвестиций. Умнейшая женщина.

— Да, — энергично кивнул молодой человек. — Мне чертовски повезло. Такого образования не получишь ни в одном университете.

— Ее брат также доверяет ей свои деньги, не так ли? Именно Том направил меня к ней.

— Да, мы ведем дела «Бредли фэмили компани». Главным образом «Уэгнолл-Фипс». Конечно, деньги там небольшие. Не миллиарды. Но она знает, как их приумножить.

— А почему Том не занимается этим сам?

Молодой человек изумленно глянул на Флетча, замаялся, прежде чем ответить.

— Разве вы не знаете? Ее брат умер. Год назад.

— Я этого не знал! Жалость-то какая. Действительно, давненько я не видел Тома. А вы давно работаете у Франсины?

— Семь месяцев. Я многому у нее научился.

Молодой человек знаком предложил Флетчу войти в вагон подошедшего поезда.

— Это не мой, — покачал головой Флетч.

— Тут только один маршрут.

— Подожду следующего, где будет поменьше народа. — Флетч вроде бы и не заметил, что вагон практически пуст.

Поезд тронулся, а молодой человек все смотрел на Флетча в окно. По его растерянному лицу чувствовалось, что причина появления Флетча на платформе осталась для него загадкой.

В восемь вечера Флетч вошел в зал ресторана «У Клер». Франсина Бредли уже сидела за столиком на двоих у дальней стены. На столике горела свеча.

Глава 27

— Я думаю, что Том, ваш племянник, попал в беду, — начал Флетч после того, как они заказали коктейли. — Я видел его в прошлое воскресенье.

На лице Франсины отразилась озабоченность. Искренняя озабоченность. У Флетча сложилось впечатление, что Франсина не из тех незамужних тетюшек, которые проявляют к семье брата лишь формальный интерес. И в то же время он понимал, что ей известно далеко не все, хотя бы в силу территориальной удаленности.

— Что вы имеете в виду? — В ее голосе послышался страх. — Как я понимаю, Том заканчивает медицинский колледж, и дела у него идут неплохо.

— Не совсем. Он использует знания, полученные на лекциях по химии, чтобы отключиться от реальности.

— Наркотики? Том наркоман?

— Похоже на то. С прошлой осени не ходит на лекции. Его сосед по комнате в общежитии проводил меня к ванне, где Том лежит в забытьи днями и ночами. Сосед не знает, что с ним делать.

— О, нет! Только не Том!

— Я обещал, что попытаюсь ему помочь... Это еще одна из причин моего приезда сюда. Конечно, он не понимает, где умер его отец, в реальном мире или наркотических фантазиях.

— А что он говорит о смерти отца?

— Полагает, что ваш брат покончил с собой. Винит за это вашего брата. В общем, это естественно, что молодые сердятся на родителей, если те умирают, оставляя их одних. Иногда молодые винят в смерти родителей себя.

— Вы снова вживаетесь в роль психоаналитика, мистер Флетчер.

— Обычно меня зовут Флетч. И я не вживаюсь в роль психоаналитика. Просто попал в невероятную ситуацию, как, впрочем, и вы, и стараюсь осознать, что к чему.

— Я ни в какую ситуацию не попала.

— Как бы не так, — покачал головой Флетч. — Основная масса денег, которую вы инвестируете через вашу маленькую компанию в «Беннетт Банк Билдинг», поступила от вашего брата. — Ее глаза мгновенно сузились. — Я проверил, перерегистрирована ли принадлежащая ему собственность. Оказалось, что нет. И, подозреваю, вы с Энид пытаетесь уклониться от уплаты определенных законом налогов. Сама Энид Бредли говорила мне, что вы намереваетесь перебраться в Калифорнию и взять на себя руководство «Уэгнолл-Фиппс». И только очень близорукий человек мог не заметить, что вы визировали служебные записки инициалами своего брата.

Официант принес коктейли.

— Вы, похоже, очень расстроены, Флетч. — Франсина поднесла бокал к губам. — Вас не затруднит называть меня Франсиной?

— Отнюдь.

— Даже не знаю, что и сказать. Вы приехали из Калифорнии... Столько информации, столько вопросов... И Том...

— Ему нужна помощь. Срочно. Нельзя терять ни минуты...

— Я даже представить себе не могла...

— Вероятно, он умеет задурить матери голову. Надевает костюм, приходит домой, говорит, что с учебой все в порядке, получает деньги, а затем устраивается в ванне с шестью пачками таблеток.

В свете свечи на глазах Франсины блеснули слезы.

— Заверяю вас, меры будут приняты... незамедлительно. В самое ближайшее время. Благодарю, что поставили меня в известность.

— Между прочим, Та-та, ваша племянница, тревожит меня ничуть не меньше. Сосед Тома охарактеризовал ее, как заводную игрушку. Она не живет, а существует, отгородившись от мира в общежитии для девушек. Я понимаю, у них год назад умер отец, но они оба до сих пор не могут прийти в себя.

— Когда я перееду туда... — Франсина не закончила фразы. — Возможности Энид не безграничны.

— Когда вы перебираетесь в Калифорнию?

— К сожалению, через несколько месяцев, не раньше. Нужно закончить кое-какие дела.

— Вы возглавите «Уэгнолл-Фиппс»?

— Том этого хотел. Энид этого хочет. Я продала свою фирму, маленькую фирму.

Флетч отпил из бокала, посмотрел на Франсину.

— Вы можете ответить на вопросы, которые я только что задал вам?

— Насчет того, что я и Энид уклоняемся от уплаты налогов?

— Да, для начала.

— Пока мне сказать нечего. Возможно, Энид не все сделала, как полагается. Скорее всего так оно и есть. Энид не Чарлз Блейн. У нее нет подготовки, нет опыта. Бизнесом занимался Том, ей известно лишь то, чем он с ней делился. Она могла что-то напутать, но я уверена, что сознательно она никогда бы не пошла на обман налогового ведомства.

— Вы расписывались за Тома Бредли на служебных записках? — продолжил допрос Флетч.

— Я консультирую Энид по телефону. Практически ежедневно. Вижу, вы уделите много времени подготовке к нашему разговору. Знаете, что моя контора в «Беннетт Банк Билдинг», вам известно, чем я там занимаюсь. Можете проверить наши счета за телефонные разговоры. Мой и Энид. Цифры произведут на вас впечатление.

— Объяснения случившемуся пока нет.

— Давайте-ка выпьем еще по коктейлю, пообедаем, а потом вернемся ко мне. Там и поговорим. Вам никто не говорил, что вы очень симпатичный молодой человек?

— Только сотрудник таможенной службы Соединенных Штатов Америки.

Франсина накрыла его руку своей.

— Не волнуйтесь. Я не из тех женщин среднего возраста, что так и норовят залезть в брюки молодым парням. И не собираюсь совращать вас. — Она убрала руку, взяла со столика меню. — Здесь отлично готовят утку.

— Давайте вернемся к самому началу.

В квартиру Франсины они вернулись в четверть двенадцатого. В ресторане выпили по три коктейля, съели обед из четырех блюд, запив их двумя бутылками вина. К кофе Флетч заказал бренди, а Франсина — ликер. В промежутках между блюдами она рассказывала длинные истории с неизменно фривольным, хотя и не без юмора, концом.

В квартире Флетч бросил на диван пиджак, уселся сам. Ослабил узел галстука, откинул голову на спинку.

— Как скажете, — тихо ответила Франсина.

Она притушила лампы, включила стереосистему. По комнате поплыли звуки скрипичного концерта.

— Я только поставлю кофе.

Флетч вслушивался в скрипичную музыку. Почему-то она ассоциировалась у него с полногрудой девушкой, в которой впервые проснулась страсть. Он услышал шелест платья Франсины, вернувшейся в гостиную.

— Так о чем вы хотите спросить?

— Кто сказал вам, что ваш брат умер?

— Энид. Она позвонила мне в контору. Ужасно расстроенная. Плакала. Не могла собраться с мыслями. Я перезвонила ей через час. Из дома. Мы проговорили всю ночь.

— И обе решили, что незачем немедленно лететь в Швейцарию?

— Это мы решили на следующее утро. Честно говоря, вечером, после этого трагического известия, мы были не в состоянии что-то решать. А к утру, когда немного пришли в себя, со смерти Тома прошло уже два дня. Еще два ушло бы на то, чтобы добраться до Швейцарии. Все-таки она живет в Калифорнии, я — в Нью-Йорке, и мы обе работаем. Так что мы никуда не полетели, а Энид телеграммой разрешила кремацию.

— Ясно. А потом вы, как обычно, продолжали консультировать

Энид по телефону. Практически каждый день.

— Да.

— Но в ноябре вы обе полетели в Швейцарию?

— Да.

— Вместе?

— Да. Энид приехала в Нью-Йорк, остановилась у меня, а на следующий день мы улетели вместе.

— И что вы сделали, прибыв туда?

— Взяли напрокат автомобиль. Сняли номер в отеле. Отдохнули. Днем позже Энид забрала прах Тома в похоронном бюро. Затем мы заказали мемориальную службу в местной церкви. С этим у нас возникли некоторые сложности. Теперь-то я понимаю, что следовало обратиться за помощью в посольство, но тогда мы до этого не додумались. Служба была во вторник. Присутствовали Энид, я и священник. Он говорил по-английски. Энид принесла с собой урну, и во время службы она стояла на маленьком столике, на алтаре, куда поставил ее священник.

— А потом с прахом Тома вы и Энид возвратились в Нью-Йорк?

На кухне засвистел вскипевший чайник.

— Да, — кивнула Франсина. — Отсюда Энид улетела в Калифорнию.

— А почему вы отправились в Швейцарию без детей?

— Без Тома и Та-та?

— Да.

— В тот момент Энид только начала обретать душевное равновесие. Ей не хотелось вновь беречь рану. Не забывайте, после смерти Тома прошло лишь шесть месяцев. — Франсина поднялась. — Позвольте принести вам кофе.

Когда она вернулась, Флетч сидел, наклонившись вперед, упев локти в колени. В отсутствие Франсины он прошелся по комнате. Ему показалось, что мозаика на столике у окна несколько изменилась, приняла более законченный вид. Прежде чем вновь сесть на диван, он окинул взглядом крыши и светящиеся окна соседних домов. Франсина поставила перед ним чашечку кофе, а со своей уселась в кресло.

— Франсина, — Флетч помешал кофе ложечкой. — Я думаю, что Энид убила вашего брата.

Франсина едва не пролила кофе на себя.

— О Боже! — воскликнула она. — Что вы такое говорите?

— Я думаю, что ваша милая неумеха-сноха весьма ловко обставила все так, что вы поверили в смерть брата в далекой Швейцарии.

Франсина шумно глотнула. Раз, другой.

— Знаете, Флетч, это уже чересчур. Нельзя так пугать людей.

— Извините. Но у меня есть доказательства.

— Убийства? — пронзительно вскрикнула Франсина.

— Убийства, — кивнул Флетч. — Я не хотел представлять вам эти доказательства, прежде чем... не познакомился с вами поближе, пока не убедился...

— Не убедился в том, что это доказательства, или в том, что я смогу их воспринять?

— Нет, насчет доказательств уверенность у меня полная.
— Хорошо, Флетчер.— Франсина выпрямилась в кресле и поставила блюдечко на колени.— Что это за доказательства?

— Зола в урне не прах вашего брата.

— Не прах... Не прах моего брата?

— Нет. К вашему брату она не имеет никакого отношения.

— Да как вы можете это утверждать?

— В субботу ночью, вернее, рано утром в воскресенье, я проник в дом Энид в Саутпорте и взял щепотку золы из металлической пакатунки или урны. Предыдущим днем Энид показала ее мне, заявив, что в ней покоится прах вашего брата.

— Вы проникли в дом моего брата?

— Дверь оставили незапертой. Мне сделали анализ золы.

— Вы украли прах моего брата? — Она вновь шумно глотнула.

— В том-то и дело, что нет. То был не прах вашего брата. И вообще не прах. Просто зола.

— Что? Разве можно отличить прах одного человека от праха другого? В похоронном бюро могли перепутать урны. Так ли необходимо говорить нам об этом?

— В том-то и дело, Франсина, что в урне была не человеческая зола. Так что ни о какой путанице в похоронном бюро не может быть и речи. А вот Энид утверждает, что прах человеческий. Как надо это понимать?

— Тогда чей же там прах?

— Ковра, — ответил Флетч. — Ковра из натуральной шерсти. Немного древесной золы, песок, продукт переработки нефти, скорее всего керосин.

Франсина с такой силой шмякнула блюдечко о кофейный столик, что оно треснуло, а чашка перевернулась.

— С меня довольно!

— Франсина, вы только что говорили, что прилетели в Швейцарию вдвоем, а урну из похоронного бюро Энид забирала одна. Вы с ней не ходили. Она принесла урну в отель и сказала вам, что в ней прах Тома. На самом деле Энид привезла в Швейцарию из Соединенных Штатов прах персидского ковра.

Даже в полумраке гостиной Флетч заметил, как побледнела Франсина. Скрипичная музыка, все еще струящаяся из динамиков стереосистемы, резала слух.

— Послушайте, Франсина. — Флетч наклонился к ней. — Энид сказала вам, что ваш брат умер. Ее слова — единственное доказательство его смерти. По ее настоянию вы не улетели в Швейцарию, получив это трагическое известие. Она убедила вас, что смерть Тома, преданная гласности, приведет к банкротству «Уэгнолл-Финпис». Вы ждали шесть месяцев. Тела вашего брата вы не видели. Из того, что вы рассказали о вашей поездке в Швейцарию, следует, что вы не разговаривали ни с лечащим врачом Тома, ни с хозяином похоронного бюро. Посольство Соединенных Штатов в Швейцарии утверждает, что ни один американский гражданин с именем Томас и фамилией Бредли не умирал в Швейцарии в последнее время. Прах в урне, что красуется на каминной доске в доме вашего брата, никоим боком с ним не связан.

Флетч ждал. Франсина молчала. Тогда он взял ее за руку.

— Послушайте, Франсина, этот брак не был счастливым. Я разговаривал с их соседом в Саутуорте. Он не походил на сплетника, но знал достаточно много. Из дома вашего брата по ночам часто доносились крики Энид, хлопанье дверей, звон бьющейся посуды. Причем случалось это не время от времени, а постоянно. Когда родители начинали скандалить, дети предпочитали садиться в машины и уезжать из дома.

— Это невозможно.

— Я даже не знаю, был ли ваш брат тяжело болен. Может, вы знаете?

— Был.

— Энид могла прийти к выводу, что прекрасно без него обойдется, тем более что вы никогда не откажете в деловом совете.

— Вы думаете, что Энид убила Тома? — В глазах Франсины стоял ужас. Она отдернула руку.

— А как иначе истолковать приведенные мной факты?

— Нечего их толковать. — Франсина встала, пересекла гостиную, открыла дверь стенового шкафа и нажала клавишу. Музыка прекратилась. Затем изменила положение реостата, и лампы торшера ярко вспыхнули.

— Я думаю, что сыта по горло вашими инсинуациями, Ирвин Флетчер.

— Инсинуациями?

Стоя у торшера, в смявшемся платье, со встрепанными волосами, Франсина впервые показалась Флетчеру маленькой, легко ранимой.

— Вы оскорбили меня и Энид. Безо всякой на то причины.

— А мне думается, что представленные мной доказательства — куда как веская причина.

— Никакие это не доказательства, Флетчер. Вы лишь стараетесь спасти свою работу. Это же ясно, как божий день. Я не уверена, что вы все выдумали сами, но в том, что вы подтасовываете факты, сомнений у меня нет. Если вы не понимаете этого сейчас, то поймете, дожив до моих лет. Да, какие-то несуразности есть, но ваше толкование далеко от истины. Служебные записки датировались не тем числом или ошибочно подписывались не теми инициалами, чиновники затеряли запись о смерти...

— Ковровая зола в похоронной урне?

— О Боже! Да, мы полетели в Швейцарию через шесть месяцев после смерти Тома! Мало ли куда мог задеваться его прах в тамошнем похоронном бюро? Они же не думали, что вы отправите прах, который они передали Энид, на анализ.

— Подозреваю, они насыпали бы в урну человеческий прах, благо в крематории его хватает, если уж источник подмены — похоронное бюро. У каждого есть профессиональная гордость. Профессионал никогда не стал бы жечь персидский ковер, чтобы наполнить урну золой.

Франсина повернулась к нему боком.

— Флетчер, с меня довольно. Во всяком случае, на сегодня. Я понимаю, какой-то инцидент, имевший место в компании моего

брата, привел к тому, что вы потеряли работу, а Чарлз Блейн наговорил вам всяких глупостей. Я пыталась идти вам навстречу, отвечала на все ваши вопросы. — Хотя Франсина стояла спиной к торшеру, Флетч видел, что она плачет. — И я ценю ваше участие в судьбе Тома-младшего и Та-та. Я верю, что в отношении их вы сказали правду. Но когда вы начинаете утверждать, что Энид убила Тома! Подобной галиматии мне еще слышать не доводилось. Это уж слишком... Безумие!

Флетч поднялся, подхватил пиджак.

— Вы хоть обдумаете мои слова?

Она посмотрела на него мокрыми от слез глазами.

— Как, по-вашему, могу я теперь думать о чем-то еще?

— И все-таки обдумайте. Вы недооценивали другую женщину, Франсина. А напрасно.

Она открыла дверь.

— Спокойной ночи, Флетчер. — В покрасневших глазах стояла мольба. — Есть ли смысл просить вас уйти и более нас не беспокоить?

Флетч поцеловал Франсину в щеку.

— Спокойной ночи, Франсина. Благодарю за обед.

Глава 28

— Доброе утро, Мокси. Я тебя разбудил?

— Конечно, разбудил. Кто это?

— Твой лендлорд. Твой банкир.

— Слушай, Флетч, сегодня же суббота. На репетицию мне только к двум часам.

— По калифорнийскому времени или по нью-йоркскому?

— Ты все еще в Нью-Йорке?

— Да, и через несколько минут улетаю в Техас.

— А зачем тебя понесло в Техас?

— Я ищу покойника, дорогая. И пока безо всякого результата.

— Томас Бредли умер и прячется в Нью-Йорке?

— Похоже, что нет. Несмотря на все мои усилия, его сестра не показала мне своего брата или хотя бы то, что от него осталось.

— А что она сказала?

— Мой рассказ вроде бы очень ее расстроил. Дама она умная, хладнокровная, деятельная. И должна понимать, что рано или поздно я выложу все, что мне известно, властям. Я уверен, что она найдет своего брата... если это возможно.

— Слушай, Флетч, у меня идея. А может, Томас Бредли умер независимо от твоей статьи в «Ньюс-Трибюн»? Такого ты не предполагаешь?

— Я начинаю верить своим гипотезам.

— О, нет.

— О, да.

— До сей поры, дорогой Флетч, твои гипотезы стоили не больше улыбки борцов перед началом схватки.

— Метод проб и ошибок, проб и ошибок.

— А что ты намерен найти в Техасе?

— Все, если ты спросишь коренного техасца. Там корни семейства Бредли. Если ищешь человека, живого или мертвого, надо начинать с его родного дома.

— Только не в наши дни. Домов теперь нет, есть места, где мы живем. И главное в том, Флетч, что конкретного плана действий у тебя нет.

— Абсолютно верно.

— Ты мотаешься из Мексики в Нью-Йорк, оттуда — в Техас и еще Бог знает куда только потому, что в восхищении собой не можешь поверить в совершенную глупость, суть которой — публичное цитирование покойника.

— Твой монолог, Мокси, меня не вдохновляет.

— На это я и рассчитывала. И ты не мотался бы по стране, если б не получил наследство от некоего Джеймса Сейнта Э. Крэндолла и, позволь добавить, мое разрешение на его использование.

— И это правда.

— Как же я сглушила.

— Надеюсь, ты в этом раскаиваешься.

— Я не раскаиваюсь. В постели одной холодно. Это совсем другое чувство.

— Тебе следовало бы быть рядом со мной, в теплом номере нью-йоркского отеля. Тут центральное отопление, везде зеркала.

— Я рада, что тебе хорошо отдыхается. Кстати, ты потерял и другую работу.

— У меня ее не было.

— Была. Или ты забыл? Главная роль в пьесе «В любви».

— Я потерял и эту работу? О, горе мне! Горе!

— Сама выгнали. Его заменил Рик Кесуэлл. Такой красавец.

— Я очень рад.

— Он прекрасно сложен, с длинными ресницами, и очень пластичен.

— И с ляжками у него все в порядке?

— Что? Да, конечно. Он прилетел из Небраски. Настоящий красавец.

— Кажется, ты это уже говорила.

— Правда? Извини. Он красавец.

— О-хо-хо.

— Правда.

— Я тебя понял. Послушай, Мокси...

— Можно мне еще немного поспать? Я думала, что звонит твоя бывшая жена, потому и взяла трубку. Так хотелось в очередной раз наврать ей с три короба.

— Не хочешь ли поработать для меня лопатой?

— Ради этого Бредли?

— Я понимаю, ты мне не веришь. И списываешь все на мою некомпетентность и глупость...

— У меня практически нет времени, Флетч. Премьера через...

— Мне нужно от тебя совсем немного.

— Все что угодно, дорогой. Приказывай, мой лендлорд и банкир.

— Не могла бы ты подобрать команду, сойдут и артисты из

театра, чтобы перекопать огород Энид Бредли? С девяти утра до пяти дня она обычно на работе.

— Что?

— Можешь сказать им, что ты ищешь клад.

— Как это, перекопать?

— Если взять с собой не одну, а несколько лопат, вы легко управитесь за восемь часов.

— Ты хочешь, чтобы мы помогли Энид Бредли вскопать огород?

— Нет, нет. Ты не поняла. Я кое-что ищу.

— Что именно?

— То, что и всегда: Томаса Бредли.

— Флетч, ты шутишь?

— Я думаю, что Энид Бредли закопала мужа на огороде.

— Флетч!

— Да?

— Ты совсем не думаешь.

— В каком смысле?

— Обнаружив Томаса Бредли под грядкой с салатом, ты докажешь, что он умер.

— Да, пожалуй, сомнений в этом не будет.

— А если будет доказано, что Томас Бредли умер, твоя карьера окончательно рухнет.

— Мне приходила в голову подобная мысль.

— Тогда почему же ты выпрыгиваешь из штанов в стремлении найти тело?

— Причин две. Первая — для удовлетворения собственного любопытства.

— Дорого же тебе обходится любопытство. Вторая причина не менее весома?

— Естественно, это же материал для блестящей статьи.

— Флетчер...

— Ты это сделаешь?

— Нет.

— Вам всем надо поразмяться. Особенно этому Рику.

— Рику физические упражнения ни к чему. Он...

— Я знаю.

— ...прекрасен.

— Мокси, ты находишь самые глупейшие предлоги, лишь бы отвертеться от того, о чем тебя просят.

— А ты просто не можешь смириться с тем, что тебя уволили. Пора забыть об этой истории.

— Я чувствую, здесь что-то есть. Я же репортер. Покопайся в огороде, Мокси. Пожалуйста!

— Прощай, Флетч. Я засыпаю.

— Мокси?.. Мокси?.. Мокси?..

Глава 29

Такси остановилось у здания Бюро регистраций рождений и смертей Далласа. Водитель опустил стекло.

— Гранчестер-стрит, дом триста сорок девять, — назвал адрес Флетч.

— А зачем вам туда? — Выражение лица водителя ясно говорило о том, что он невысоко ценит умственные способности пассажира. Ибо сам никогда не поехал бы по названному адресу.

— А почему бы мне не поехать туда?

— Кого-нибудь ищете?

— Можно сказать, что да.

— Никого вы там не найдете.

— Я уже начинаю свыкаться с этой мыслью.

— Уверен, что там нет ничего, кроме большого котлована.

— Большого?..

— Хотя этот дом, может, и уцелел. Какой номер?

— Триста сорок девять.

— Вполне возможно. По вам видно, что вы можете позволить себе поездку на такси.

Под одеждой Флетч обливался потом в сухом, жарком воздухе Техаса. Сев на заднее сиденье и захлопнув дверцу, он услышал мерное гудение кондиционера. Водитель тронул машину с места и влился в транспортный поток. Он поднял стекло, отделяющее его от пассажира, и в салоне стало еще прохладнее.

— Там нет ничего, кроме большого котлована, — повторил водитель.

В понедельник, в девять утра, Флетч вошел в Бюро регистраций рождений и смертей в центре Далласа. Худенькая, седовласая женщина встретила его, как родного, и не только приняла его просьбу близко к сердцу, но налила кофе, сунула в руку пирожок и лишь после этого скрылась среди длинных полок. Вскоре она возвратилась с толстой, покрытой пылью регистрационной книгой, испачкавшей ее белоснежную блузку. Назвала дату рождения и место (городская больница Далласа) рождения Томаса Бредли, имена и фамилии родителей (Люси Джейн, урожденная Макнамара, и Джон Джозеф Бредли) и адрес их дома (349, Гранчестер-стрит).

— Говорю вам, там один большой котлован, поэтому не сердитесь, что я завез вас туда.

— Сердиться не буду, — заверил водителя Флетч.

— Если, конечно, вы не по строительной части.

— По какой части?

— Будь вы по строительной части, я бы ничего вам не сказал. Но на строителя вы не похожи.

— Это точно, — согласился Флетч.

Водитель повернул направо, снова направо, следуя указанному стрелкой направлению под табличкой «Гранчестер-стрит».

Вместо улицы они попали на огромную строительную площадку, протянувшуюся по обеим ее сторонам и отделенную проволочным забором. Бульдозер мирно дремал между мусорных холмов. Рабочих Флетч не заметил. Место домов и деревьев занял глубокий котлован. Новых домов строить еще не начали.

— Реконструкция городских кварталов, — пояснил водитель. — Я же говорил вам — один котлован.

— Понятно. Все переехали.

— Никого тут нет, — подтвердил водитель. — Кого бы вы ни искали.

— Похоже на то.

— Даже не у кого спросить.

— Сам вижу.

— В Далласе большое строительство.

— И вы этим гордитесь, не так ли? — Флетч назвал водителю адрес отеля, в котором провел ночь с воскресенья на понедельник.

— Франсина?

Вернувшись в отель, Флетч принял душ, надел плавки, поплавал в бассейне. Теперь он сидел на кровати, думая, в чем же выходить на улицу.

— Да, мистер Флетчер, то есть Флетч. — В голосе Франсины чувствовалась усталость.

— Появились новые мысли?

— Насчет чего?

— Насчет того, о чем мы говорили в пятницу вечером.

— Я понимаю, что вы обижены, Флетч. Из-за путаницы, возникшей в «Уэгнолл-Фиппс», вы потеряли работу. Загублена ваша профессиональная карьера. Я собираюсь поговорить с Энид о компенсации причиненного вам ущерба.

— Какой компенсации?

— Финансовой. Ошибся Чарльз Блейн или кто-то из его подчиненных, или все дело в том, что мы с Энид решили сообщить о смерти Тома лишь через шесть месяцев после его кончины, результат один: поймали-то вас. И вина в этом частично лежит на нас, вернее, на «Уэгнолл-Фиппс». Вы пострадали из-за нас. Потому-то вас и посещают безумные идеи.

Она говорила так тихо, что Флетч с трудом разбирал слова, хотя изо всех сил прижимал трубку к уху.

— Я порекомендую Энид выплатить вам компенсацию. Скажем, полугодовое жалование. Сумму, достаточную для того, чтобы слетать на отдых в Европу и обдумать, как жить дальше.

— Как вы добры.

— Видите ли, я чувствую, что мы обязаны это сделать. Путаница возникла в результате того, что мы хотели укрепить авторитет Энид в кампании, помочь ей примириться со смертью мужа. Но вы-то не должны страдать.

— Франсина, где вы родились?

Ответила она после долгой паузы.

— Мой отец, как вы знаете, был инженером. Я родилась на стройке.

— Где именно?

— В Джуно, на Аляске.

— Понятно.

— Флетч, почему вы не хотите, чтобы я поговорила об этом с Энид?

— Я вижу, что вы не удостоили внимания представленные мной доказательства, Франсина.

— Как раз наоборот. И я нашла очень простые объяснения, на удивление очевидные. Только об одном я не смогу сказать Энид.

Насчет того, что в швейцарском похоронном бюро ей насыпали в урну золу сгоревшего ковра. Это ужасно. Надеюсь, она не узнает об этом и от вас.

Флетч улыбнулся, разглядывая пальцы ног.

— Вы позволите мне еще раз заехать к вам? — спросил он.

— Конечно. В конце недели?

— Вечером в четверг.

— Договорились. Жду вас у себя. К тому времени я обо всем переговорю с Энид и буду знать ее мнение. Полагаю, она согласится со мной. Путешествие в Европу пойдет вам на пользу. Поможет вам восстановить душевное равновесие.

— Я буду у вас в четверг.

Флетч положил трубку. Наклонился над чемоданом и достал свитер.

В четверг, еще до рассвета, Флетч стоял напротив дома Франсины Бредли в Нью-Йорке. Несмотря на теплую ночь, он был в плаще и шляпе. И в очках.

Без четверти шесть у дома Франсины остановилось такси. Она вышла из подъезда, в коротком плаще и высоких сапогах, и села в машину.

Такси уже проехало несколько кварталов, прежде чем Флетчу удалось поймать другую машину. Автомобилей было немного, а потому настигли они Франсину достаточно быстро. Флетч сказал водителю, что хочет догнать жену, забывшую бумажник.

Они пересекли Центральный парк и повернули на север.

Франсина вышла из машины на углу 89-й улицы.

Остановил машину и Флетч. Расплатился, медленно зашагал к углу. Поворачивая, он увидел, как Франсина нырнула в переулок посередине квартала.

Проходя мимо переулка, Флетч бросил в него короткий взгляд. Его ждал очередной нью-йоркский сюрприз: вымощенный брусчаткой двор и шесть стойл, в каждом из которых стояла лошадь. По углам двора лежали тюки сена. Три конюха занимались повседневными делами. Четвертый помогал Франсине сесть на серую, в яблоках, кобылу.

Флетч пошел дальше. Обернулся, услышав цоканье подков по асфальту.

Франсина, верхом на лошади, выехала из переулка и направилась в парк. Плащ она оставила в конюшне.

Глава 30

— Привет, — поздоровалась она, открывая ему дверь квартиры 21М.

Флетч смотрел на груди Франсины.

В подъезд он вошел в начале седьмого, и швейцар сказал, что его ждут. Открыл дверь лифта, добавив, что сам позвонит мисс Бредли, чтобы предупредить о прибытии Флетча.

— Привет.

Франсина заново подкрасилась. Надела жемчужное ожерелье,

гармонирующее с серым вечерним платьем. Глубокий вырез обнажал значительную часть не очень больших, но упругих грудей Франсины. Исходя из размеров выреза, Флетч предположил, что Франсина гордится своей грудью и не стесняется выставить ее напоказ.

— Вы выглядите уставшим, — посочувствовала Франсина, закрывая за ним дверь. — Чтобы выдержать темп нью-йоркской жизни, апельсинового сока с овсянкой явно недостаточно.

— Я осматривал окраины, — ответил Флетч.

Она провела Флетча в гостиную и остановилась у бара. Флетч проследовал к окну, посмотрел вниз.

— Налить вам что-нибудь?

— Пока не надо.

— Тогда и я воздержусь.

Франсина села на диван.

— Вы, похоже, действительно устали. — Она поправила подушку. — И немного взволнованы.

— Нет, — ответил Флетч. — Я не взволнован.

— Осмелюсь предположить, вам не терпится узнать о нашем решении.

— Каком решении?

— Я два или три раза говорила с Энид. Разумеется, я не рассказала ей о ваших безумных предположениях. Лишь о том, что вы заглянули ко мне, очень расстроенный. Мы сходили в ресторан, я вас выслушала. И пришла к выводу, что вы потеряли работу в основном из-за нашего с ней решения никому не говорить о смерти Тома до тех пор, пока она, Энид, не освоится в «Уэгнолл-Фишпс». Хотя непосредственный виновник, разумеется, Чарлз Блейн, с его идиотскими фантазиями. Я даже сказала Энид, что теперь вас не возьмут ни в какую другую газету. Так оно и есть?

— В общих чертах, да.

— Она подтвердила, что вы заезжали в Саутуортскую школу и виделись с Робертой. Та выразила ей свое недовольство по поводу вашего визита. Насчет того, что вы были у Тома, она не знала. Я сказала, что вы заезжали к обоим, чтобы извиниться. Это так?

— В определенной степени.

— Энид в конце концов поняла, что вы вправе винить нас за происшедшее. И согласилась, что мы должны вам помочь. Материально. Разумеется, мы не знаем, сколько зарабатывает журналист, но подумали, что вам потребуется добрых полгода, чтобы вновь обрести вкус к жизни, найти новые интересы, новую профессию. Успокоиться и избавиться от этой навязчивой идеи. Возможно, путешествие очень вам поможет. Вы также можете использовать полученные от нас деньги на обучение в институте. — Франсина глубоко вздохнула. — И я вам очень благодарна, что вы раскрыли мне глаза на Тома. Мы понятия не имели, что с ним происходит. Энид полетела в общежитие и выяснила, что вы сказали правду. Она нашла его в ванне. Лежал, наглотавшись таблеток и отключившись от реальности. Энид тут же переправила его в закрытую клинику. Специалисты помогут ему избавиться от вредной привычки. На это потребуется время, но с ним все будет в порядке. Так что за Тома мы у вас в неоплатном долгу,

Флетч. Короче, мы с Энид решили заглазить свою вину и выдать вам полугодовое жалованье, — радостно возвестила Франсина. — Проведем выплату через «Уэгнолл-Финнс», так что на нашем благосостоянии эти расходы не отразятся. Делайте с этими деньгами, что хотите, поезжайте, куда хотите. Дайте себе шанс начать новую жизнь.

— Нет.

— Что?!

Флетч по-прежнему смотрел в окно.

— Нет.

Франсина на мгновение даже потеряла дар речи.

— Послушайте, разве не за этим вы пришли сначала к Энид, а затем ко мне? Вы же чувствовали, что мы перед вами в долгу? Будьте честны с самим собой. Разве вы не надеялись, что мы вас поймем и поможем выкарабкаться из той ямы, в которую вы угодили?

— Нет.

— А что вам не нравится? Мы предложили недостаточную сумму? Вы же рассчитываете на нашу финансовую помощь, не так ли?

— Нет. — В комнате повисла гнетущая тишина. — Наверное, Мелани ждет не дождется вашего перевоплощения.

Флетч повернулся достаточно быстро, чтобы увидеть ее дрогнувшие губы и мелькнувший в глазах испуг. Ибо секундой позже ее лицо выражало разве что тревогу за его психическое состояние.

— Что теперь у вас на уме?

— Мелани. Ваша лошадь. Ваша лошадь в Калифорнии. Ее же не продали.

— Что значит моя лошадь?

— Я понятия не имею, как такое возможно, но вы Том Бредли.

— Мой Бог! — ахнула Франсина. — Вы окончательно свихнулись.

Взгляд Флетча уперся в грудь Франсины.

— Возможно.

— Сначала вы заявили, что Энид убила Тома, теперь говорите, что Том — это я. — Она выдавила из себя смешок. — Похоже, за полгода вам не оклематься.

Флетч по-прежнему смотрел на Франсину.

— Должен признать, вы прекрасны.

— Энид не продала лошадь Тома, Мелани, или как там вы ее называли, потому что я — мой брат? Энид была занята, очень занята, знаете ли. Семейные дела, руководство крупной компанией. Да о лошади она и не вспоминала.

— Вы ездите верхом. Я видел это сегодня своими глазами. На Восемьдесят девятой улице.

— Да, я обожаю ездить верхом. И мой брат любил ездить верхом. Разве это означает, что я — мой брат?

— В тот вечер, когда мы обедали, в прошлую пятницу, вы все время рассказывали длинные, не очень смешные, но скабрезные истории.

— И что? Жаль, конечно, что вам не понравились мои истории. Я выпила. И думала, что они смешные.

— Длинные, похабные истории — конек Томаса Бредли. Об этом говорили мне Мабел Франскатти, Алекс Коркоран, Мэри и Чарлз Блейн.

— У нас с Томом было много общего. Все-таки брат и сестра. Флетч, вы сошли с ума?

— Брат... сестра. Вы — ваш брат.

— Я также мой дедушка.

— Дело в том, что у меня только один листок бумаги, а должно быть три. — Он достал из кармана свидетельство о рождении Томаса Бредли и положил на кофейный столик перед Франсиной. — Томас Бредли родился в Далласе, штат Техас.

Франсина кивнула.

— Благодарю вас. Мне это известно.

— В воскресенье я полетел в Даллас. Между прочим, все дома на вашей улице снесли.

Франсина пожала плечами.

— Значит, построят новые.

— Вы родились не в Далласе, штат Техас.

— Я же говорила вам, что родилась в Джуно, на Аляске.

— Во вторник я был в Джуно, штат Аляска. Вы родились не в Джуно.

Франсина молча смотрела на него.

— И Томас Бредли не умер в Швейцарии. — Флетч вернулся к окну, но продолжал наблюдать за Франсиной. — А потому вместо двух свидетельств о рождении и одного о смерти у меня только одно свидетельство о рождении. Ваше свидетельство. У Бредли был только один ребенок — сын, названный Томасом.

— Я родилась довольно далеко от Джуно, примерно в сотне миль...

— Вы совсем не рождались, Франсина.

Она вздохнула и отвернулась.

— О Боже!

— И Том Бредли не умирал.

— Вы слишком доверяете бумажкам, Флетчер. Бюрократы, клерки, секретари...

— И швейцарские похоронные бюро. Я верю швейцарским похоронным бюро. Вы писали эти служебные записки, Франсина, и подписывали их «Ти-би», возможно, даже не осознавая, что делаете. Не зря говорят, привычка — вторая натура. В мелочах мы постоянны при любых обстоятельствах. Подсознательно. — Он помолчал. — Так ведь?

— Нет.

— Франсина, пожалуйста, подойдите сюда.

Она напоминала испуганного ребенка.

— Пожалуйста, подойдите, — повторил Флетч.

Она встала и неохотно двинулась к нему.

— Посмотрите. — Он указал на низкий столик у окна.

Франсина посмотрела на лежащую на столике мозаику.

— Почти закончена, не так ли?

— Да.

— Когда я впервые попал в вашу квартиру, ее только начали складывать.

Рот Франсины чуть приоткрылся.

— Понятно.

— Хватит, Том. У меня нет ни малейшего желания усложнять кому-то жизнь. Я лишь спасаю собственную шкуру.

Франсина поднесла руку ко лбу, повернулась и направилась в прихожую. По пути наткнулась на кресло.

До Флетча донесся стук в дверь.

— Энид, — позвала Франсина. — Энид, пожалуйста, помоги мне.

Глава 31

— Флетч, вы верите в существование души?

— Душа нематериальна, — ответил он.

— Шутить изволите? — спросила Франсина.

— Естественно.

Энид нерешительно вошла в гостиную. Каждый шаг давался ей с трудом, словно она опасалась, что перед ней вот-вот развернется пропасть.

— Добрый вечер, миссис Бредли, — поздоровался Флетч.

На лице ее отражались тревога и волнение. Флетчу она не ответила.

Франсина последовала за ней более решительно, взяла Энид за руку, вместе они сели на диван.

Флетч ослабил узел галстука и плюхнулся в кресло.

— Извините. — Он вновь посмотрел на груди Франсины. — Я просто ничего не понимаю. — Глядя на них, он отметил, что Франсина ниже ростом. И на фотографии за его спиной Томас Бредли был ниже жены. — Но понять я должен. Должен спасти себя.

Обе женщины сидели, сложив руки на коленях. Энид — сгорбившись, Франсина — расправив плечи. Флетч вспомнил слова Мэри Блейн, сказанные за обедом в Пуэбло де Сан-Орландо: «У Энид такой вид, будто в следующее мгновение она ожидает чего-то ужасного. Вы понимаете, если кто-то и откроет рот, то лишь для того, чтобы рассказать какую-нибудь похабную историю». На что Чарлз добавил: «Ее муж так и делает. Делал».

— Флетч, вы знаете, кто такие транссексуалы? — спросила Франсина.

— Говорю вам, я не понимаю, что происходит. Хотя хотел бы понять.

— Мужчина может родиться в теле женщины, — объяснила Франсина. — Или женщина — в теле мужчины.

— Что определяет нас мужчиной или женщиной, как не наши тела? — удивился Флетч.

— Наши души, — возразила ему Франсина. — Используя вашу терминологию, существует нематериальное «я», независимое от «я» материального, то есть тела. Я была женщиной, рожденной в мужском теле. Я чувствовала себя женщиной с раннего детства, с двух или трех лет. Насколько себя помню, у меня всегда были женские желания. Я интересовалась женской одеждой. Смотрела на все с точки зрения женщины. Любила играть в куклы, устраи-

вать чаепития, причесываться. Помню, какое испытала потрясение, когда мой отец первый раз представил меня как своего сына, Тома. Я же была девочкой. Я знала, что я девочка. — Франсина поднялась, прошла к бару, наполнила три бокала виски с содовой. — В школу я ходила в Далласе. Носила брюки, футболки, играла в бейсбол. Неплохо, кстати, играла, за сборную школы. — Она улыбнулась. — Чуть не сказала, что могла бросать мяч с такой же силой, что и парни. Я назначала свидания девушкам, а в старшем классе меня выбрали казначеем. Я стала превосходной актрисой. В словах, в выражении лица я играла мужчину. Стопроцентного мужчину. Кстати, «прибор» у меня был внушительных размеров, и я могла использовать его по назначению. Только не спрашивайте, о чем я думала, обнимаясь на заднем сиденье с Люси, Джейн или Алисой. Девушки очень меня любили, потому что я так хорошо их понимала. И в колледже проблем не было, ни в мужском общежитии, ни в студенческих обществах. Но я чувствовала себя обманщицей, потому что была девушкой. Можете представить себе более ужасный конфликт, чем между девичьей душой, заточенной в теле юноши? Или женской — в теле мужчины? Что может быть хуже жизни, в которой лживо все, каждое слово, движение, выражение лица?

Она взяла два оставшихся бокала, подошла с ними к дивану, один отдала Энид. Та сразу же ополовинила его.

— Вы говорили мне, что какой-то сосед рассказывал вам о ночных криках Энид. Кричала я в стремлении вырваться из тела Тома Бредли. — Франсина пригубила виски. — А потом наступило воскресное утро, когда я проглотила все таблетки, которые нашла в аптечном шкафчике. Я решила, что лучше смерть, чем такая жизнь, такая ложь, непрерывная борьба с самим собой. — Свободная рука Франсины легла на руку Энид, сжала ее. — Энид пообещала, что поможет в моем желании изменить пол. Энид — моя лучшая подруга. Никого я не люблю так, как ее.

— Вы и раньше обо всем этом знали? — спросил Флетч Энид.

— Конечно.

— С давних пор?

— Да.

— Муж не может долго скрывать такое от жены, — вновь вступила в разговор Франсина. — Когда я женилась, то думала, что смогу продолжать играть мужчину до конца своих дней. Видите ли, Флетч, такому человеку, как я, кажется, что любой мужчина, даже вы, предпочел бы стать женщиной. Я знаю, это не так. Я просто не понимаю, почему вам хочется быть мужчиной.

— А почему вы вообще женились? — спросил Флетч.

— Потому что у меня очень сильный материнский инстинкт. Только так я могла иметь детей. Вы это понимаете? И потом я полюбила Энид. — Она все еще держала Энид за руку. — Я не прошу вас понять и это.

— Роберта и Том — ваши дети?

— Разумеется, — улыбнулась Франсина. — Я же сказала вам. С «прибором» у меня был полный порядок. Так что я могла иметь детей... как отец.

— Однако. — Покачал Флетч головой.

— Вам требуется время, чтобы осознать услышанное?

— Энид, я думал, вы убили Тома.

— Я убила себя, чтобы остаться в живых, — ответила за Энид Франсина. — Иногда, мой юный Флетч, приходится кардинально менять жизнь, чтобы не отправиться в мир иной.

Вновь взгляд Флетча уперся в груди Франсины.

— Да, — кивнула она. — За два года до первой хирургической операции я начала принимать гормоны. Они изменили мое тело, увеличили грудь. — На память Флетчу пришли слова Алекса Коркорана, произнесенные в гольф-клубе: «Я, правда, говорил моей жене, что он вроде бы ссыхается, уменьшается в размерах. Он худел». — Кроме того, два года я ходила к психоаналитику, чтобы убедиться в правильности принятого решения.

На улице стемнело, погрузилась во мрак и комната. Однако Франсина вроде бы не собиралась зажечь свет.

— Хирургия? — спросил Флетч.

— Да, хирургия.

Флетч вспомнил резкое движение Тома-младшего, когда он словно вогнал в живот нож и повернул его там, перерезая внутренности.

— Мне предстоит только одна операция, — добавила Франсина, не скрывая радости. — И тогда я смогу вернуться домой.

— Как Франсина Бредли.

— Да. Как Франсина. И смогу жить нормальной жизнью. Видите ли, после стольких лет притворства мне больше нет нужды притворяться. Я всегда была Франсиной Бредли. А Тома только играла.

— Вы меня убедили.

— Энид и я тщательно готовили эту легенду, долгие годы убеждая всех в существовании Франсины. Сестры Тома. Умной, компетентной, разбирающейся в хитросплетениях бизнеса, знающей все, что нужно знать об «Уэгнолл-Фипс». Которой вполне по силам взять на себя руководство компанией, случись что с Томом.

— Ваши дети. Та-та и Том, они знают правду, не так ли?

— Да, — кивнула Франсина. — Мы думали, что они достаточно взрослые. Они видели мою боль, мои страдания. Но Том, как видно, не выдержал. Наверное, на сына такое решение отца влияет сильнее, чем на дочь. Та-та может понять мое желание изменить пол, потому что она сама женщина. И мы, Флетч, действительно не подозревали о том, что происходит с Томом, пока вы не ввели меня в курс дела. Думаю, мы поможем ему примириться с действительностью. У меня же была только одна альтернатива — отправиться на тот свет.

Только тут Флетч заметил, что осушил свой бокал.

— И вы продолжали подписывать служебные записки «Ти-би», даже не замечая этого?

В темноте он услышал вздох Франсины.

— Надо отметить, что это самая сложная часть трансформации из мужчины в женщину. Мелочи. Изменение имени в банковских счетах, кредитных карточках, службе социального обеспечения. Всегда что-то можно упустить. В этом отношении проще умереть, а потом переписать все на себя по наследству. Несколько

месяцев тому назад меня остановили за превышение скорости на автостраде в Коннектикуте. И я, блондинка средних лет, в вечернем платье, в туфлях на высоких каблуках, предъявила патрульному водителю удостоверение, выданное в Калифорнии на имя Томаса Бредли. В половине моих документов я значусь как Франсина, в остальных — как Томас. У бедняги патрульного чуть не поехала крыша. Он отправил меня в полицейский участок. И вы знаете, там во всем разобрались. На это ушло время, но они все поняли и отнеслись ко мне с должным уважением. Собственно, почему бы и нет. Таких, как я, в Соединенных Штатах тысячи. Хотя статистика не ведется и пока об этом предпочитают не говорить. Между прочим, ту штрафную квитанцию я храню до сих пор. Ее выписали на Франсину Бредли. — Она рассмеялась. — Штраф я уплатила с радостью. Мне нравится, когда меня называют Франсиной. Наконец-то я Франсина! — Тут ее лицо стало серьезным. — Разумеется, одно дело — штрафная квитанция в Коннектикуте, и совсем другое — статья в газете.

— Я думаю, вам пора рассказать обо всем Чарльзу Блейну, — заметил Флетч.

— О, нет, — воскликнула Франсина. — Чарли этого не поймет. Он по натуре закоренелый консерватор.

— А я думаю, он и Мэри смогут вас понять. В этом им поможет тетя Мэри.

— А, Хэппи. Как же я ненавидела эту женщину. Она всегда была такой женственной, так радовалась от осознания того, что она женщина. Теперь, естественно, ненависти к ней у меня нет.

— Что вы собираетесь делать? — в темноте спросила Энид.

— Я? — переспросил Флетч.

— Мы никого не убили, мы только лгали. Вы собираетесь погубить нас, разорить компанию лишь потому, что мы лгали? Мы имеем право на личную жизнь. Франсина имеет право жить так, как ей хочется.

— Простите нам нашу ложь, Флетч, — добавила Франсина. — Вы понимаете, мир еще не готов осознать того, что случилось со мной. Если об этом станет известно, компания понесет урон. На меня будут смотреть, как на уродца. Ключевые специалисты уйдут из компании. Алекс Коркоран не сможет продать огнетушитель даже тем, кто напрямик направляется в ад.

— Вы собираетесь написать о нас в газете? — По голосу Энид чувствовалось, что она вот-вот разрыдается.

— Я бы хотел рассказать обо всем главному редактору, — признал Флетч. — Чтобы вновь получить работу.

— Он наверняка все напечатает! — воскликнула Энид.

— Нет, нет, — возразил Флетч. — В газете печатают далеко не все из того, что становится известно редакции. К примеру, Френк Джефф знает, где полиция покупает патрульные автомобили, но не дает команды писать об этом. Потому что эта информация не представляет интереса для широкой общественности. И превращение Тома во Франсину не касается никого, кроме Франсины.

Франсина зажгла стоящий у дивана торшер. Ее лицо расплылось в улыбке.

— Мы не ожидали, что вы окажетесь таким настойчивым,

Флетч. Мексика, Нью-Йорк, Даллас, Джуно, снова Нью-Йорк. Целое путешествие.

— И мы не думали, что вы сможете заплатить за все эти перелеты, — чуть улыбнулась и Энид.

— На свои бы деньги не смог. Я... э... мне их одолжили.

Франсина поднялась, направилась с пустым бокалом к бару.

— Мы можем компенсировать ваши расходы.

— Нужды в этом нет.

— Франсина, дорогая, — подняла бокал Энид. — Мой бокал давно пуст.

Смеясь, Франсина подошла к Энид, потом к Флетчу и с их бокалами вернулась к бару.

— Между прочим, ошибка-то ваша. — Флетч положил ногу на ногу.

— Какая именно? — без всякого интереса спросила Франсина.

Флетч повернулся к Энид.

— Когда я пришел к вам домой, вы предложили мне деньги. Никогда не предлагайте репортеру деньги.

— Почему? — спросила Франсина, разливая по бокалам виски.

— Потому что он вцепится в вас мертвой хваткой и не отпустит, не докопавшись до истины.

Глава 32

— Томас Бредли не умер. — С этими словами Флетч вошел в кабинет Френка Джеффа. — Он живет в Нью-Йорке в другом обличье. И продолжает руководить «Уэгнолл-Фипс». Он писал и подписывал документы, выдержки из которых я привел в своей статье. Я хочу, чтобы вы вновь взяли меня на работу.

Флетч появился в редакции «Ньюс-Трибюн» в пятницу, во второй половине дня. Его встретили радостными криками:

— А вот и Флетч! Воскрес из мертвых! Опять!

Кое-кто из репортеров даже не удостоил его взглядом.

— Джейни, Френк у себя? — спросил Флетч секретаршу главного редактора.

— Да, у себя, — кивнула та. — А тебе-то что?

— Пожалуйста, передай, что я должен сказать ему нечто очень важное.

— И что ты должен сказать ему?

— Это не для печати.

Флетчу пришлось ждать в приемной больше часа. Люди сновали мимо, заходили и выходили из кабинета Френка. Флетча они вроде бы не замечали. Лишь один пожилой репортер дружески кивнул ему:

— Привет, Флетч.

— Привет.

— С тобой все в порядке?

— Конечно. Цвету и пахну.

— Это хорошо.

Френк поднял голову, сурово глянул на вошедшего Флетча.

— Я поступаю великодушно, разрешив тебе прийти.

— Истинно так. — Флетч закрыл за собой дверь.

Френк посмотрел на часы.

— Пора немного и развлечься. Неделя практически закончилась. Ты принес материал для статьи?

Не спросив разрешения, Флетч сел в одно из кресел перед столом. Пока он говорил, Френк не произнес ни слова, слушая длинную историю о перелетах из одного конца страны в другой, о встречах с семейством Бредли, Энид, Робертой, Томом-младшим и их соседом, о том, как его приятель в прокуратуре выяснил, что в урне не человеческий прах, а зола от сожженного ковра, и по сведениям посольства Томас Бредли не умирал в Швейцарии, о беседе с Чарлзом и Мэри Блейн в Мексике, о встрече с Франсиной в Нью-Йорке, о результатах посещения Далласа и Джуно, о возвращении в Нью-Йорк.

Лицо Френка налилось кровью, когда Флетч рассказывал о последнем разговоре с Энид и Франсиной Бредли, о том, как они вдвоем сидели на диване, держась за руки, испуганные, но уверенные в своей правоте.

— Мой Бог, — выдохнул Френк. — Убийство без убийства. Это сенсационный материал, Флетч. Жаль только, что мы не сможем напечатать его.

— Рад это слышать. Я заверил Бредли, что мы не предадим гласности эту историю.

— «Мы»? Какие еще «мы»? Ты что, говоришь о себе как о сотруднике «Ньюс-Трибюн»?

— Журналистское «мы», Френк. Я бы не стал писать эту статью, а вы не стали бы ее печатать. Так?

— Разумеется, нет. — Френк потер подбородок. — Без их разрешения.

— Они его не дадут.

— Естественно, не дадут. Бредли потеряют слишком много, если мы опубликуем этот материал. «Уэгнолл-Финпис» развалится, как карточный домик. Происшедшее — личное дело Тома Бредли... вернее, уже Франсины Бредли. И никого другого не касается. Каждый человек имеет право жить, как ему этого хочется.

Взгляд Френка Джеффа задержался на Флетче. Флетч ясно видел, что искушение очень велико. Главному редактору хотелось дать эту статью. Но видел Флетч и другое: Френк Джефф уважал право на личную жизнь. Любого человека. Будь то Том/Франсина Бредли, он сам или Клара Сноу.

А потому Флетч улыбнулся своему главному редактору. Мгновение спустя заулыбался и Френк.

— Потрясающая история. — Он уселся поудобнее. — Ты вломился в дом Бредли. Правильно я тебя понял?

— Никуда я не вламывался. Дверь к плавательному бассейну оставили открытой.

— Ты вошел в чужой дом без разрешения. Бредли не подадут на тебя в суд?

— Я же украл не человеческий прах, а золу от ковра.

— А с чего ты взял, что в урне совсем не прах Томаса Бредли?

— Уверенности у меня не было. Но я на это надеялся. А что

еще мне оставалось? Я же действительно видел служебные записки, датированные апрелем и подписанные инициалами «Тн-би». И потом, Энид Бредли слишком быстро предложила мне деньги.

— Это лучший способ разбудить любопытство хорошего репортера, — улыбнулся Френк. — Или вконец испортить плохого.

— Честно говоря, Френк, полной уверенности у меня не было до прошлого вечера. И лишь когда Франсина предложила мне полугодовое жалование ради того, чтобы я от них отстал, я решил идти напролом.

— То есть ты и тогда не догадывался, что к чему?

— Откуда? Я видел перед собой женщину средних лет, действительно женщину, Френк, с грудями, а исчез-то мужчина, отец двоих детей...

— Ох уж эта наивность молодых.

— Как будто вы сталкивались с чем-то подобным?

Френк улыбнулся и мотнул головой в сторону отдела новостей.

— Там работает парень, которого когда-то звали Элизабет.

— Вы шутите!

— Отнюдь. Ты его отлично знаешь. Современная наука творит чудеса.

Флетч покачал головой.

— Век живи, век учись.

— Если бы не индивидуальные отличия каждого человека, о чем бы мы могли писать, Флетч? — Френк положил руки на стол, наклонился вперед. — Между прочим, а чем можно подтвердить твой рассказ? Не похоже, конечно, чтобы ты все выдумал, но...

— Позвоните Энид Бредли. Мы вместе прилетели вчера вечером. Мы теперь друзья. Можете позвонить Франсине Бредли в Нью-Йорк.

— Я позвоню, — кивнул Френк. — Обязательно позвоню.

— Френк, так я снова работаю?

— Конечно, с понедельника.

— А мои расходы? Я крепко потратился, Френк. Вы компенсируете мне расходы?

— Невозможно. Нет статьи.

— Какой такой статьи?

— Почему мы должны оплачивать расходы на подготовку статьи, которую не можем напечатать?

— По меньшей мере вы собираетесь выплатить мне жалование за последние две недели?

— Нет.

— Нет?

— Факт остается фактом, Флетч: ты напортачил. Когда от тебя потребовалось подтвердить достоверность информации, содержащейся в написанной тобой статье, ты не смог этого сделать.

— Но я ее подтвердил.

— Через две недели после публикации. И мы не можем представить на суд читателя эти доказательства. Газете причинен немалый ущерб. Так что скажи спасибо, что тебя вновь взяли на работу.

Флетч уже стоял у стола.

— Вы хотите сказать, Френк Джефф, что я не мог опублико-

вать эту паршивую, в двенадцать абзацев, статью для финансовой страницы «Ньюс-Трибюн» о паршивой, никому не известной компании, предварительно не выяснив, что председатель совета директоров этой компании изменил свой пол?

— Да, — кивнул Френк. — Именно это я и хотел сказать.

— Знаете, как мне хочется вас назвать, Френк?

— Дай подумать. На ум приходит несколько слов из четырех букв*.

— Черт побери, Френк.

— В понедельник жду тебя на работе. И далее приводи в статьях только те факты, которые можешь доказать.

— Чтoб вам пусто было, Френк Джефф.

— Хорошего тебе настроения, Флетч.

Глава 33

Флетч стоял под душем, когда в дверь позвонили. Впрочем, открывать он не собирался. Но мгновение спустя в дверь забарабанили кулаками, достаточно громко, чтобы разбудить спящего в горящем доме.

Обернув бедра полотенцем, он босиком пошлепал к двери.

В коридоре стояли двое мужчин. Один — небольшого росточка, хорошо одетый, со злыми, блестящими глазками. Второй — куда крупнее, одетый так себе, но с такими же злыми, блестящими глазами.

— Вы ошиблись квартирой, — заметил Флетч.

— Ирвин Морис Флетчер?

— Вроде бы. — Тут Флетчер вспомнил, что уже видел этого верзилу. Совсем недавно. В подъезде. Тот наблюдал, как Флетч достает из ящика газеты, а затем поднялся с Флетчем в кабине лифта. Флетч еще подумал, что похож на многоопытного циркового борца, и интервью с ним могло бы заинтересовать читателя. Теперь же у него возникло прямо противоположное желание: избежать этого интервью.

— Я — Джеймс Сейнт Эстис Крэндолл, — представился низкорослый.

— Эстис?

— У тебя есть то, что принадлежит мне.

— Правда? О, да. В некотором роде.

— Что значит, «в некотором роде»? — спросил низкорослый.

Верзила закрыл дверь.

Флетч плотнее завязал на себе полотенце.

— Могу я удостовериться, что вы Джеймс Сейнт Эстис Крэндолл?

— Естественно, — кивнул низкорослый. — Нет проблем.

Он достал из бумажника водительское удостоверение и протянул Флетчу.

Тот долго смотрел на удостоверение.

* Слово из четырех букв (four letter word) — термин, объединяющий ругательства.

— В чем дело? — не выдержал низкорослый.

— Уверен, что это всего лишь бюрократическая ошибка, но в вашем удостоверении написано, что выдано оно Джеймсу Релли. Низкорослый вырвал удостоверение из рук Флетча, засунул в бумажник, даже не глянув на него, вытащил другое.

— Ага! — Флетч кивнул, внимательно изучив второй документ. — Вы же и Джеймс Сейнт Э. Крэндолл! Сомнений быть не может. Фотографии идентичны. — Он вернул удостоверение. — Наверное, хорошо быть единым в двух лицах. Всегда можно почестать себе спину.

— Хватит, — рявкнул низкорослый. — Мне нужен мой бумажник.

— Конечно, конечно. — Флетч попятился в гостиную. Верзила тут же последовал за ним, на расстоянии вытянутой руки. — Я как раз думал, а какое вознаграждение вы положите мне за находку?

— За что?

— За то, что я нашел ваш бумажник и возвратил его вам.

— Ничего ты мне не возвратил. Мне пришлось прийти за бумажником самому.

— Я дал объявления, — возразил Флетч. — В двух газетах.

— Какие объявления? Не видел я никаких объявлений.

— Тогда как же вы меня нашли?

— С помощью полиции Сан-Франциско. Тебя сдал управляющий какого-то отеля, откуда ты удрал с моими деньгами. Мне даже показали твою фотографию в газете. Кажется, тебя поймали, когда ты хотел столкнуть с моста какую-то старуху. Они показали мне фотографию и сказали: «Вот он». Твою фотографию, будь уверен.

— О, Господи!

Лицо низкорослого побагровело.

— Я должен ждать всю неделю? Гони бумажник!

— Без вознаграждения?

— Не болтай ерунды!

— Не такая уж это и ерунда. — Широкие плечи верзилы полностью скрывали входную дверь. — Я бы хотел получить три тысячи девятьсот восемьдесят два доллара.

— А ты не хочешь, чтобы с тебя содрали кожу? — Низкорослый ткнул пальцем в грудь Флетчу. — Узкими полосками?

— Этой суммы у меня не хватает.

Глаза низкорослого вылезли из орбит.

— Не хватает?

— Я их потратил.

— Как ты посмел тратить мои деньги? Сукин ты сын.

— Так уж получилось. Пришлось потратиться.

Низкорослый сжал кулаки, по его телу пробежала дрожь, но он сумел совладать с нервами.

— Послушай, парень, эти деньги — моя ставка. Ты понимаешь, что это значит?

— Нет. Никогда не увлекался азартными играми.

— Я их поставил. Понимаешь? Поставил. Именно их. Мне они нужны целиком. Нетронутые. Иначе проку не будет никакого.

Флетч вздохнул.

— Тяжкое дело.

— Я потерял эти деньги, — пожаловался низкорослый. — Где-то на улице. А другие я поставить не могу. За последние две недели я лишился из-за тебя целого состояния.

— Неужели?

— Двухсот, может, трехсот тысяч долларов.

— Как жаль.

— Верни мне их. В тех же купюрах!

Флетч повернулся к ним боком, чтобы при необходимости ударить с разворота.

— Я верну вам все деньги, за исключением трех тысяч девяти-сот восьмидесяти двух долларов.

— Какое ты имел право тратить мои деньги?

— Никакого, — честно признал Флетч.

Низкорослый ударил Флетча в плечо. Верзила не шевельнулся. От него тянуло чесночным запахом.

— Ты мне их отдашь! До последнего цента! А не то Лестер поиграет твоей головой в баскетбол.

— Лестер, — Флетч посмотрел на верзилу, — это может. — Затем повернулся к низкорослому. — Думаю, деньги я вам достану. Но на это уйдет какое-то время.

Низкорослый плюхнулся в кресло.

— Мы даем тебе час.

— Энид? — Флетч говорил, повернувшись к незванным гостям спиной, но и тут его настиг запах чеснока. — Это Флетч.

— Привет, Флетч. Как вам смена часовых поясов? Наверное, чувствуете себя, как теннисный мяч на корте Уимблдона?

— Да нет, уже пришел в себя.

— Мне звонил ваш главный редактор, Френк Джефф. Я сказала ему все, разумеется, конфиденциально.

— Спасибо, Энид. Послушайте, вы помните, я говорил вам, что мне пришлось занять денег, чтобы оплатить все эти перелеты?

— Да.

— Так вот, бандиты, у которых я их занял... — От резкого удара в правый бок у него перехватило дыхание. — Я хотел сказать, философы, у которых я их взял, требуют вернуть деньги, и немедленно.

— Флетч, вы обращались за деньгами к ростовщикам. О, милый! Что же вы нам не сказали?

— Говорю теперь.

— Сколько?

— Три тысячи девятьсот восемьдесят два доллара в новеньких тысячедолларовых банкнотах. И очень срочно.

— Я постараюсь приехать как можно быстрее. Какой адрес?

Флетч продиктовал адрес.

— Энид, это не шантаж, — добавил он.

— Я знаю, Флетч. Ждите меня.

Положив трубку и потирая бок, Флетч повернулся к мужчинам.

— Могу я одеться?

— Нет смысла портить одежду, — ответил верзила. — Она же будет вся в крови.

— Правильно, — кивнул низкорослый. — Пусть одежда останется чистой, чтобы ею кто-нибудь воспользовался. А желающих найдет Армия спасения.

Они ждали больше часа. Верзила стоял, а Флетч так и сидел на диване.

Лестера, похоже, зачаровывали уши Флетча. Он не отрывал от них взгляда. Всякий раз, когда Флетч смотрел на него, Лестер ухмылялся, ясно давая понять, что уши Флетча представляют для него особый интерес. Очевидно, в прошлом кто-то выместил злобу на ушах Лестера. На обоих виднелись шрамы: уши Лестера рвали зубами.

Чтобы отвлечься, Флетч начал разбирать лежащую на кофейном столике почту. Среди счетов он обнаружил письмо из мэрии. Вскрыв конверт, Флетч прочитал:

«Дорогой мистер Флетчер!

Мы выражаем Вам наше крайнее неудовольствие в связи с тем, что в прошлую пятницу Вы не соизволили прийти в мэрию и получить полагающуюся Вам премию «Лучшего гражданина месяца». Мэр и многочисленные журналисты прождали Вас зря. Ваше безразличие (Вы даже не известили о том, что не сможете прийти) поставило под угрозу всю программу по выборам лучшего гражданина месяца, инициатором которой выступила мэрия.

Мэр просил известить Вас, что его распоряжением полагающаяся Вам премия перечислена в фонд помощи маломумшим.

Искренне ваш. Канцелярия мэра».

Флетч посмотрел на входную дверь собственной квартиры и прошептал: «На помощь! Полиция!» Затем повернулся к низкорослому.

— Я позвонил вам из вестибюля отеля «Парк Уорт» и сказал, что нашел ваш бумажник. Почему вы сразу не спустились и не взяли его у меня? Раз уж он вам так нужен.

— То был не ты.

— Как раз я.

— Нет. — В голосе низкорослого звучала стопроцентная уверенность. — Другой парень. Он знал, что в моем бумажнике ровно двадцать пять тысяч. В тот момент я задолжал ему куда большую сумму. И он просто хотел выманить меня в вестибюль. Мой приятель это проверил. А я ушел через черный ход.

— Но вы же знали, что бумажник утерян.

— Я думал, он в машине. Я оставил его под задним сиденьем. Должно быть, он выпал. А ты или, может, кто-то еще, украл его. Флетч вздохнул.

— Теперь-то вы знаете, что именно я пытался вернуть вам деньги.

Низкорослый широко улыбнулся.

— Я знаю, что у тебя и мысли такой не было.

— С чего вы это взяли?

— Ты находишь двадцать пять «штук» наличными и пытаешься вернуть их мне? Перестань. Или держишь меня за идиота?

Флетч на мгновение задумался.

— Давайте не переходить на личности.

Когда звякнул дверной звонок, открывать пошел Лестер.

— Флетч! С вами все в порядке? — донесся до Флетча голос Энид.

Мгновение спустя дверь захлопнулась прямо перед ее лицом. Лестер повернулся. С четырьмя тысячедолларовыми банкнотами в руке.

— Конечно! — крикнул Флетч. — Благодарю.

— Старая карга, — пробурчал Лестер.

Низкорослый подскочил к Лестеру, схватил деньги. Пересчитал четыре банкнота.

— Где остальные? — спросил он Флетчера.

Флетчер прошел в спальню и вернулся с бумажником, который он прятал в сумке Мокси. Швырнул бумажник низкорослому.

Поймав бумажник, низкорослый одарил Флетча злым взглядом. Никто не имел права так бесцеремонно обращаться с его ставкой.

Низкорослый пересчитал двадцать один банкнот пять раз. Затем добавил к ним еще четыре банкнота и осторожно уложил в бумажник, а бумажник засунул во внутренний карман пиджака.

Прежде чем открыть входную дверь, низкорослый коротко глянул на верзиду.

— Поработай над ним, Лестер. Разбей ему голову. За все те хлопоты, что он мне причинил. И эти четыре банкнота, — он похлопал себя по груди, там, где лежал бумажник, — совсем не те, что лежали там с самого начала. Это обойдется мне недешево. Мерзавец!

— Лестер, ты слышал анекдот о близоруком вегетарианце и садовом шланге? — спросил Флетч верзиду.

Флетч не ошибся, отметив, что Лестер был равнодушен к ушам. Его удары сыпались и на другие части тела Флетча, но более всего ему хотелось попасть в уши, так что предплечьям Флетча, загораживающим голову, досталось как следует. Уши тоже получили свою долю.

Эта тяжелая работа, наверное, скоро бы наскучила здоровяку, если бы Флетч точным ударом не врезал ему в нос.

Низкорослый всунул голову в дверь.

— Лестер, заканчивай! Лифт ждет.

Вытирая льющуюся из носа кровь рукавом, Лестер вышел в коридор, закрыв за собой дверь.

Лежа на полу, где нашел последнее прибежище от ударов Лестера, Флетч слышал удаляющиеся шаги низкорослого и его громилы. Затем закрылись двери кабины, и лифт пошел вниз.

— Вот и делай кому-то добро, — пробормотал Флетч.

Глава 34

Вновь зазвенел звонок, на этот раз телефонный. Лежа на полу, еще не совсем придя в себя, Флетч потянул за телефонный шнур. Аппарат свалился на пол, трубка отлетела в сторону. Ее и схватил Флетч. В ушах гудело: усилия Лестера не пропали даром.

— Слушаю, — сказал он в микрофон.
— О, Флетч, ты дома?
— Какого вам Тома?
— Почему ты так кричишь?
— Мокси?
— Флетч, Рик предложил мне переехать в его берлогу.
— Какую ногу? Чью ногу?
— Перестань кричать. Мне было так тяжело. Мы репетировали с ним день и ночь, а эта пьеса, как тебе известно, отнюдь не «Двое на качелях». Пол уделял особое внимание сценам, где мы играли голыми, и, честно говоря, Рик прекрасен. У него потрясающее чувство ритма. Девушке не под силу устоять перед таким искушением. Тем более что и ты куда-то пропал.

— Как Рик?
— Флетч, ты оглох? Почему ты так тяжело дышишь? Делал зарядку?

— Когда ты будешь дома?
— Ты заедешь за мной?
— Что значит, «забудешь тебя»?
— Флетч, у меня украли маленькую желтую машину, которая так очаровательно бибикала. Я оставила ее у театра, а когда вышла после репетиции, ее там не было. Я обратилась в полицию, но они отнеслись к моей жалобе безо всякого энтузиазма.

— Я заеду за тобой.
— Послушай, Флетч, теперь ты будешь дома? Так дальше не пойдет.

— Самолет? Зачем самолет? Я приеду за тобой. Я как раз стою под душем.

— А, вот почему ты так кричишь.
— Эй, Мокси, меня вновь взяли на работу.
— Это прекрасно.
— Что? Да, конечно. Скоро приеду. Жди меня.

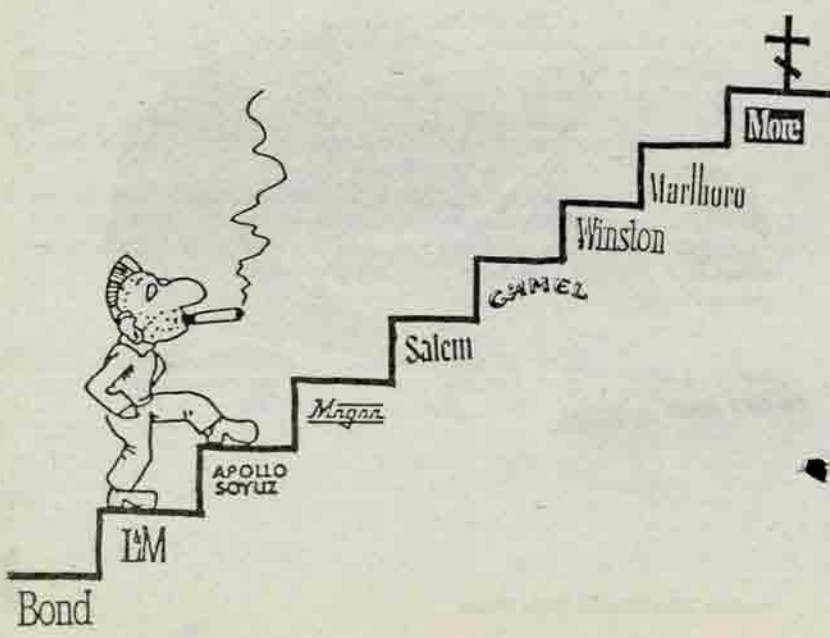
Флетч выронил из руки трубку, сел. Пол вздыбился. Стены закачались. Веки начали опускаться сами по себе. Желудок выказал желание вывернуться наизнанку.

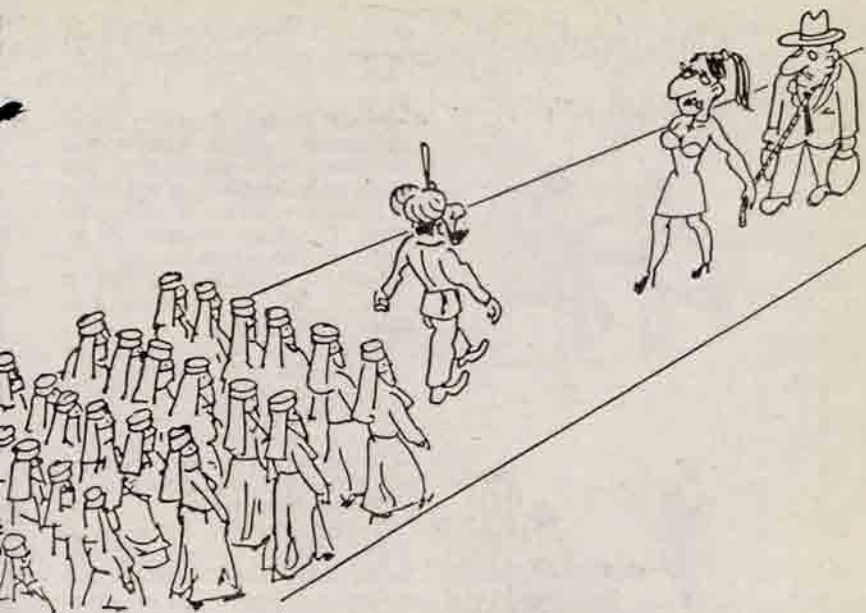
Флетч решил, что должен полежать, немного, прямо на ковре, а уж потом смыть кровь, одеться и поехать за Мокси. Он осторожно улегся на живот. Прижался саднящей правой скулой к превратившемуся в сплошной синяк правому предплечью.

И заснул.

**Перевод с английского
ВИКТОРА ВЕБЕРА.**

Ну вот,
я и в ХОПРЕ...





Рисунки АЛЕКСАНДРА ГАЛАГАНОВА

Час помехи

Шахматная эпиграмма



Под редакцией
международного гроссмейстера
ВИКТОРА ЧЕПИЖНОГО

Завершаем публикацию оригинальных композиций, присланных на IV международный конкурс составления шахматных задач-миниатюр «Смены». В 1995 году количество опубликованных на страницах журнала задач-миниатюр вновь выросло — 132. А всего поступило на конкурс около семисот произведений от 182 авторов из тринадцати стран. Впервые приняли участие в конкурсе композиторы Италии, США, Франции, ФРГ, Швейцарии и Югославии. Растет популярность нашего тра-

диционного конкурса на международной арене, растет и его творческий уровень.

Журнал «Смена» объявляет V международный конкурс составления шахматных задач-миниатюр на 1996 год по трем разделам: двухходовки, трехходовки и многоходовки. В каждом разделе установлены денежные призы: I приз — 200 000, II приз — 150 000, III приз — 100 000, специальный приз — 50 000 рублей.

Оригинальные, нигде ранее не публиковавшиеся задачи, изображенные на диаграммах в двух экземплярах, с полным решением следует посылать по редакционному адресу до 1 сентября 1996 года. Судья конкурса — международный арбитр по шахматной композиции **Виктор Чепижный**.

На конверте следует делать пометку «Конкурс составления шахматных задач». Все присланные композиции примут участие в конкурсе. Лучшие миниатюры будут опубликованы в журнале. Присланные задачи не рецензируются. Итоги конкурса будут подведены во второй половине 1997 года на страницах «Смены».

Приглашаем наших читателей принять участие в **конкурсе решения шахматных задач**, напечатанных в журнале. Фамилии наиболее активных решателей будут публиковаться. После завершения конкурса решатели, приславшие правильные и наиболее полные ответы, будут награждены почетными грамотами и книжными призами.

Решения задач следует высылать на открытках (без конверта!) с пометкой «Конкурс решения шахматных задач» в течение двух месяцев после выхода журнала. На открытке следует указывать фамилию, имя, отчество и домашний адрес.

Приглашаем принять участие в наших конкурсах всех желающих!

115. В. ЖЕЛТОНОЖКО
Екатеринбург



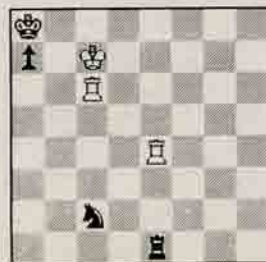
Мат в 2 хода

116. Р. ГАШИЧ
Югославия



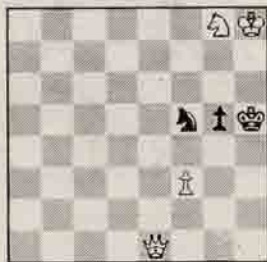
Мат в 2 хода

117. Р. ЛИНКОЛЬН
США



Мат в 2 хода

118. В. МАРКОВЦИЙ
п. Ильница, Украина



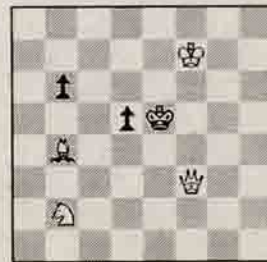
Мат в 2 хода

119. Н. ЧИСТЯКОВ
Омск

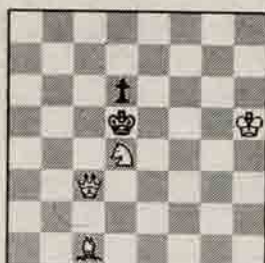
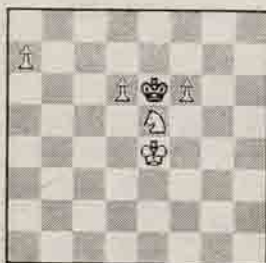
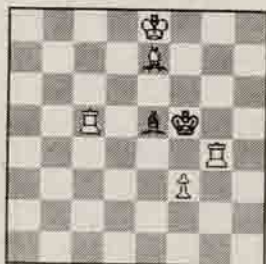


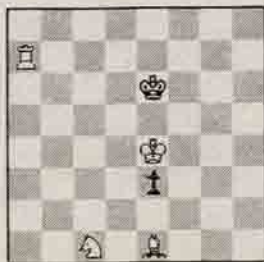
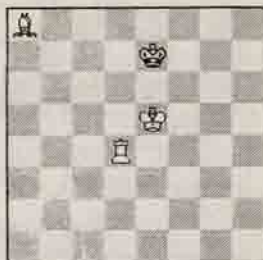
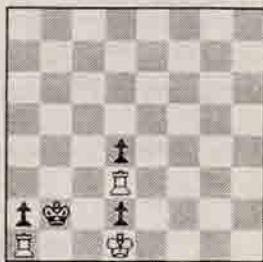
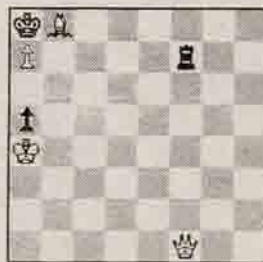
Мат в 2 хода

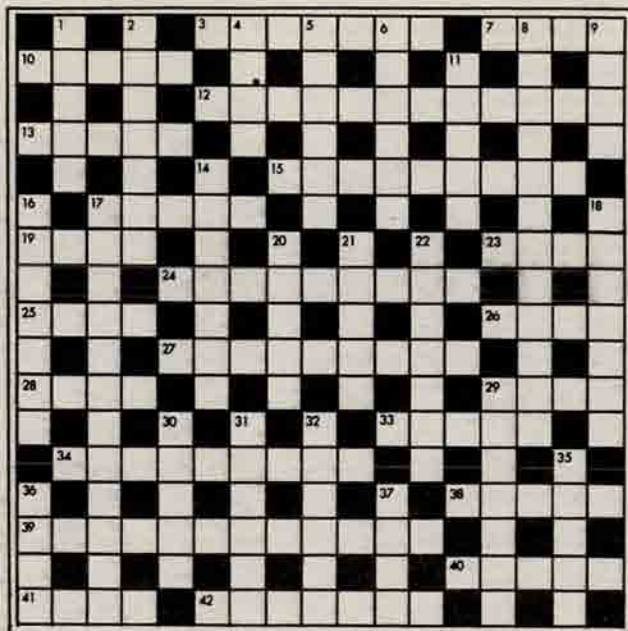
120. А. КУЗОВКОВ
г. Рыбница, Приднестровье



Мат в 2 хода

121. В. ШИЛЬНИКОВ*г. Асбест
Свердловской обл.***Мат в 3 хода****122. М. ЧЕРНУШКО***г. Уссурийск***Мат в 3 хода****123. Ж. РОШЕ***Франция***Мат в 3 хода****124. В. КОЖАКИН***Магадан***Мат в 3 хода***б) п. h4 — g7***125. С. РАДЧЕНКО***Ростов-на-Дону***Мат в 3 хода****126. Д. БАСАЕВ***г. Элиста***Мат в 3 хода**

127. М. МАРАНДЮК*г. Новоселица,
Украина***Мат в 3 хода****128. С. ДЕМИДЮК***Брест, Беларусь***Мат в 3 хода****129. В. ЖЕЛТОНОЖКО***Екатеринбург***Мат в 4 хода****130. У. ХАММЕРСТРЕМ***Швеция***Мат в 5 ходов***2 решения***131. В. АНТИПОВ***г. Боровичи
Новгородской обл.***Мат в 5 ходов****132. Н. КРАЛИН***Москва***Мат в 6 ходов**



3. «Воспитанник лесной Дианы» (Н. Языков). 7. Гордец, спесивец на Руси. 10. Колумбийский поэт, памятник которому в Картахене очень необычный — два ботинка с высокой шнуровкой. Оба стоптаны. Один стоит, а другой валяется рядом. 12. Черчилль сказал: «Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное ... социализма — равное распределение лишений». 13. Изданная в 1721 году по именному повелению Петра I «Книга морская зело потребная, явно показующая правдивое мореплавание в Балтийском море» по сути. 15. Русская актриса, чья лучшая роль — Васса Железнова в пьесе М. Горького. 17. Дикий кот с очень толстым хвостом. 19. Ипостась гоголевского Плюшкина. 23. Немецко-американский фармаколог и физиолог, удостоенный Нобелевской премии «за открытия, связанные с химической передачей нервных импульсов». 24. Чужое трудовое приобретение, которым нигде в мире не интересуются так, как у нас. 25. Приток Волги, сложенный из рек Кема и Лундонга. 26. Дюметрическая русская мера длины, равная десяти линиям. 27. Способ пения, когда глухарь ничего не слышит. 28. Плодовое дерево родом из Закавказья. 29. Ткань, упоминаемая в стихотворении М. Лермонтова «Дереву». 33. Вождь «свободных французов». 34. Альсекко — живопись по сухой штукатурке, ... — по сырой. 38. Вид легкой пехоты, формировавшийся в XVIII веке из метких стрелков. 39. Художник, сжегший почти все свои картины «добубнововалетного»

периода. 40. Вид спорта, не представленный лишь на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме. 41. Рыба, пища китов. 42. Народ, уважающий поговорку: привычную беду люди предпочитают непривычной радости.

По вертикали.

1. Растение, из которого был сделан знаменитый «Тигрис». 2. Обет, лишаящий католического священника возможности завести законных детей. 4. Танец, впервые описанный Д. Кантемиром. 5. Другое название сподумена, главной руды лития. 6. ... за чарку, а братья за ковши (русская поговорка). 8. Самый крупный покровный ледник в Исландии. 9. Рыба, попавшая в аквариум из Амазонки. 11. Игрок ловит на палочку бросаемые соперником легкие обручи (игра). 14. Демоническое существо, похищающее нитки у женщины, заснувшей без молитвы. 16. Муаровый рисунок на лезвиях старинных сабель и клинков. 17. Основа джина. 18. Немецкий князь, автор знаменитой фразы: «Если хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко». 20. Размер, каким написан «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели. 21. Человек, олицетворявший в средние века «ангельскую жизнь». 22. Русский поэт, на склоне лет влюбившийся в «губернскую камелию» В. Лебедеву. 29. Офицерское звание в советском флоте в 1935—1940 годах. 30. Порода — любители собак считают ее самой изысканной. 31. Генеральный контролер строений Людовика XIV. 32. Танец в «Бальных сценах для фортепьяно в 4 руки» Р. Шумана. 35. Одна из трех главных зерновых культур Древнего Рима. 36. Восточный ученый-энциклопедист IX века, прозванный «Философом арабов». 37. Цветок, какой в средние века прикалывали к сердцу от удущья и подагры.

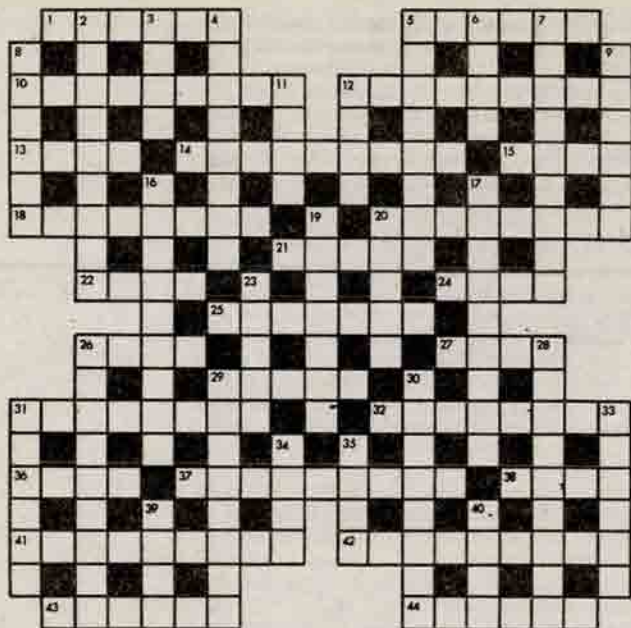
ОТВЕТЫ НА «ЗРУДИТ», НАПЕЧАТАННЫЙ В № 11

По горизонтали.

3. Жучка. 9. Сдвиг. 10. Балобан. 11. Шабаш. 13. Гийас... 15. Делевская. 16. Пошиб. 20. Люкарна. 23. Тютчев. 24. Пена. 25. Хорда. 27. ...грусть... 28. Люрекс. 29. Арбат. 30. Инки. 32. Дьяков. 33. Чартизм. 37. Ермак. 40. Целлюлоза. 42. Нерон. 43. Магма. 44. Окрошка. 45. Ямчуг. 46. ...Мегрз.

По вертикали.

1. Юджин. 2. Синап. 4. Урацил. 5. Клад. 6. Зашеина. 7. Росси. 8. Варан. 12. Шеварднадзе. 14. Совесть. 17. Бюрократизм. 18. Стиглиц. 19. Этруски. 21. Зеленко. 22. Хамство. 26. Тюльпан. 31. Разлука. 34. Мрамор. 35. ...щепка. 36. Клеон. 38. Керма. 39. Фокус. 41. Ааре.



КРОССВОРД
Составил
Г. МЕЛЕНТЬЕВ,
Старая
Русса
Новгородской
области

По горизонтали.

1. Древнегреческий скульптор, которому приписывают бронзовую статую Посейдона. 5. Оптическое стекло. 10. Самый популярный из искусственных языков. 12. Поэтесса Сахибджемал по национальности. 13. Верхний слой луговой почвы. 14. Опера Р. Вагнера. 15. Объединение двух государств под властью одного монарха. 18. Шутливая пьеса в творчестве С. Рахманинова. 20. Припособление, из которого сыпали порох на полку старинного ружья. 21. Металлическая посуда для варки пищи. 22. Кустарник, ветками которого в Средней Азии борются с молью. 24. У Марии в «Полтаве» А. Пушкина «... как роза, рдеют». 25. Крупнейший американский скрипач XX века. 26. Музыкальное произведение, названное Н. Лесковым «стройным рядом повторяемости». 27. Вероятность удачи, успеха. 29. Вся в обручах. 31. Русский философ и поэт, сын знаменитого историка. 32. Цветок-оберег в античные времена. 36. Военское подразделение. 37. Даша «такая была девица, что просто всем на ...» (А. Чехов. «В бане»). 38. Муравьиный кокон. 41. Единица длины. 42. Итальянский художник, учитель Тициана. 43. Грубая ошибка, упущение. 44. Государство, окруженное границами другого государства.

По вертикали.

2. Образное преувеличение в литературе. 3. Английский титул. 4. Казачка с одной из русских рек. 5. Боец,

сражающийся с врагом вне регулярной армии. 6. Дочь Айседоры Дункан, работавшая в России. 7. Малый боевой корабль. 8. Японские шашки. 9. Дармовщина. 11. Левый приток По. 12. Роман А. Франса. 16. Крепостная актриса, ставшая женой графа Н. Шереметева. 17. Город, где в годы Смуты и польской интервенции был создан «Совет всей земли». 19. Фашистский снайпер. 20. Граф в озорной поэме А. Пушкина. 23. Баскетболист, чемпион мира и Олимпийских игр. 26. Собрание марок. 28. Актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Анна Каренина». 29. Английский писатель, автор романа «Заводной апельсин». 30. Женский дух славян, боящийся медведя. 31. Металл, какой можно в ступке истолочь в порошок фарфоровым пестиком. 33. Миоцен и плиоцен вместе взятые. 34. Средоточие высшего света, где блистала, выйдя за А. Пушкина, Наталья Гончарова. 35. Место у входа в порт, удобное для стоянки судов. 39. Английский поэт; от которого, возможно, Джон Рескин воспринял завет служить красоте. 40. Человек с ложкой в руке.

**ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД,
НАПЕЧАТАННЫЙ
В № 11**

По горизонтали.

1. ...клавиш... 5. «Мещане». 9. Запал. 10. Промысел. 12. Гипотеза. 15. Карабанов. 16. Мятлев. 18. Экстаз. 20. Рисорджименто. 21. Риск. 23. Волк. 24. Саложок. 27. Соломон. 28. Осот. 30. Вавилов. 31. Додо. 33. Конакри. 34. Феномен. 35. Бегония. 36. Чехарда. 38. Угломер. 41. Удар. 42. ...антипод... 44. Рота. 45. Раквере. 46. Локатор. 47. Блан. 50. Толь. 51. Пикетирование. 53. Критик. 54. Ярково. 55. Татаринев. 59. Ихтиолог. 60. Кореянка. 61. Говор. 62. Нектар. 63. Ватага.

По вертикали.

1. Кронер. 2. Арык. 3. Изер. 4. Шаланда. 5. Магазин. 6. Елин... 7. «Азов». 8. Едешко. 10. Патиссон. 11. Сазонов. 13. Поленов. 14. Астроном. 16. Мерлок. 17. Виноградник. 18. Этногеография. 19. Заслон. 22. Катамаран. 23. Водоворот. 25. Каберне. 26. Цитолог. 27. Солидол. 29. Сосед. 32. Дебет. 36. Чурбак. 37. Харакири. 39. ...Морозова. 40. Расько. 42. «Арсенал». 43. Донатор. 48. Пифагор. 49. ...Голиков. 51. Пистон. 52. Ерунда. 55. ...толк... 56. Тога. 57. Нора. 58. Вежа.



Фото ВЛАДИМИРА ЧЕЙШВИЛИ

Держите колоду, — фокусник лихо сложил карточный веер и протянул его мне. Ладонь его разжалась — карт в ней как не бывало.

Сергей Солоницын, руководитель государственного театра «Магия», показал мне этот простенький, по его словам, фокус перед началом выступления в детском лагере под Балашихой...

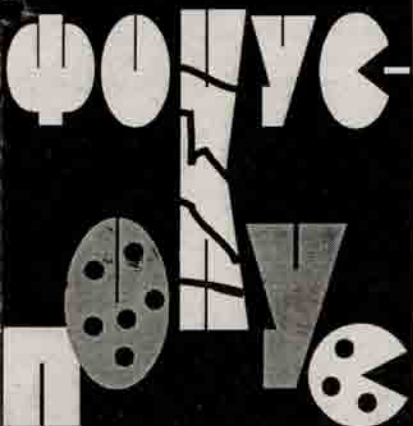
Зал погружался во тьму, и на сцене перекрестились лучи прожекторов. Грянула музыка, шоу началось. Замелькали разноцветные платья танцовщиц, в руках которых то появлялись, то исчезали горящие свечи. Сергей «доставал из воздуха» карты, его жена Лариса читала мысли на расстоянии. Происходило еще много разных чудес, и зал то и дело охал от удивления. Огромный питон, обвивший шею артистки, пламя изо рта, «китайские тени», когда обыкновенные человеческие руки превращаются

в собаку или корову, в старика или плутоватого мальчишку — сказка на сюжет знаменитой «Пластиковой вороны». А под конец представления дискотека с рассыпающимися в небе диковинными цветами фейерверков. Праздник, одним словом.

Описывать фокусы — занятие бессмысленное. Не верите — попробуйте сами. Поэтому дальше я буду рассказывать вам о прозе жизни, в которой рождается искусство театра «Магия».

Праздники не вечны. В ночную столицу мы возвращались на фургоне-вездеходе, принадлежащем театру. Этот мощный «ГАЗ», к слову, не раз выручал артистов в самых безвыходных, точнее — безвыездных ситуациях, спасал от вечного российского бездорожья. Поскольку труппа фокусников гастролирует пока все больше в Московской и ближних к ней областях.

Из трех лет своего существова-



ния театр дает представления всего год. Два первых ушли на поиски крыши над головой, покупку реквизита и прочие организационные дела. Теперь, наконец, есть репетиционная база, мастерские. Но постоянной сцены для уникального театра пока не нашлось. Поэтому — бесконечные гастроли...

А началось все со студии в Нижнем Новгороде, которую когда-то создал режиссер местного цирка. Из пятидесяти претендентов конкурс выдержали только двенадцать. Организовали после переезда в Москву труппу молодежного иллюзионного театра. Театр тот разъезжал по всей стране, а его спектакль «Волшебный портрет», целиком построенный на иллюзионных трюках, не имел себе равных не только в России, но и за рубежом.

Но долго коллектив, как нередко бывает, не продержался. И то-

гда восемь человек из его состава создали «Магию».

Как человек становится фокусником? С рождения, что ли, надо обладать особым взглядом на вещи и, простите, ловкостью рук? Из рассказа Сергея Солоницына я понял, что главное — заинтересоваться, найти учителя. Для самого Сергея таким учителем, например, был известнейший иллюзионист Владимир Данилин — помните фильм «Переступить черту» с его участием? А техника — результат напряженного изучения всех тонкостей этой ювелирной профессии.

Примерно таков же путь в театр «Магия» и других артистов. У всех есть высшее образование, но не у всех оно цирковое или театральное. Главное, — не устает повторять Сергей, — интерес к чуду и желание его постичь. При этом себя он называет равным среди равных. И если лавры в основном достаются ему, то потому лишь, что другие актеры театра вынуждены совмещать основную профессию с должностью административной, дабы не раздувать штат. В результате Александр Барчуков — не только артист, но еще и технический директор, и руководитель пиротехнической группы, Геннадий Горин — еще и администратор, и начальник транспортной службы.

Кроме Сергея, непосредственно на сцене выступают Лариса Солоницына, Елена Воробьева, Ольга Гайдонатченко и Алла Богачева. Их жанры — от танца до оригинальных иллюзионных номеров. А вот Семен Шейман — не артист, а чистый технарь, и на его плечах как инженера по световому и радиооборудованию все техническое обеспечение спектаклей, что он и делает блестяще в полном смысле слова.

Сейчас у «Магии» две разных программы, одна из них имеет и

специальный «детский» вариант. Хотя в уставе Международного братства магов записано: фокусы — это искусство взрослых и для взрослых, артисты считают, что фокус любого зрителя превращает в ребенка, но самый живой интерес вызывает именно у детворы. И не ошибаются — я был тому свидетелем.

Вообще же детских иллюзионных программ в мире раз-два и обчелся. Так что восторг ребятешек от спектаклей театра — целиком заслуга его артистов.

Возможности актеров как интеллектуалов и профессионалов огромны. Но всякий фокус требует вполне материальной «оснастки». А с деньгами — туго. Хотя театр и называется государственным, но никакой реальной помощи ни от Министерства культуры, ни от Министерства образования, под чьим крылом работает, не получает. Из пустых обещаний, из воздуха даже фокусник новый трюк не создаст.

За свои выступления, особенно перед детьми, «Магия» берет суммы смехотворные. О том, чтобы поставить что-то грандиозное, нет и речи. Если, конечно, не найдутся спонсоры. И они находятся, но весьма своеобразные. Не раз к артистам после их выступлений подходили крепкие ребята и, спросив о заработках, возбужденно шептали: «Идите работать к нам, озолотим!» Сами понимаете, какую имели в виду работу. Отказ воспринимали недоуменно — как можно отказываться от ТАКИХ денег? Настоящие же меценаты пока помощи не предлагали...

Идеал для артистов из «Магии» — блистательный Дэвид Копперфилд.

— Мы знаем принципы его самых удивительных трюков, — не скрывает своего почтения к заморскому коллеге Сергей, — но восхищает сама подача фокуса. Порой

он делает очень простые вещи, но обставляет их так, что поневоле разинешь рот от удивления. На самом-то деле секреты почти всех существующих в мире фокусов профессионалам известны, придумать что-то новое, доселе невиданное очень непросто. Поэтому самое главное сейчас — антураж, и Копперфилд здесь непревзойденный мастер.

— А можете открыть секрет его исчезновения из запертого сейфа во взорванном доме и появления на стальной площадке в нескольких сотнях метров от взрыва?

— Это настолько просто, что вы бы разочаровались и, глядишь, вовсе утратили интерес ко всякому фокусу. Так что подробно я рассказывать не стану, скажу лишь, что это хорошо исполненный кино-трюк. И все, не пытайте меня больше — это профессиональная тайна. Должно же быть в мире хоть что-то волшебное. Иначе станет скучно жить...

На самом деле жить не скучно и без магии. Особенно остро мы почувствовали это в ночной столице. Когда приехали из Балашихи, метро уже было закрыто, и ребята из театра взялись отвезти меня на другой конец Москвы на своем «жигуленке», купленном недавно в Литве и потому с литовскими пока еще номерами.

Вот это было путешествие! Нас останавливали на каждом, повторяю, на каждом посту ГАИ. Привязывались и к номерам, и к нижегородской прописке водителя, и еще Бог знает к чему. Рассказываю это не просто так. Практически во всех случаях, кроме одного, «давать на лапу» не пришлось. Достаточно было показать постовым хороший карточный фокус. Инспектора охотно меняли «хлеб на зрелища» и отпускали нас с миром.

Вот что значит фокус!



размыкая полярный крут

Норильск — странный город, давно ведущий подозрительно двойную жизнь, в которой необъяснимо сочетаются внешняя неотесанность, грубость городской архитектуры и изыск, страсть, вкус, утонченность, присущие его «внутреннему» миру.

Набиваться в зал музыкального училища, когда там играет юный пианист из Гнесинки, аншлагом встречать каждую премьеру в театре и исправно бегать на вернисажи — таковы причуды норильчан, просидевших большую часть зимы 1995 года в неотапливаемых по причине аварии квартирах.

Ничего не зная о Норильске, Николай Сивенков, выпускник алма-атинского художественного училища, выпросил у своего армейского начальства комсомольскую путевку в Заполярье. Шел 1982 год. С тех пор Николай Сивенков осел на широте 69°, и, как

ни странно, большая планета стала ему ближе.

Сивенков подготовил уже вторую персональную выставку, работает маслом, это его излюбленная техника и, надо сказать, она со временем приобретает новые нюансы. Полотна объединены общими темами: «Арктическая», «Древнеславянская»... Лондонскую серию Н. Сивенков создает под впечатлением от поездки в Англию, где в одной из частных галерей экспонировались его работы. После путешествия в Арабские Эмираты появился новый цикл, посвященный лошадям, — любовь к прекрасным животным художник испытывает еще с юношеских лет.

Картины Сивенкова не «текст», который можно просто прочитать, и не «знак», который можно расшифровать, их содержание не сводится к схеме, они искренни (ведь можно быть искренним, и не подозревая о монохроме цвета).

В последних работах художник отошел от изображения макрокосмоса, которым так восхищались зрители его первой выставки. Что это? Конъюнктура или перелом в мировоззрении? Скорее изменение формы подачи. В живописи появляется та реальность, которая нам ближе, доступнее. Сам художник склонен теперь подумать не о трансреализме, а о реалистическом направлении в живописи.

Автор призывает нас не пренебрегать прошлым. Венеды — древние славяне, их традиции, нравы и давно ушедшие в глубь веков имена языческих божеств вновь перед глазами зрителя. Н. Сивенков хронологически точен в изображении исторических событий, его древнеславянская серия объединена историей и памятью — ведь именно они позволяют нам спасти свое прошлое от забвения.

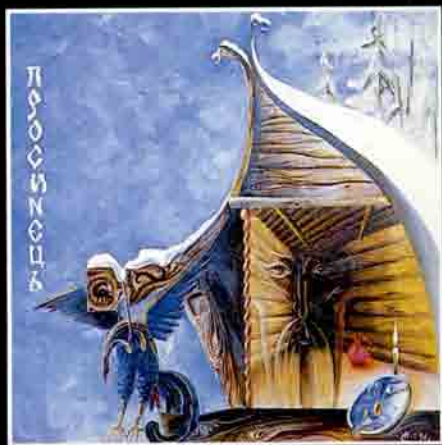
Художника интересует история разных вероисповеданий — от язычества и шаманизма до ислама и христианства. Небольшая работа «Распятие», должно быть, послужит началом следующего этапа в творчестве Николая Сивенкова.

Художнику 34 года. Он объехал почти весь мир, но сердце его принадлежит только Северу, и на вопрос «Если такой талантливый, что ты в Москве-то не живешь?», отвечает лаконично: «Не тянет». В Норильске только оказаться легко, вырваться из его снежного плена в тысячу раз труднее. Впрочем, не художнику. У него есть картины, и они легко размыкают Полярный круг, оказываясь в самых далеких от Севера местах. Это только кажется, что Норильск — город у

черта на куличках. Просто он у мира на окраине. Или у его начала?..

**НАТАЛЬЯ ОЛЕЙНИКОВА,
ИРИНА ПУРТОВА**

НИКОЛАЙ СИВЕНКОВ. Из цикла «Времена года».



ИНДЕКС 70820

Эдита
Пьеха

